

С. БОРЩЕВСКИЙ
ЩЕДРИН
и
ДОСТОЕВСКИЙ

С. БОРЩЕВСКИЙ
ЩЕДРИН
и
ДОСТОЕВСКИЙ

ЩЕДРИН И ДОСТОЕВСКИЙ



ИСТОРИЯ ИХ ИДЕЙНОЙ БОРЬБЫ

()

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1956

Залман Самойлович Борщевский

Щедрин и Достоевский

Редактор *В. Дорофеев*. Обложка художника *Г. Кравцова*
Худож. редактор *Ю. Боярский*. Техн. редактор *И. Татарский*
Корректор *М. Доценко*

Слано в набор 23/XII 1955 г. Подп. к печ. 26/I 1956 г.
А00432. Бумага 84×108¹/₂— 24,5 печ. л.=20,09 усл. печ. л. 21,81 уч.-изд. л.
Тираж 10000 экз. Зак. № 960. Цена 10 руб. 75 коп.
Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

20-я типография Главполиграфпрома Министерства культуры СССР
Москва, Ново-Алексеевская, 52



ВВЕДЕНИЕ

Полемика между Щедриным и Достоевским возникла в чрезвычайно напряженной политической обстановке, создавшейся после отмены крепостного права, когда стало очевидным, что правительственная реформа, проведенная крепостниками, свелась к ограблению «освобожденных» крестьян помещиками. В сжатом виде и самым наглядным образом размеры и формы этого «бессовестнейшего грабежа» определил В. И. Ленин.

«По случаю «освобождения», — писал В. И. Ленин, — от крестьянской земли отрезали в черноземных губерниях *свыше* $\frac{1}{5}$ части. В некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян до $\frac{1}{3}$ и даже до $\frac{2}{5}$ крестьянской земли. По случаю «освобождения», крестьянские земли отмежевывали от помещичьих так, что крестьяне переселялись на «песочек», а помещичьи земли клинком вгонялись в крестьянские, чтобы легче было благородным дворянам кабальничать крестьян и сдавать им землю за ростовщические цены. По случаю «освобождения», крестьян заставили «выкупать» их собственные земли, причем содрали *вдвое и втрое* выше действительной цены на землю»¹.

На крепостническую «реформу» помещичьи крестьяне ответили стихийными волнениями. Взрыв народного возмущения в пореформенный период явился следствием из десятилетия в десятилетие возрастающего протеста крепостных против угнетателей-помещиков. Крестьянские волнения и заставили Александра II в 1856 году заявить

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 95.

предводителям дворянства, говоря об отмене крепостного права, что «гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу», то есть революционным путем. Но эти слова не означали, что царское правительство рассчитывало на мирное проведение крестьянской реформы, напротив — самая сущность дела, целиком обращенного против жизненных интересов помещичьих крестьян, не оставляла у правительства сомнений в противном. Правительственная оценка положения выражена в секретных всеподданнейших докладах шефа жандармов, который констатировал, что «существенное ручательство за дальнейшее сохранение спокойствия в государстве» заключается в «правильном расположении войск», ибо «войска... единственная опора государственного порядка в наступившую эпоху великих преобразований». Это до цинизма откровенно выраженное убеждение в том, что «великие преобразования», то есть планы «законного» ограбления десятков миллионов людей, могут быть проведены в жизнь только путем кровавого усмирения восставших масс регулярной армией, легло в основу практических мероприятий самодержавной власти. Уже с 1857 года, когда началась подготовка крестьянской реформы, военный министр размещал войска в стране по заранее выработанному плану борьбы против безоружного «внутреннего врага». В первый пореформенный год выступления помещичьих крестьян достигли небывалых дотоле размеров: они произошли в 1176 имениях (в предыдущем, 1860, году волнениями были охвачены 108 поместий). В 1861—1863 годах подавляли крестьянские «бунты» сотни воинских команд. Военные экзекуции, помимо убитых и раненых, имели своим последствием телесные наказания тысяч крестьян, ссылку в Сибирь и отдачу в арестантские роты.

Действия крестьянских масс были поддержаны движением демократической интеллигенции в городах, и прежде всего — в Петербурге. Самыми выдающимися проявлениями этого движения были образование тайных обществ «Великорусс» и «Земля и воля», студенческие волнения в Петербурге, Москве и других городах, организация тайных типографий и массовое распространение прокламаций (они появлялись даже в царском дворце и в императорских театрах, куда подбрасывались, по признанию шефа жандармов, «с необычайной смелостью»).

Идеология демократической интеллигенции, революционных разночинцев, формировалась, начиная с сороковых годов, отражая настроения крепостных. Великим выразителем интересов и чаяний народных масс был в ту эпоху Белинский. После семилетнего разгула николаевской реакции (1848—1855 годы), который завершился поражением царизма в Крымской войне, революционно настроенные разночинцы стали группироваться вокруг «Современника», руководимого Некрасовым и Чернышевским.

Ко времени отмены крепостного права влияние Чернышевского на все революционные начинания демократической интеллигенции было настолько общепризнанным, что уж один факт личного общения с ним оказывался достаточным для установления тайного полицейского надзора за заподозренным лицом. При всем том царское правительство не располагало юридическими доказательствами, уличавшими Чернышевского в нелегальной деятельности, и сослало его на каторгу с помощью сфабрикованной в III отделении фальшивки.

Для характеристики напряженности политической обстановки в стране после отмены крепостного права и того значения, которое придавала деятельности Чернышевского в этой обстановке самодержавная власть, дают ценный материал документы о процессе Чернышевского, опубликованные в 1939 году. Из них выясняется, что князь А. Ф. Голицын, впоследствии назначенный Александром II председателем следственной комиссии по делу Чернышевского, *еще до его ареста* предлагал шефу жандармов побудить предателя Костомарова к лжесвидетельским показаниям против руководителя «Современника». Указанные документы свидетельствуют и о том, что Александру II было известно, как осуществляется III отделением этот провокационный замысел после ареста Чернышевского. До сведения царя доводились и получали его санкцию секретные протоколы следственной комиссии, в которых отражены все этапы сговора III отделения с подкупленным лжесвидетелем. Анализ документов показывает, что Александр II не останавливался перед фальсификацией фактов, установленных следствием. Приведем два примера. В протоколах следственной комиссии под председательством А. Ф. Голицына (того самого Голицына-младшего, который в 1834 году, по сло-

вам Герцена, производил следствие по его делу как «отборнейший из инквизиторов») было зафиксировано, что эксперты, в первый раз сличавшие сфабрикованную Костомаровым записку с почерком Чернышевского, нашли ее подложной. Этот факт отмечен и в сенатском обвинительном заключении, где подробно изложен ход следствия. Обвинительное заключение сената было передано Александру II для утверждения, после чего оно получило силу приговора. Однако в приговоре указание на этот факт, установленный следствием, отсутствует. В том же сенатском обвинительном заключении указывалось, что воззвание «К барским крестьянам» «переписано Михайловым». В приговоре констатация и этого факта устранена — она заменена словами: «переписано неизвестно кем».

Подлогами в деле Чернышевского самодержавная власть засвидетельствовала, что ее устрашала не только тайная, но и открытая деятельность публициста «Современника», проводившего «через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей»¹. Как объясняли в правящих кругах те причины, которые обусловили проникновение в подцензурную печать революционных идей, видно из отчета шефа жандармов царю за 1861 год. Это объяснение делает понятным, почему легальная деятельность Чернышевского устрашала правящую власть в такой мере, что ее высший представитель, «самодержец всея Руси», не мог не принять личного участия в грязном деле устранения из политической жизни страны публициста «Современника» посредством подлога.

Останавливаясь в упомянутом отчете на статьях, помещавшихся в периодических изданиях, шеф жандармов писал: «Ловко выраженные в этих статьях революционные мысли отчасти ускользают от внимания цензуры..., а настоящий обильный наплыв оных, подобно непрерывающемуся потоку, одолел уже всеми плотинами, его сдерживавшими. Даже самые строгие цензора поставлены в затруднительное положение перед обществом... карающим стеснение печати своим негодованием и презрением». Это откровенное признание моральной силы передового общественного мнения дополняется следующим

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 97.

выводом, сделанным из общей характеристики политического положения в стране:

«Таким образом, оппозиционная партия растет и усиливается с каждым днем при совокупности стекающих в оную различных народных элементов, а правительство отделяется, приближаясь более и более к разрушению, подготовляемому для него неумолимым старанием революционной пропаганды и наступательными действиями недовольных. Столь прискорбный, но, смею думать, верный очерк политического состояния империи приводит к убеждению, что усиливающаяся раздражительность умов и увеличивающаяся от безнаказанности дерзость злоумышленников угрожает опасностью общественному спокойствию и престолу».

Это место в отчете Александр II сопроводил таким замечанием: «...я слабый тормоз... если я *один* буду стараться приковать любовью людей не зараженных к ногам царя, — давно никто об этом не думал, да и теперь меня не понимают, когда я говорю, что отделяю и отделю людей справедливо недовольных от злоумышленников. Отделивши их совершенно, я и без советов, без содействия, одною своею законною силою *задавлю* революцию».

Вышеприведенная оценка политического состояния страны целиком подтверждает обобщенный вывод В. И. Ленина о том, что в начале шестидесятых годов «самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной»¹. Полностью подтверждается и ленинская характеристика тактики правительства Александра II как макиавеллистической. «При таких условиях, — указывал В. И. Ленин, — самодержавное правительство, которое свое высшее назначение видело в том, чтобы, с одной стороны, отстоять во что бы то ни стало всевластие и безответственность придворной камарильи и армии чиновных пиявок, а с другой стороны, в том, чтобы поддерживать худших представителей эксплуататорских классов, — подобное правительство *не могло поступать иначе*, как беспощадно истребляя отдельных лиц, сознательных и непреклонных врагов тирании и эксплуатации (т. е. «ко-

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 27.

новодов» «революционной партии»), запугивать и подкупать небольшими уступками массу недовольных. Каторга — тому, кто предпочитал молчать, чем извергать тупоумные или лицемерные хвалы «великому освобождению»; реформы (*безвредные для самодержавия и для эксплуататорских классов реформы*) тем, кто захлебывался либерализмом правительства и восторгался эрой прогресса»¹.

«Эрой прогресса» восторгались либералы, они же оправдывали свирепые репрессии, направленные правительством против революционеров. Либералы поступали так потому, что больше всего боялись крестьянской революции, которая должна была свергнуть монархию и ликвидировать помещичье землевладение. В этом основном вопросе они были заодно с крепостниками. И тот же решающий вопрос — крестьянская революция или реформы «свыше» — явился источником непримиримого расхождения между революционными демократами и либералами. Либералы заявляли о своей вражде к крепостникам и шумно афишировали себя передовыми общественными деятелями, призванными содействовать «мирному обновлению» России. На деле они способствовали осуществлению правительственной программы запугивания и развращения общества, применяя, однако, более изощренные, «культурные» способы обмана не искушенных в политике людей, нежели те, которые употреблялись официальными представителями самодержавной власти.

Срывание масок с «культурных людей» являлось при таких обстоятельствах делом большой политической важности. После Чернышевского и Добролюбова самым непреклонным разоблачителем идеологии, политики и тактики либералов был Щедрин. В «благонамеренных речах» западников, в витиеватых заклинаниях и юродских вывертах славянофилов и «почвенников» он выделял самое главное — то, что объединяло их всех в борьбе против демократического лагеря: страх перед революционным движением народных масс и ненависть к его идеологам. «Вот этот-то страх, — писал Щедрин о либералах, — и есть то общее, что приравнивает нас к Тугоуховским, Молчалиным и проч.». И хотя либералы выражают «свое

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 27—28.

отношение к современности несколько иначе, чем Тугоуховские и Молчалины, но разница лежит скорее в форме, нежели в сущности». Сущность же заключается в политической позиции либералов, возносящих хвалу «Юпитеру-Освободителю» (то есть Александру II), в их предательском поведении, которое вносит деморализацию в общественную жизнь, вследствие чего в ней царит «смешанная атмосфера бойни и дома терпимости». Какие конкретные факты имел в виду Щедрин, говоря о «бойне», разъяснено в его частном письме. Отметив, что он не мог «прямо писать, что хотелось», Щедрин сообщал своему корреспонденту: «А у нас... политические процессы своим чередом идут. На днях один кончился... были замечательные речи подсудимых. В особенности одного крестьянина Алексеева и акушерки Бардиной».

На процессе пятидесяти революционеров, участников «хождения в народ», слушавшемся в марте 1877 года, ткач Петр Алексеев от «имени миллионов рабочего населения» заявил, что «дарованная» царем «крестьянская реформа» — это «лукаво построенная ловушка»: попавшие в нее народные массы получили «волю» на таких условиях, что попрежнему «они все крепостные». Свою речь Петр Алексеев заключил словами, приобретшими историческое значение: «...подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!» Другая «замечательная речь» — последнее слово Софьи Бардиной — была также проникнута глубокой уверенностью в победе революции. Обращаясь к сенаторам-судьям, она сказала: «Какова бы ни была моя участь, господа судьи, я не прошу у вас милосердия и не желаю его. Преследуйте нас, как хотите, но я глубоко убеждена, что такое широкое движение, продолжающееся уже несколько лет сряду... не может быть остановлено никакими репрессивными мерами... Оно... будет продолжаться до тех пор, пока наши идеи не восторжествуют».

Подъем революционного движения в 1860—1870-х годах утверждал Щедрина в той мысли, что исторические сроки существования царизма в России истекают. К тому же выводу он приходил, оценивая политику правящих кругов. Имея в виду все усиливавшиеся репрессии, которыми правительство стремилось отвратить назревание революционного кризиса в стране, Щедрин писал: «Озор-

ство — последнее слово этих господ, которые видят, что земля уходит из-под их ног. Не будучи в силах поворотить дело по-своему, они пакостят, и в этом заключается вся государственная деятельность нашего времени... И как горько думать, что судьба многих миллионов людей в руках этих паскудных людей, из которых многие даже мысли установить не могут, а многие ежели и устанавливают ее, то не иначе, как с целью озорства».

Щедрин не только знал цену правительственным «озорникам» и их либеральным приспешникам, он нимало не обманывался и в фрондерах, которые, указывая на прорехи в «мундирных реформах», требовали от царского правительства штопки этих прорех во «имя национальных интересов» и «блага народного». Сущность такого фрондерства сатирик саркастически охарактеризовал в следующем обращении либерала к правящим верхам: «Мы готовы прийти к вам... но укажите нам пути и сохраните нам нашу независимость». Показной независимостью либералы дорожили как личиной, скрывавшей их истинное лицо.

Политическая позиция общественного деятеля оценивалась Щедриным в зависимости от его отношения к царской монархии и помещичьему землевладению. Если он отстаивал, защищал эти «устои», то, как бы ни была резка его критика правительственных мероприятий, как бы ни было сильно его возмущение бюрократическими порядками, как бы горячо он ни доказывал необходимость призвания к управлению страной «земских сил», с каким бы негодованием ни обрушивался на прибалтийских баронов и польских помещиков, держащих в кабале своих крестьян, — Щедрин причислял его к тем «справедливо недовольным», с помощью которых Александр II, отделивши их от «злоумышленников», намеревался «задавить революцию». В этом отношении характерен щедринский отзыв в частном письме о Ю. Самарине — видном славянофиле, активном участнике в подготовке крестьянской реформы, имевшем репутацию общественного деятеля с независимым образом мыслей. По поводу его кончины Щедрин писал: «Вот и Самарин умер. В России — плач, словно совершилось народное бедствие... Чего желал этот человек — от того бы нам, конечно, не поздоровилось. Для меня всегда казалось загадочным, как это человек пишет антиправительственные брошюры, печатает их, и

его оставляют фрондировать на покое. Не оттого ли это, что он на той же почве стоял, как и само правительство, и даже, пожалуй, похуже?»

Стоять на правительственной почве, разноглася с предрержащими властями в частных вопросах, значило, по убеждению Щедрина, всемерно содействовать правящим кругам в осуществлении их основной задачи — в отстаивании «окрепших интересов» эксплуататорских классов. И чем шире было воздействие такого деятеля на формирование общественного мнения в силу его знаний, таланта, тем более оказывалось необходимым разъяснять недальновидным людям, насколько занятая им политическая позиция враждебна самым насущным интересам эксплуатируемых масс.

Непримиримое отношение Щедрина к политической позиции и идеологии апологетов «великих реформ» стало еще острее проявляться после того, как царское правительство, перейдя в наступление на демократический лагерь, летом 1862 года заточило Чернышевского в Петропавловскую крепость. В такой напряженной политической обстановке для Щедрина, вступившего в редакцию «Современника», самым важным делом было наибольшее сплочение демократических сил для отпора реакции и преодоления шатаний в собственных рядах.

Именно в этих трудных условиях возникла полемика между Щедриным и Достоевским. И весьма показательно, что поводом для ее возникновения послужило выступление Достоевского против Чернышевского. Причиной же первого столкновения между Щедриным и Достоевским и источником их дальнейшей долголетней борьбы были коренные разногласия в оценке центрального вопроса эпохи: крестьянская революция или реформы «сверху». Все возраставшая ожесточенность и длительный характер этой борьбы явились исторически закономерным отражением того, что центральный конфликт, породивший ее, в ходе капиталистического развития страны все настоятельнее требовал своего разрешения.

Идейная борьба между Щедриным и Достоевским, которая велась ими на протяжении двух десятилетий, представляет значительный интерес не только для историка

русской общественной мысли, но и для каждого читателя, желающего уяснить себе, как отразилась в русской литературе борьба классов, с такой силой развернувшаяся в нашей стране во второй половине XIX столетия.

Общественно-политическая позиция Щедрина к началу шестидесятых годов, когда он выступил против Достоевского, совершенно определилась. Уже самый факт вступления Щедрина в редакцию некрасовского «Современника» тотчас же после ареста Чернышевского, в 1862 году, свидетельствует о многом. Это был критический момент для революционно-демократического лагеря, когда друзья познавались только по делам.

Либералы, которые недавно еще разрешали себе слегка пофрондировать, поскольку, по бессмертному выражению Щедрина, им от начальства «вышло позволение говорить», переметнулись в лагерь реакции. Для сатирика такое поведение либералов не явилось неожиданностью: уже в очерке «Скрежет зубовой» (1860) он охарактеризовал их с позиций революционного демократа. Это выступление Щедрина, в эзоповской форме беспощадно разоблачавшего лживость либеральной фразеологии и подлинные помешательства вождя ее носителей, вызвало против него озлобление во всем охранительном лагере. Не случайно автор доносительского «мемуара», изобличавший «преступный» характер литературной деятельности заключенного в крепость Чернышевского, приводил выдержки и из «Скрежета зубового» для доказательства «вредного направления» «Современника».

Став одним из редакторов «Современника», издание которого возобновилось в январе 1863 года, после восьмимесячной приостановки его правительственной властью, Щедрин развил кипучую журнальную деятельность. Помимо беллетристических произведений и литературно-критических работ, он печатал почти в каждой книжке «Современника» статьи, объединенные заглавием «Наша общественная жизнь». Блестящая художественно-публицистическая форма этих статей; высокая способность автора вскрывать в примелькавшихся явлениях повседневной жизни их сокровенную сущность и, сделав ее наглядно зримой читателю, наводить его на серьезные размышления о деятельном участии в общественной борьбе; проникновенная сила и широта обобщений рас-

смаатриваемых фактов при неослабевающей идейной целеустремленности — все это делало каждую щедринскую статью из серии «Наша общественная жизнь» литературно-политическим событием дня. Знаменательно, что даже такой заклятый враг революционно-демократического лагеря, как соратник Достоевского и член редакций издававшихся последним журналов «Время» и «Эпоха», Н. Н. Страхов, засвидетельствовал этот факт. «Если кто читался из петербургских писателей и публицистов, — отмечал он в статье «Последние два года в петербургской журналистике» (1864), — так именно г. Щедрин. Два-три печатных листа его регулярно появлялись в «Современнике» под веским заглавием: *Наша общественная жизнь...* Щедринские фельетоны имели в тот достопамятный год величайший успех».

Чтобы в 1863 году, когда, в связи с польским восстанием, правительственная и общественная реакция усиливалась изо дня в день, публицист «Современника» мог иметь такой беспрецедентный успех, он должен был, вопреки всем цензурным препонам, наносить сокрушительные удары по врагам революционной демократии и воодушевлять своих читателей верой в победу ее дела. После ареста Чернышевского это оказалось по силам только такому убежденному противнику самодержавно-крепостнического строя в его дореформенном и пореформенном обличье и столь несравненному мастеру эзоповского стиля, как Щедрин. Общественно-политическая позиция Щедрина в шестидесятых — семидесятых годах прежде всего характеризуется его отношением к крестьянскому движению и революционному лагерю. Как он расценивал крестьянское движение, можно заключить из его статьи «Наша общественная жизнь», напечатанной в майском номере «Современника» 1863 года. Здесь, говоря об активной созидательной силе в современной русской действительности, Щедрин писал: «Да, эта сила есть, но как поименовать ее, чтобы читатель не ошетинился?» И, иронически обращаясь к цензору, продолжал: «Успокойся, читатель! Я не назову этой силы, а просто сошлюсь только на правительственную реформу, совершившуюся 19-го февраля 1861 года... Припомните обстановку, среди которой она совершилась, и вы убедитесь... что, несмотря на всю забитость и безвестность, одна только

эта сила и произвела всю реформу». И, желая пояснить, что он имеет в виду крестьянские волнения, Щедрин тут же добавляет: «жизни признанной», жизни господствующего класса, противостоит «жизнь непризнанная, но ищущая... признания неотступно, погруженная в подземную работу...»

Когда Щедрин писал эти строки, он мог рассчитывать на то, что некоторая часть его читателей наверное знает о росте активности участников крестьянского движения даже по сравнению с 1861 годом, а другая часть найдет в его словах подтверждение своим догадкам. Таким образом, высказывая подцензурным языком, в урезанном виде, свое отношение к борьбе «освобожденного» крестьянства с помещиками и правительственными войсками, Щедрин укреплял в сознании читателей убеждение, что народные массы являются главной созидательной силой, ибо только они способны ликвидировать поместное дворянство и опирающийся на него самодержавный режим.

Другой положительной силой в стране Щедрин считал революционные кадры, которые вели пропаганду среди крестьянства. Свое отношение к участникам революционного движения публицист «Современника» выразил в первой же статье из цикла «Наша общественная жизнь», подчеркнув, что «самая остервенелость вражды» против них всего охранительного лагеря показывает, какую растущую и выражающую народные интересы силу они собой представляют. И именно в этой связи Щедрин тут же начал свою полемику с бывшим петрашевцем Достоевским, обвинив его в измене прежним убеждениям.

В дальнейшем этот спор еще резче обострился вследствие превознесения Достоевским покорности и смирения, идеализации страдания и призывов к интеллигенции о «единении с народом» путем приобщения к его «глубоко консервативному» духу. Такая проповедь вызывала у Щедрина негодующий протест. «Не терпеть приличествует, а ликвидировать», — писал он в статье «Современные призраки», запрещенной цензурой. «В терпенье, как в давно не кованном жернове, не измалывается, но измывается жизнь человечества, и в результате получается все та же жизнь, только искалеченная и изорванная». Это жалкое существование, указывал Щедрин в «Письмах

из провинции», есть прямой результат того, что «масса изнурена не борьбою со злом, а подчинением ему». Такое положение не может длиться бессрочно. «Минуты прозрения... составляют неизбежную страницу в жизни каждого народа», и настанет время, когда «расступится мрак, окружающий лицо масс, и даст увидеть это лицо просветленным, носящим печать сознания и решимости». Пусть это не скоро еще сбудется, но «даже отдаленная возможность» прозрения масс должна возбудить не пассивное ожидание, а «поддержать в человеке героизм» — волю к революционной борьбе. Эта воля закаляется близостью к повседневным нуждам народа, удовлетворение которых невозможно без революционной перестройки действительности, и чувством возмущения, охватывающим наиболее обездоленные грабительской реформой слои крестьянства. Зреющий в массах протест и грозный для угнетателей народа финал Щедрин выразил, — рисуя каторжный труд бурлаков — незабываемым образом, — как «выстраданный, надорванный крик, вырывающийся с мучительным, почти злобным усилием, как вздох, вылетающий из груди человека, которого смертельно и глубоко оскорбили и который между тем не находит в ту минуту средств отомстить за оскорбление... но в этом вздохе уже чувствуется будущая трагедия» («Город», 1865 г.).

В двух статьях из цикла «Наша общественная жизнь», оставшихся в рукописи и корректуре, Щедрин рассматривает вопросы, печатное обсуждение которых не могло быть допущено цензурой. Первый из этих вопросов — о «праве на победу», второй — об объединении революционных сил в централизованной «организации».

«Право на победу», по разъяснению Щедрина, означает не что иное, как признание правомерности применения революционного насилия, ибо «что же такое «победа», как не насилие? Какие могут быть последствия победы? Последствия эти суть: гибель противника, его уничтожение...» Далее рядом доводов публицист «Современника» обосновывает свое утверждение, что признание правомерности революционного насилия не находится в принципиальном противоречии с «социальными теориями (ныне называемыми утопиями)», то есть с различными системами утопического социализма, — поскольку они исключают какое-либо насилие лишь «в мире разумном,

в том идеальном мире, до представления которого может, по временам, возвыситься наша мысль». Если же над целым народом господствует кучка насильников, то «никогда не следует забывать, что в среде ненормальной только то действие и может быть сочтено нормальным, которое соответствует окружающей его ненормальной обстановке». В такой обстановке «право на победу» нисколько не противоречит принципам гуманности, ибо человек, придерживающийся этих принципов, на деле обязуется употребить все усилия для ликвидации того, что «вредит водворению в жизни истины», должен устранить «преграды, на каждом шагу возникающие между его идеалом и жизнью». И, склоняя читателей «к мысли о необходимости победы, о настоятельности торжества», Щедрин резюмирует свои доводы следующим образом: «Да, мы живем не в Аркадии и не в Икарии. Благодушные точно так же чуждо нашему обществу, как и чувство полной правомерности отношений. Мы имеем не только право, но и обязанность защищать себя против невежества и дикости, которые не дают нам дышать, ибо тут идет речь о нашей жизни, и отстаивать ее повелевает нам простое чувство самосохранения. Если, при известных условиях, жизнь представляется в форме войны, то никто не изъеется от необходимости вести ее, а ежели бы кто и вздумал сам для себя сделать это изъятие, то будет вовлечен в войну помимо собственной воли непреодолимою силою обстоятельств».

«Неимоверные усилия», требующиеся для свержения самодержавия, в состоянии употребить только народные массы. Сплотить их для борьбы — дело строго дисциплинированной «организации», которая «распространению слухов о терпении и вознаграждениях, имеющих последовать в будущей жизни», должна противопоставить девиз, гласящий, что «только дерзостью получишь в сем мире желаемое». «Организация» имеет одну цель — способствовать изысканию «наилучших способов к успешному ведению войны». Участие в этой войне является высшим долгом людей, непримиримо относящихся к общественному строю, при существовании которого «никто не спорит, что жизненный подвиг курицы заключается в том, чтобы быть съеденной в супе, как никто не спорил, во время существования крепостного права, что жизненный подвиг мужика состоял в исправном платеже оброка...

как никто не спорит и теперь, что жизненный подвиг французского или английского пролетария (я указываю на Францию и Англию потому собственно, что оно спокойнее) заключается в том, чтобы работать с прилежанием и получать за сие вознаграждение достаточно умеренное, чтобы, при случае, умереть с голоду» («Современные призраки»).

Судя по сделанной оговорке, последние слова относились к русским рабочим; причем выделение их в особую от крестьян социальную группу не было случайной обмолвкой у публициста «Современника». Все усиливавшийся после реформы процесс пролетаризации крестьянства и выявление буржуазной сущности его кулацкой верхушки привлекали пристальное внимание Щедрина. Это, в частности, отразилось на его оценке сельской общины, решительно расхोлившейся с отношением к ней славянофилов и народников. Община, писал Щедрин, «отдает в кабалу или выгоняет на улицу слабых, не успевших заручиться благорасположением мироеда... покинутые и заколоченные избы достаточно свидетельствуют о сладостях деревенской жизни. Куда девались обитатели этих изб?.. Они получили паспорт и «ушли» — вот все, что известно». Если Щедрин видел в общине «ярмо», которое «не обеспечивает ни от пролетариата, ни от обид, приходящих извне», то есть от экономических мероприятий государственной власти, защищавшей интересы деревенской буржуазии, то для Достоевского община — «узда», с уничтожением которой «народ... в одно поколение... доставит собой материал для проповеди социализму и коммунизму». Поэтому Достоевский предостерегал правительство от действий, могущих нанести ущерб общинному устройству: «Община держит человека у земли... Дайте власть — не справитесь. Лучше держать в узде в общине» (см. далее стр. 343). В вопросе об «обуздании» масс, по наблюдениям Щедрина, от славянофилов ничем не отличались западники, которые, «ставши ближе к кормилу, примирились с общиной, потому что с нею сопряжена круговая порука. Не нужно сложной мозговой работы, чтобы управлять». Вот почему, разоблачая сущность «почвеннически»-славянофильской идеологии Достоевского, Щедрин не проводил различия между «почвенниками» и западниками в их отношении к «народу-богоносцу», — ведь те и другие являлись выра-

зителями интересов господствовавших классов. Для Щедрина именно это обстоятельство было решающим, все же остальное — подробностями, лишь затемнявшими суть дела.

Рассматривая крестьянскую реформу 1861 года как реформу буржуазную, Щедрин высмеивал упования славянофилов и народников на особый, некапиталистический путь развития России: «выдумали... мы, того гляди, политическую экономию совсем упраздним. Так и упразднили... упразднители...» Ему было ясно, что Россия уже вступила на путь капиталистического развития. Не остался незамеченным Щедриним и такой знаменательный факт, как стихийное революционизирование ушедших на заработки в города «освобожденных» от земли крестьян. В этом отношении очень характерно, что «в выстраданном, надорванном крике» бурлацкой массы, подвергавшейся особо жестокой эксплуатации и наиболее бесправной, Щедрина «уже чуется будущая трагедия», которая постигнет помещичий класс и нарождающуюся буржуазию и уложит их, по его предсказанию, в «общую могилу».

Через несколько лет (в 1871 г.) Щедрин отметит, что, хотя рабочий вопрос «жизнью каждую минуту выдвигается... вперед», «словоохотливые беллетристы» из реакционного лагеря, не понимая исторической закономерности этого явления как прямого следствия крестьянской реформы, «видят в нем лишь смуту, затею неизвестно чьей прихотливой фантазии, и согласно с этим ставят на первый план подстрекательство и революционные интриги...» Именно так изобразил Достоевский в «Бесах» бунт шпигулинских рабочих.

Под «рабочим вопросом» Щедрин подразумевает рабочие стачки, из которых наибольшее внимание привлекла забастовка на Невской бумагопрядильне в 1870 году. Насколько актуальным становится этот вопрос уже во второй половине шестидесятых годов, показывает факт издания популярных книжек, написанных с целью убедить рабочих отказаться от стачечной борьбы. И интересно, что Щедрин дает отпор не только «словоохотливым беллетристам», но и разоблачает буржуазных экономистов, выступающих против стачечного движения, как «несовместного с общественным спокойствием и уважением к чужой собственности». Мы имеем в виду отзыв

Щедрина о переведенной на русский язык Ф. П. Соллогу-бом книжке французского экономиста Ж. Муро. Подвергнув уничтожающей критике «экономические софизмы» буржуазного приспешника, он с особенно злым сарказмом высмеивает старание автора убедить рабочего в том, что, «как бы ни была незначительна часть, падающая на его долю, хотя бы она и не покрывала издержек на пищу, освещение и содержание его семейства, он все-таки должен воздержаться от всяких выражений своего неудовольствия, не прибегать к насильственным средствам с целью оттянуть от фабрикантов вполне законно и на экономических основаниях причитающуюся им долю барыша...» Не сделает он этого, иронически замечает Щедрин, «во-первых, потому, что так за него уже решила экономическая наука, имеющая своим предметом прогресс человеческой свободы, а послушаться людей науки он, конечно, не захочет (какого они мнения о нем будут после этого?); во-вторых, потому, что против рожна не попрешь. Последний мотив автор с особенной энергией старается популяризировать рабочим, и за это, конечно, его нельзя не похвалить». И Щедрин «хвалит» не только французского автора, но и его русского переводчика и издателя: «Вот, кабы у нас научились так ловко морочить добрых простаков, тогда зажили бы мы на славу! Спасибо же г-ну Ф. П. Соллогу-бу, что он взял на себя труд пересадить этот прелестный цветок на нашу отечественную почву!»

Как одиноко прозвучал голос Щедрина в тогдашней печати, можно судить по тому, что даже радикальный журнал «Дело» солидаризировался с Ж. Муро, усмотрев причину забастовок рабочих в их «слепой ненависти к гнетущему капиталу» и поставив «значительно выше стачек» — «потребительные ассоциации».

В 1871 году всеобщее внимание в России было приковано к событию огромного исторического значения — Парижской Коммуне и к первому *гласному* политическому процессу, происходившему в Петербурге. Судили членов нечаевской организации «Народная расправа», обвинявшихся в «заговоре, составленном с целью ниспровержения существующего порядка в России». Под впечатлением событий во Франции и движимая страхом перед возможностью революционного взрыва в царской империи, вся пресса единодушно выступила на защиту

«общественной безопасности». Реакционные и либеральные органы печати стремились превзойти друг друга в клеветнических измышлениях, направленных против коммунаров и русской революционной молодежи, и в изъявлениях своей преданности «существующему порядку», царскому самодержавию. Характеризуя постыдное состязание прессы, Щедрина писал А. М. Жемчужникову: «Это царство мерзавцев, готовых за полтинник продать душу. Всякая возможность издавать журнал сколько-нибудь свежий исчезает в виду неизреченного холопства остальной прессы. Даже самые умеренные статьи подвергаются остракизму». И все же Щедрина удалось опубликовать в «Отечественных записках» свою статью о «нечаевском деле», в которой он выразил уничтожающее презрение революционного демократа к холопам самодержавия и господствующих классов. Затем к этому же вопросу сатирик обратился и в полемике с Достоевским, характеризуя освещение нечаевского процесса в романе «Бесы».

В это время Щедрина настигла суровая цензурная репрессия: из отпечатанной августовской книжки «Отечественных записок» 1871 года была вырезана пятая глава «Итогов», где он высказал горячее сочувствие борцам Коммуны. Отзываясь на неистовые вопли врагов Коммуны об «анархистах», «разрушителях цивилизации», «безумных отрицателях», Щедрина писал:

«...Ежели перед нашими глазами происходит в обществе движение, стремящееся расширить арену человеческой деятельности и освободить ее от связывающих пут, то, как бы ни поражало нас это движение своей необычностью, мы не имеем права видеть в нем... «анархии»... Употребляя это выражение без разбора, мы рискуем... под предлогом упразднения «бесчинств» упразднить самое развитие жизни».

Высказав в такой эзоповской форме свое давнишнее убеждение, что восстание угнетенных масс против эксплуататоров является необходимым условием исторического прогресса, Щедрина переходит к характеристике палачей Коммуны.

«Замечательно,— указывает он,— что никогда анархисты мнимые, то есть сторонники прогресса, не действуют с таким поразительным ожесточением, с такою ужаса-

ющею бесповоротностью, с какою всегда и везде поступают анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции могут служить тому очень убедительным примером. Они в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия наиболее непреклонные из приверженцев Парижской Коммуны!..

И все это делается во имя успокоения, во имя того самого успокоения, в которое в глубине души не верит ни один из одичалых, будь он даже самодовольнейший из всех утопистов в этой паскудной корпорации. Пусть же будет замечен этот факт, пусть послужит он мерилom для сравнения последствий, которые влечет за собою торжество той или другой партии. А если прибавить к этому, что жертвами консервативной анархии являются обыкновенно люди, находящиеся в полном развитии сил, и что, следовательно, исчезновение их непосредственно посягает жатву будущего, то сила и значение этого факта делается для нас еще более непреерекаемою и очевидною».

«Анархисты успокоения» (то есть версальцы), продолжает Шедрин, «единственные разрушители, которых общество должно опасаться... на которых оно должно указывать, как на зачумленных». С их торжеством «наступает постыднейшая из всех анархий, о которых когда-либо свидетельствовала история». Но это торжество так же эфемерно, как обманчив «общественный порядок», установившийся во Франции, поскольку причины, вызвавшие героическое восстание рабочих,—эксплуатация и политический гнет—остаются в силе. И Шедрин вскрывает это противоречие, коренящееся в самой действительности, таким образом:

«Обделенный не протестует; униженный не поднимает головы; поставленный вне пределов истории не выказывает поползновения прорваться за стоящую перед ним преграду. Все это правда и по наружности кажется весьма успокоительным. Но то неправда, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности имеется какое-нибудь действительное удовлетворение. Обделенный все-таки не перестает быть обделенным, и ежели он не протестует, то или потому, что находится в оцепенении, или потому, что приберегает свой протест до более благоприятного случая».

Совершенно иначе отнесся к Парижской Коммуне Достоевский.

Достоевского отталкивает от Парижской Коммуны именно то, в чем Щедрин видит ее прогрессивное историческое значение: самоотверженная борьба восставших рабочих масс, применение ими методов революционного насилия против своих угнетателей. В оценке Достоевского «Коммуна парижская — вредна, потому что бунт и насилие». Достоевский ни словом не упоминает о звериной кровожадности версальцев, о диких оргиях, справляемых буржуазией на развалинах Коммуны. Но зато он называет и целиком принимает тот принцип, во имя сохранения которого зверствовали «одичалые консерваторы Франции»: «Собственность — святейшая вещь (личность)... Полное уничтожение собственности ужасно» (см. стр. 342).

Защитники частнособственнического строя, ужасавшиеся при одной мысли о возможности замены его социалистическими отношениями, приравнивали революционное действие к уголовному преступлению. Именно так «освещалась» в реакционной прессе деятельность Парижской Коммуны. В России эта гнусно-клеветническая оценка была направлена против деятельности революционных кружков, что получило правительственную санкцию в циркуляре министра народного просвещения графа Д. А. Толстого попечителям учебных округов, разосланном летом 1875 года. Указав на то, что в тридцати семи губерниях власти обнаружили революционные кружки пропагандистов, министр далее заявлял, что «недоучившиеся юноши», стремясь «провести в народ свои несбыточные фантазии», «социалистические теории, давно осужденные наукой», пользуются любыми средствами, «не гнушаясь при этом... ни воровством, ни грабежом, ни даже убийством».

Это наглое выступление царского сатрапа требовало достойного ответа, и такой ответ Щедрин опубликовал в революционной эмигрантской газете «Вперед!» в форме письма к Толстому его горячего поклонника — помещика Мастодронтова. Основная мысль «письма» та, которую Щедрин постоянно высказывал в аналогичных случаях: пороки, приписываемые охранителями «новым людям», механически переносятся на них «по прямой линии от начальников отделения», то есть от людей, зарекомендо-

вавших себя своей благонамеренностью. Но своеобразие и сила сатирического приема заключаются здесь в том, что эту идею отстаивает *единомышленник* Толстого, простодушно возмущающийся его неосмотрительным присвоением революционерам качеств, которые «не в укоризну, а в благоприятное для них зачтены быть должны». «По-моему,— пишет Мастодонтов,— если бы сие верно было», то большего не пришлось бы желать, ибо «подавало бы то надежду, что они, сии заблудшие проходимцы, хранят в себе семя, из которого вырасти могут все добродетели, украшающие Ваше сиятельство и всякую надежную опору императорского престола». Это утверждение Мастодонтов обосновывает таким силлогизмом: «Кто ворует... тот приобретает. Стало быть, имеет пристрастие к собственности. Стало быть, поддерживает сию великую основу всякого благоустроенного государства». Мастодонтов приглашает Д. Толстого поразмыслить над этим вопросом, отрешившись от печальных обстоятельств, вызвавших его циркуляр, и связанных с ними полемических соображений. «Питаю надежду,— пишет он,— что Вы, граф, согласитесь со мной, вникнув в существо жизни разных великих министров и монархов. Наконец, взгляните на наш царствующий дом. Разве в оном... не преобладают по сие время вышеозначенные качества? И кто осмелится сказать, что оные не способствовали к приумножению знаменитости вышереченного дома и к приращению государственной казны?»

Что касается насилия, то и в этом обвинять революционеров — значит поступать необдуманно, ибо «разве возможно исправное поступление податей и доходов без нарочитого насилия над плательщиками?»

Циркуляр Толстого предшествовал политическим процессам «50-ти» и «193-х». Два года спустя, сообщая Анненкову, что «каторгами и поселениями» закончился «процесс 50-ти», Щедрин саркастически заметил: «Повидимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеванием, как полагает Ив. Серг.». Это замечание относилось к тургеневской «Нови», где в таком карикатурном виде было представлено «зрелище людей, идущих в народ». «Сознаюсь,— добавил тут же Щедрин,— мысли мои на этот счет совершенно противоположные тому положению, которое избрал для себя Тургенев». Совершенная противоположность политической позиции Щедрина либе-

ральной программе Тургенева заключалась в том, что выход из тупика, в который завело страну самодержавие, сатирик видел не в реформах, а в революции, и единственный путь к ней — в соответствующей подготовке народных масс.

Общественно-политическая позиция Щедрина осталась неизменной и во второй половине семидесятых годов — на заключительном этапе его идейной борьбы с Достоевским. После правительственного разгрома многочисленных кружков революционной молодежи, предпринявшей «хождение в народ», и ее разочарования в пропагандистской деятельности, он попрежнему считает, что только работа в массах приведет к достижению «высшей цели»; отсюда его отрицательное отношение к индивидуальному террору. Так же резко враждебно, как и раньше, Щедрин относится к либералам, видя в них «переодетых консерваторов»; поэтому он едко высмеивает проекты о «сближении с народом» людей, стоящих на почве существующего строя. Во второй половине семидесятых годов с таким проектом выступила правонародническая газета «Неделя», призывая «прогрессивные силы» оказать филантропическую помощь крестьянству организацией артелей, мелкого кредита и проч. Свое обращение, уснащенное сентенциями о «почве», «восстановлении духа» и прочими риторическими украшениями из публицистики Достоевского, «Неделя» мотивировала тем, что настало время «заменить боевые принципы новыми, более соответствующими нормальным условиям русской жизни». Против этой проповеди подмены революционной борьбы филантропическими мероприятиями и культуртрегерством со всей решительностью выступил Щедрин в «Убежище Монрепо». Не отрицая пользы, которую может принести «дело совета, разъяснения, просвещения и посильной помощи», Щедрин выдвигает на первый план «гораздо более существенную задачу — сказать человеку толком, что он человек». Но именно это важнейшее «предприятие» чуждо культурным деятелям, состоящим «в законе». Вместо того чтобы объяснить крестьянину, «откуда идут на него те бичи, которые от колыбели до могилы подьедают его существование», они преподносят ему «не чуждое сквернословия поучение о том, что первая и главная его обязанность есть исполнение приказаний, а все остальное приложится». Просветить же «серого чело-

века», утверждал Щедрин, могут только люди, идущие по революционной дороге: «Это дорога трудная, тернистая, о которой древле сказано: *блюдите да опасно ходите*».

Совсем иным образом разрешил этот вопрос Достоевский.

«...Наш народ,— писал он,— просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его». Отсюда — «духовное единение» народа, которое предохранит Россию от революционных потрясений и свидетельствует о том, что «вмещать и носить в себе силу любящего и всеединящего духа можно и при теперешней экономической нищете нашей». Долг интеллигенции — преклониться перед народом, проникнуться его религиозными верованиями и «консервативным духом», отказавшись от «крайних бредней» — социалистических учений. Тогда и народ перестанет чуждаться интеллигенции и в «барине» и в «начальстве» признает «брата»... Мы дальше увидим, что Щедрин этот призыв Достоевского расценил как измену кровным интересам народа.

Из сказанного можно заключить, что по своему содержанию и объективному значению идейный спор между Щедриным и Достоевским являлся отражением роста классовой борьбы, подъема революционного движения в стране, был обусловлен всем ходом исторического развития России в пореформенный период. И вполне закономерно, что их идейная борьба возникла в начале шестидесятых годов — именно тогда под воздействием революционной ситуации особенно усилился процесс размежевания разных направлений общественной мысли. Закономерен и тот факт, что именно Щедрин и Достоевский на протяжении десятилетий не прекращали взаимной борьбы — каждый из них в процессе этого размежевания до конца осознал свой особый путь и не мог не выступать против наиболее сильного и опасного идейно-политического врага. В корне различное отношение к самодержавию, к темноте и нищете неправых народных масс, к революционному движению и социализму — вот то главное, что разделяло их. Первостепенное значение этих проблем для исторических судеб страны, обостренное чувство переживаемого времени — шестидесятых — семидесятых годов прошлого века, как переломной эпохи

в истории России, эпохи подготовки первой русской революции, — делают разногласия идейных антагонистов непримиримыми. И весьма существенным для характеристики идейной борьбы между Щедриным и Достоевским, как отражения борьбы классов в нашей стране, является то обстоятельство, что их столкновения становятся особо напряженными и страстными в начале шестидесятых и в конце семидесятых годов — в периоды первого и второго подъема революционного движения в России.

Под таким, историческим, углом зрения мы рассматриваем уже известные, а также впервые установленные нами факты, относящиеся к исследуемой теме. Известные факты, за самыми малыми исключениями, исчерпывались сведениями о начальном этапе спора между Щедриным и Достоевским, то есть об их публицистической полемике 1863—1864 годов (в «Современнике», с одной стороны, и во «Времени» и «Эпохе» — с другой). Но как раз этот этап и нуждался в особо внимательном изучении, так как предшествующие историки литературы (А. Волынский и И. Иванов), писавшие о нем в девяностых годах прошлого века, внушали читателям совершенно ложное представление о характере спора, а главное — не выяснили его причины и даже исходного пункта. Между тем без установления причины на первый взгляд совершенно неожиданно и неизвестно почему возникшей полемики оказывалось невозможным исследование второго, главного этапа идейной борьбы между Щедриным и Достоевским, отразившегося уже в их художественных произведениях. На каком широком поле развернулась эта борьба на втором этапе, видно из того, что, как показал анализ художественного наследия обоих писателей, она воздействовала на творческие замыслы и получила отражение в образах и ситуациях многих произведений Щедрина и Достоевского. К числу этих произведений относятся: «Помпадуры и помпадурши», «История одного города», «Господа ташкентцы», «Благонамеренные речи», «Господа Головлевы», «Круглый год», «За рубежом», «Письма к тетеньке», «Сказки» — Щедрина и «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» — Достоевского.

Этот второй этап полемики между Щедриным и Достоевским оставался неисследованным, если не считать отдельных ценных наблюдений, на которых мы останавли-

ваемся в дальнейшем изложении. Иначе говоря, вопрос о перенесении спора идейными противниками в их художественные произведения почти не ставился историками литературы. В этом смысле характерно утверждение В. Гиппиуса, который писал, что после 1864 года наступил «период затишья и относительно выровненных отношений между двумя писателями», длившийся пятнадцать лет — до 1879 года, когда Достоевский и Шедрин открыто выступили друг против друга в «Братьях Карамазовых» и в «Круглом годе». Таким образом, если для освещения начального периода рассматриваемого спора прежде всего необходимо было установить его причину и исходный пункт, а затем пришлось заново проанализировать весь известный материал, попутно освещая некоторые существенные моменты неопубликованными записями Достоевского, то исследование второго этапа полемики — в художественных произведениях — оказывалось еще более сложным. Само собою разумеется, что все названные выше художественные произведения Щедрина и Достоевского мы рассматривали под определенным углом зрения, обусловленным темой нашей работы, и их анализ никак не может претендовать на исчерпывающую оценку творчества обоих писателей, в частности на раскрытие всех противоречий, присущих Достоевскому как художнику-реалисту.

Скрытая полемика с Щедриным велась Достоевским не только в художественных произведениях, но и в «Дневнике писателя». И весьма знаменательно, что в неопубликованных черновых заметках к последнему, январскому, выпуску «Дневника писателя» за 1881 год, набросанных перед самой смертью, Достоевский, резко выступая против щедринского цикла «За рубежом», как бы мотивирует свою неустанную борьбу с великим представителем революционной демократии такой записью: «*Две партии в бою, в настоящем организованном бою. Ложно, если говорят, что нет партий*» (см. стр. 337). И не менее характерна другая неизданная запись, показывающая, что Достоевский стремился, борясь с Щедриным, своими идеями «заменить нигилизм» и ободрял себя мыслью, что они проникают «в подпольное движение».

Стремление овладеть умами молодого поколения побуждало Достоевского на первых порах по возвращении из Сибири не идти наперекор «ярому вольнодумству»

шестидесятников. Настроение молодежи, «властителем дум» которой он желал стать, не вызывало сомнений: на публичных чтениях «Записок из мертвого дома» она встречала автора демонстративными овациями — как человека, заплатившего каторгой за свои политические убеждения, враждебные всей системе крепостнического государства. Но после ареста Чернышевского Достоевский решил, что настало время исподволь готовиться к тому, чтобы, не порывая с передовым общественным лагерем, мало-помалу начать высказывать свои «заветнейшие убеждения». Первый шаг, сделанный Достоевским на этом пути, привел его к столкновению с Щедриным, которое положило начало их долголетней идейной борьбе. К рассмотрению этого знаменательного конфликта мы сейчас переходим.

Как увидим ниже, Щедрин всегда резко и прямо выступал против реакционных тенденций в мировоззрении и творчестве Достоевского. Но это ни в какой мере не мешало ему видеть в лице Достоевского «талантливейшего из последователей Гоголя», поборника критического реализма, превосходного мастера русского социально-психологического романа. «По глубине замысла и ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком», — писал Щедрин об авторе романа «Идиот». Очень высокую оценку дал он и «Кроткой»: «таких жемчужин немного во всей европейской литературе».



ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Разногласия между Щедриным и Достоевским впервые обнаружили в их журнальной полемике шестидесятых годов. Как ни затемнялись идейные мотивы этого спора выпадами личного свойства, его принципиальный характер не вызывал сомнений. Предшествующие изыскания, однако, не выяснили, *из-за чего возник конфликт*, не обнаружили *подлинного отправного пункта спора* и не раскрыли *своеобразия тактических приемов оппонентов*. Поэтому нам прежде всего представляется необходимым восполнить пробелы в освещении полемики начала шестидесятых годов, которая существенным образом отразилась на дальнейшей долголетней борьбе непримиримых антагонистов.

Обращаясь к фактам, мы устанавливаем следующее. Крутой перелом в отношении Достоевского к Щедрину наступил внезапно. В какой срок произошла эта перемена, показывают его отзывы о сатирике. В статье «Два лагеря теоретиков» он поставил Щедрина рядом с Гоголем, заявив, что «живучесть и жизненность» их художественных творений проистекают из глубин народного духа, проявляющегося в неустанном стремлении «с беспощадной силой выставлять на вид свои недостатки... во имя негодующей любви к правде, истине»¹. Эту высокую оценку Достоевский погасил в статье «Опять молодое перо». Как бы восставая против недавно высказанного им

¹ «Время», 1862, февраль, «Критическое обозрение», стр. 162.

взгляда, он утверждает теперь, что Щедрин «обличал не из негодования и не из убеждения в чем-нибудь», а единственно потому, что «обличение — модная... струя», и оттого его сатиры «поражают своим мелководием»¹. Такая коренная переоценка творчества Щедрина, произведенная на протяжении одного года, дает представление о том, как интенсивно и остро складывалась ситуация, приведшая Достоевского к полемическому столкновению с сатириком. И еще нагляднее обрисовывается внезапность поворота в суждениях Достоевского, если учесть тот факт, что в 1862 году он добивался сотрудничества автора «Сатир в прозе» в редактируемом им «почвенническом» журнале «Время» и дважды, весной и осенью, помещал его работы. Что же касается Щедрина, то конфликт с «почвенниками» назрел у него в те же сроки, как и решительный перелом в отношениях Достоевского к нему: еще в апреле и даже в сентябре 1862 года он печатался во «Времени», а вслед затем произошел разрыв. Все это в совокупности позволяет заключить, что обстоятельства, непосредственно вызвавшие полемику, возникли не раньше осени 1862 года.

Какие же это были обстоятельства? На них бросает свет интересный факт, который не учли авторы, писавшие о полемике, — именно то, что осенью 1862 года, после выхода сентябрьской книжки «Времени», с органом «почвенников» порвал не только Щедрин, но и два других сотрудника «Современника» — Некрасов и Помяловский. В письме Н. Г. Помяловского к издателю «Времени», датированном 26 октября 1862 года, содержится четкое обоснование этого шага. «Не сходясь с программой Вашего журнала по идее, — писал он М. М. Достоевскому, — я не могу в нем участвовать. Вследствие этого мои очерки не будут у Вас печататься»². Идейными мотивами аргументировал свое воздержание от сотрудничества во «Времени» и Некрасов. В письме от 3 ноября 1862 года он просил Ф. Достоевского вывести его из «неловкого положения», в которое сам себя поставил обещанием дать ему стихи. Сославшись на распространяемые кем-то слухи о его мнимом намерении «изменить направление» «Со-

¹ «Время», 1863, март, «Современное обозрение», стр. 159.

² «Из архива Достоевского», ГИЗ, 1923, стр. 94.

временника»¹, Некрасов подчеркнул, что появление в «чужом журнале» подаст «новый повод к двусмысленным толкам»². Достоевский, уже осведомленный из заявления Помяловского, чем было вызвано обращение Некрасова, в ответном письме горячо заверял поэта, что сотрудничество во «Времени» не скомпрометирует его политически, так как «обо всем можно говорить, но только не об ретроградстве» журнала, и тут же дал понять, что знает о готовящемся выступлении «Современника». «Всего лучше обругайте нас в Генварском №-ре Современника, — писал он, — а на Февральский наш номер дайте нам Ваших стихов»³. Предложение прислать стихи сейчас же после того, как «Современник» начнет полемику, усугубило «неловкость положения», в котором очутился Некрасов. И он изыскал выход в том, что доставил обещанные стихи для январского номера «Времени», появившегося до выступления «Современника», и на этом прекратил сотрудничество в органе Достоевского.

Итак, из писем Помяловского и Некрасова видно, что они отказались от дальнейшего участия в «почвенническом» журнале вследствие неприемлемости для них его программы. Остается выяснить, почему это решение возникло сразу же после выхода в свет сентябрьской книжки «Времени» за 1862 год. Внезапный характер конфликта объясняется тем обстоятельством, что в сентябрьском номере «Времени» была опубликована *новая* программа редакции, в основном направленная против революционно-настроенной молодежи и «Современника»⁴. Именно на нее указывает в своем заявлении Помяловский, и ее же имел в виду Некрасов. Эта «почвенническая» декларация, написанная с опасливой оглядкой на передовое общественное мнение, но при всем том достаточно рельефно очертившая общественно-политическую позицию редакции, и побудила Щедрина выступить против Ф. Достоевского, как покажет разбор самой полемики, к которому мы переходим.

¹ Когда писались эти строки, готовилась к печати январско-февральская книга «Современника», издание которого было приостановлено правительством в июне 1862 года сроком на восемь месяцев.

² Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., Гослитиздат, М. 1952, т. X, стр. 479.

³ Ф. М. Достоевский, Письма, ГИЗ, 1928, т. I, стр. 312.

⁴ «Объявление о подписке на журнал «Время», 1863 г.».

II

За исходный пункт страстного спора между Щедриным и Достоевским обычно принимают анонимную заметку «Литературная подпись»¹, в которой сатирик высмеял А. Скавронского, обвинившего другого беллетриста в том, что, ставя под своими произведениями псевдоним Н. Скавронский, он «злоупотребляет его подписью»... Иронически комментируя этот своеобразный иск, Щедрин выразил удивление, что «почтенная редакция» «Времени» поощрила «хлестаковщину», опубликовав письмо А. Скавронского². Заметка заключалась указанием на распространение самохвальства в писательской среде, причем в виде иллюстрации приводился случай, когда «один литератор» печатно заявил, что он «так велик, что его даже во сне видит другой литератор». Безыменное указание на «одного литератора» относилось к Тургеневу. Опровергая проникшие в печать слухи об отказе «Современника» от его сотрудничества, Тургенев, в подтверждение того, что он сам не пожелал продолжать участие в этом журнале, сослался на «лестные предложения», сделанные ему Некрасовым в письме, где, между прочим, было сказано, что он видит своего корреспондента «почти каждую ночь во сне». При этом Тургенев, конечно, ни словом не обмолвился о своем «величии»...

При сопоставлении «Литературной подписи» с ответом Достоевского, на котором подробнее мы остановимся ниже, бросается в глаза странное и до сих пор неразъясненное обстоятельство. Вызывает недоумение то, почему эта заметка положила начало ожесточенной полемике и, в частности, зачем понадобилось редактору «Времени», игнорируя анонимный характер «Литературной подписи», хоть и косвенным образом, но весьма выразительно подчеркивать, что ее автором является Щедрин. Недоумение, однако, рассеивается при внимательном обследовании инцидента, которое обнаруживает отправной пункт горячего спора не в умеренной по тону и мало задевающей по существу заметке, а в другом выступлении сатирика.

¹ «Современник», 1863, январь—февраль.

² Письмо в редакцию А. Скавронского, озаглавленное «Литературная подпись», было опубликовано в декабрьском номере «Времени» за 1862 год. А. Скавронский — псевдоним Г. П. Данилевского; псевдонимом «Н. Скавронский» подписывался московский беллетрист А. С. Ушаков.

В той же книге «Современника», где была напечатана «Литературная подпись» Щедрина, появилась и заглавная статья его блестящего публицистического цикла «Наша общественная жизнь». Для первой общественной хроники Щедрин избрал тему о политической благонамеренности. В начале 1863 года, когда к выступлениям крестьян против помещиков внутри империи прибавилось польское восстание на ее западной окраине, трактовка этой темы в духе «преданий» Чернышевского приобретала особую политическую остроту. Дело в том, что реакционная печать, возглавляемая Катковым, использовала осложнение ситуации в своих целях, пустив провокационный слух, будто «мальчишки»-революционеры ведут «подземную работу» среди крестьянства по указке шляхты. С гневным сарказмом и исключительной смелостью разоблачая помещичьи вождедения, вдохновлявшие эту шовинистическую травлю революционной молодежи, хроникер «Современника» во всеуслышание заявил, что «мальчишество — сила, а сословие мальчишек — очень почтенное», и «самая остервенелость вражды против них свидетельствует, что к мальчишкам следует относиться серьезно»... В этой связи, говоря о достойном отношении к участникам освободительной борьбы — отношению, несовместимом с малейшими недомолвками и двусмысленностями, он нанес меткий и тяжкий удар «почвенникам», вскрыв реакционную сущность их общественно-политической позиции, которую они не уставали провозглашать независимой и прогрессивной. «Независимость» позиции «почвенников» сказывалась в том, что они лавировали между крайними журнальными направлениями, претендуя в то же время на роль арбитра, призванного возвестить борющимся лагерям «новое слово». После реакционного поворота, который отчетливо обозначился в правительственном курсе летом 1862 года, возможности для лавирования сильно уменьшились, стало значительно труднее замыкаться в оболочку туманной «почвеннической» фразеологии, приходилось так или иначе самоопределиться, хотя бы и не сказав искомого «нового слова».

Первый шаг к самоопределению был сделан «почвенниками» в программе журнала «Время» на 1863 год, где после формальной оговорки об уважении к «теоретикам», под которыми подразумевались революционно-демократические элементы, группировавшиеся вокруг «Современ-

ника», следовал выпад против них, а о «доктринерах» из «Русского вестника» говорилось в примирительных тонах. Один из антиреволюционных пунктов этой программы и привел Щедрин, сопроводив цитату острым разоблачительным комментарием. «Мальчишки, — писал он, — это, по счастливому выражению «Времени», «пустые и безмозглые крикуны, портящие все, до чего они ни дотронутся, марающие иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют. Мальчишки — это свистуны, свистящие из хлеба (какая разница, например, с «Временем»! «Время» свистит и в то же время говорит: «из чести лишь одной я в доме сем *свищу!*») ¹, и только для того, чтобы свистать, выезжающие верхом на чужой, украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающие себя маленьким кнутиком рутинного либерализма».

Хотя Щедрин тут же оговорился, что слова «мальчишки» в приведенном им пункте «почвеннической» программы нет, но этот тактический ход редакции «Времени» не удержал его от обвинения ее в прислужничестве самодержавной власти, поскольку он не сомневался, что под «крикунами... подхлестывающими себя маленьким кнутиком рутинного либерализма», разумелись представители революционно-демократического лагеря. Точно так же отнесся сатирик и к «Русскому вестнику», когда Катков прибегнул к аналогичной уловке, чтобы не подвергнуться общественному осуждению за слишком откровенную травлю передовой молодежи. Рецензируя помещенную в этом журнале заметку по поводу польского восстания, Щедрин указал, что в ней речь идет «не столько о польском вопросе, сколько о глаголемых «мальчишках» и «нигилистах». «И если мне скажут, — прибавил он, — что о «нигилистах» и «мальчишках» тут нет и помину, а говорится об «изменниках», то я отвечу: да, действительно, слова «мальчишки» и «нигилисты» обойдены довольно искусно, но есть в статье запах такой, который ясно говорит о присутствии этих слов» ². Помимо приведенного Щедриным пункта, и другие положения

¹ Перифраза стиха из «Опасного соседа» В. Л. Пушкина: «Из чести лишь одной в сем доме я служу».

² «Заметки и отзывы», «Русский вестник», 1863, № 1; «Современник», 1863, № 4, «Русская литература», стр. 288.

программы «почвенников» давали основание «Современнику» выступить с резким разоблачением общественно-политической позиции редакции «Времени». В частности, выпад против «пустых и безмозглых крикунов» предшествовал абзац, не оставлявший сомнений в том, на кого и почему она обрушилась. Как увидим далее, сатирик в надлежащий момент ответил и на этот пункт, сформулированный в программе следующим образом: «...В нашем обществе начала сильно проявляться жажда жить. Через это-то самое желание жить — общество и дойдет до настоящего пути... Но только *чтоб без скачков и без опасных salto-mortale* совершился этот выход на настоящую дорогу»¹.

Такого рода заявлениями Ф. Достоевский (а именно он был *негласным* автором новой программы «Времени»), по убеждению Щедрина, порывал со своим прошлым. То обстоятельство, что автор «Записок из мертвого дома» за принадлежность к революционному кружку Петрашевского поплатился каторгой, побуждало Щедрина с еще большей непримиримостью реагировать на его выступление. Достоевский же, по словам Н. Страхова, был убежден, что «авторитет... пострадавшего человека» позволял ему требовать, чтобы «его мысли о правительстве никто не имел права считать потворством или угодливостью»². Исходя из этой предпосылки, Страхов, вопреки фактам и логике, утверждал далее, что обвинение Достоевского в «угодничестве правительству» выражало не что иное, как глумливое «стремление отыскать себе врага в собственной сфере и приняться всячески его казнить»³.

Как себя чувствовал Достоевский в «собственной сфере», в среде молодежи шестидесятых годов, сообщает другой его биограф, Орест Миллер. «Только после смерти Ф. М-ча, — писал он, — я узнал, что ему было неприятно читать, как его обыкновенно просили, именно из «Мертвого дома»... При этом, надо думать, он хорошо понимал, что его и приглашают читать именно это — прямо ради демонстрации... я и не воображал, какую нсвую *пытку* должен был выносить этот многострадальный человек,

¹ Курсив наш.— С. Б.

² Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., изд. 1883 г., т. I, стр. 227.

³ Там же, стр. 275.

очутившись между людьми, почитавшими его *своим*, и почувствовав себя между ними *чужим*»¹.

Орест Миллер обходит сам собою напрашивающийся вопрос: что побуждало Достоевского подвергать себя «новой пытке», не подавая и вида людям, считавшим его своим, что он «чувствует себя между ними чужим»? А именно это «двоегласие» и привело к столкновению между Щедриным и Достоевским при первой попытке автора «Мертвого дома» анонимно выйти на «настоящую дорогу». Сам Достоевский, сознавая, что сатирик выступил против него из идейных побуждений, публично отрицал это, частным же образом признал действительной причиной конфликта 1863 года «измену своим прежним убеждениям». Возмущенный перлюстрацией его писем из-за границы, он жаловался А. Н. Майкову: «...Каково же [это] вынести человеку чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему государя... Руки отваливаются невольно служить им. Кого они не просмотрели у нас, из виновных, а Достоевского подозревают!.. Но ведь они должны же знать, что нигилисты, либералы-Современники, еще с третьего года в меня грязью кидают за то, что я разорвал с ними...»²

«Свист из чести», прозвучавший в программных тезисах «Времени», Щедрин не забыл и по смерти Достоевского. Никогда не забывал и Достоевский первого удара, нанесенного ему Щедриным: в единственном выпуске «Дневника писателя» за 1881 год, который вышел из печати в день похорон знаменитого романиста, его вражда к «Сатирическому старцу» сказала так свежо и непосредственно, словно он заново переживал полемические схватки с «Молодым пером»... Но, по обстоятельствам, о которых будет сказано ниже, Достоевский обошел молчанием обвинение, предъявленное Щедриным в «Нашей общественной жизни», и таким образом набросил покров на исходный пункт их полемики. Сняв этот покров, мы получаем возможность распутать и те тактические приемы, которые не только затушевывали принципиальный характер разногласий оппонентов, но и внесли сложные перипетии в самый ход полемики.

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., изд. 1883 г., т. I, стр. 171. (Курсив автора.)

² Ф. М. Достоевский, Письма, ГИЗ, 1930, т. II, стр. 130, 131.

III

С таким приемом мы встречаемся уже в первом выступлении Достоевского. Достоевский отвечал Щедрину анонимной статьей «Молодое перо», направленной против «Литературной подписи»¹. Этим объясняется, что «Литературная подпись», а не январская общественная хроника, фигурировала до сих пор как начальный этап спора. Такому заблуждению невольно способствовал и сам Щедрин, который упустил из виду, что полемический удар следует концентрировать в одном месте, а не распылять в нескольких одновременных выступлениях. Достоевский учел тактический промах противника и воспользовался им, подменив полемику по принципиальному вопросу, в которой ему пришлось бы занять невыгодную позицию, спором второстепенным, но позволявшим перейти в наступление. Впрочем, другого выхода у него и не оказывалось, поскольку он не решался гласно заявить об «измене своим прежним убеждениям». Какие опасения удерживали Достоевского от такого признания, видно из его позднейшего письма к Страхову. Сообщая ему о том, что направление славянофильской «Зари» он считает «явлением отпадным», поскольку «в журнале есть *мысль*, и именно та самая, которая теперь необходима», Достоевский напомнил политическому единомышленнику о тактике самоограничения в выражении своих взглядов. «Но мысль эта, — указывал он, — трудная и щекотливая... За эту мысль, особенно когда... Вы ее еще больше растолкуете, Вас назовут отсталыми, камчадалами и, пожалуй, продавшимися... *Время* и *Эпоха*, как Вы сами знаете, до такой откровенности и обнаженности в выражении своей мысли никогда не добивались и держались большею частью середины, особенно вначале»².

Вопрос, поднятый Щедриным в общественной хронике, оказался настолько «трудным и щекотливым», что Достоевский оставил его без ответа. Но с тем большим негодованием он обрушился на «Литературную подпись», зная, что эта заметка принадлежит автору «Нашей общественной жизни». Не решаясь прямо выступить против

¹ «Время», 1863, февраль.

² Ф. М. Достоевский, Письма, ГИЗ, 1930, т. II, стр. 165, 166.

своего обвинителя, идейный вдохновитель «Времени» стремился обезоружить его посредством обходного маневра. Этим путем он рассчитывал добиться следующего: во-первых, втянуть Щедрина в пререкания, совершенно посторонние начатой им кампании, и тем самым пресечь ее; во-вторых, *морально* дискредитировать его и таким образом свести на нет предъявленное им обвинение, а заодно и оправдать уклонение от полемики с ним по *серьезному* вопросу. Последней цели прежде всего служило раскрытие анонима автора «Литературной подписи». К такому приему Достоевский прибегнул для того, чтобы автора анонимной заметки связать с Щедриным — хроникером «Современника». Успев в этом, он стал настойчиво внушать своим читателям, что Щедрин не имеет собственных убеждений, обличает бездумно и бездушно, повинаясь приказу «нигилистов», к демократическому лагерю примкнул случайно и ненадолго, крайне избалован незаслуженным литературным успехом, непомерно самолюбив, самонадеян и вместе с тем угодлив, не брезгает клеветой и сплетней, заеден честолюбием и лишен понятия о чести...

Стремление Достоевского морально дискредитировать хроникера «Современника» отчетливо выявилось уже в статье «Молодое перо». Первое нападение редактор «Времени» произвел под флагом защиты А. Скавронского-Данилевского и Тургенева. Вообще говоря, с горячностью оборонять Данилевского от упрека в хлестаковщине было делом неблагоприятным, так как будущий руководитель «Правительственного вестника» пользовался громкой репутацией отъявленного лгуна и бахвала. Однако, поскольку нелестный отзыв принадлежал Щедрину, Достоевский усмотрел в нем высокомерную издевку над скромным тружеником со стороны «блестящего и талантливое аристократа», который «за генералов одних стоит»... Правда, во втором случае в одну шеренгу с «рядовым» Данилевским Щедрин поставил именно «генерала» — Тургенева. Но такое нарушение субординации оказывалось еще более зазорным для нравственных качеств «Молодого пера». Своей дерзкой выходкой, утверждал Достоевский, «Молодое перо» стремилось услужить другому «генералу», и не первому встречному, а Некрасову, хозяину «Современника». Отсюда он заключал, что Щедрин «впился в интересы редакции «Современника», лег-

комысленно запамятавав назидательную поговорку: «Бе-реги честь смолоду...»

Этим выпадом против *личности* своего обличителя Достоевский попытался исподтишка отпарировать его обвинение в «свисте из чести» и направить полемику по иному руслу. Такой умысел просвечивает и в нарочито неясном, интригующем указании на то, что, «впившись в интересы редакции «Современника», Щедрин «оставил прежнее у порога». Таким намеком Достоевский предостерегал «Молодое перо» от продолжения принципиального спора, угрожая в противном случае выступить с сенсационными разоблачениями.

IV

Расчеты Достоевского не оправдались. Своим ответом Щедрин вернул его в исходное — «трудное и шекотливое» — положение. Такого неожиданного для противника результата хроникер «Современника» добился своеобразным применением того самого приема, которым редактор «Времени» задумал его обезоружить. Как выше было показано, Достоевский, желая уклониться от обсуждения политической позиции своего журнала, обошел молчанием январскую хронику Щедрина и обратился к его заметке «Литературная подпись» с целью подменить принципиальный спор личной полемикой. Этот тактический ход Щедрин использовал во второй, мартовской, общественной хронике с противоположной целью. Уклоняясь от «состязания на пошлостях», он лишь мимоходом отозвался на темный намек в статье «Молодое перо» и все внимание уделил другому анонимному выступлению Достоевского, которое лично его не касалось, но имело непосредственное отношение к теме, затронутой им в январской хронике. Однако, прежде чем конкретно выявить эту тактическую особенность ответа сатирика, укажем еще на одно существенное обстоятельство, не замеченное исследователями. Говоря о выступлении Щедрина против Достоевского в мартовской общественной хронике, они останавливались только на ее заключительной части — фельетоне «Тревоги «Времени». Между тем в «Тревогах «Времени» сатирик художественно конкретизировал общие положения, которые публицистическими средствами он обосно-

вал в своей хронике. Поэтому рассмотрение его ответа Достоевскому мы начнем с нее.

Вторую статью из цикла «Наша общественная жизнь» Щедрин посвятил характеристике «картонной литературы» как продукта благонамеренной «картонной жизни» — вопросу, тесно связанному с темой первой хроники. Poleмическая целеустремленность щедринской трактовки этого вопроса сказывается уже в том, что, характеризуя «картонную литературу», хроникер «Современника» определяет ее основной порок такой типической чертой, которую критик «Времени» вменил в достоинство современной литературе. «Наша литература почти исключительно руководствуется благороднейшими чувствами», — писал Страхов. «Благородство чувств», заявил Щедрин, и есть характернейший признак «картонной литературы», поскольку оно исчерпывается бессодержательными афоризмами в булгаринском стиле — «добродетель добродетельна, а порок порочен». Элементарная тавтология, выдающая себя за откровение, безобидна только на первый взгляд, по существу же она — «один из самых сильно действующих ядов нашей литературы». Так называемые благородные чувства — это маски, за которыми укрываются «нищие духом». Отсюда хроникер «Современника» делал вывод, прямо относившийся к журналу Достоевского. Литературные органы, руководствующиеся «благородством чувств», указывал он, незаметно кончают одним и тем же: «Кто заметил, как «Русский вестник» сделался благонамеренным? — никто! — всегда был. Кто заметит, как «Время» сделается благонамеренным? — никто! — всегда было». Этот переход в реакционный лагерь совершается тогда, когда «благородство чувств» — выражение каплуньего либерализма — «утрачивает последние остатки куриной неприязненности к куриному злу, которая составляет основу его». Но пока метаморфоза воочию еще не произошла, либеральные органы осуждены «сидеть между двумя стульями», и именно такую двусмысленную позицию занимает «Время». Переходное состояние «почвеннического» журнала, сопряженное с опасениями потерять равновесие посреди бурных событий пореформенного периода, Щедрин сатирически обрисовал в фельетоне «Тревоги «Времени», который явился ответом на статью Достоевского «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов».

Это «объяснение» отражало межеумочный характер тактики редактора «Времени», которую он сам в письме к Страхову выразительно определил как стремление «держаться середины». Признавая неопределенность направления «Времени», Страхов, в воспоминаниях о Достоевском, объяснял «неясность того духа, в котором велся журнал», тем, что «кругом царило... ярое вольнодумство», вынуждавшее редакцию «приберегать до более удобного случая публичное выражение своих заветнейших убеждений»¹. После опубликования новой программы журнала редакция, повидимому, решила, что она слишком откровенно высказала некоторые из своих «заветнейших убеждений», роднивших ее с открытыми врагами «ярого вольнодумства». Демонстративный отказ сотрудников «Современника» участвовать во «Времени» и готовившееся выступление Щедрина поставили на очередь вопрос о предупредительных мерах против обличительной кампании «теоретиков». «Объяснение» Достоевского, появившееся в январской книжке «Времени» 1863 года, было написано с целью предотвратить последствия этого выступления, если не удастся отвести самый удар.

Предлог для «объяснения» имелся — «Отечественные записки» Краевского, крайне враждебно относившиеся к Чернышевскому и его окружению, неожиданно проявили «объективность», указав, что в редакционной программе их либерального конкурента содержатся нападки на «Современник». Хотя такой отзыв в печати был единственным, Достоевский в «объяснении» заявил, что редакцию «Времени» со всех сторон атакуют литературные враги. Зачинщиками кампании, по его словам, выступили разоблаченные «Временем» «хлебные свистуны», но затем к ней пристали обманутые ими люди, которые поверили, что в новой программе «почвеннического» журнала они сами, а главное — Чернышевский и Добролюбов, обруганы «пустыми и безмозглыми крикунами». Систематическое распространение заведомой лжи привело к тому, что редакцию обступили «целые тучи» журнальных ненавистников, у которых «духа русского... и слыхом не слыхать, и видом не видать», а «чутья русского и во сне не предвидится». При этом Достоевский задел и Каткова, охарактеризовав его, как «фаддей-булгаринствующего на Москве».

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., изд. 1883 г., т. I, стр. 257.

Откликаясь в «Тревогах «Времени» на «объяснение» Достоевского, Щедрин сатирически обрисовал душевное состояние человека, который «воюет сам с собой». «Ведь вы до такой степени галлюцинации дошли,— писал он,— что сами же свои собственные внутренности раздраете, и тут же совершенно искренне убеждаетесь, что раздрает их вам кто-то посторонний. Ведь до этого доходил только Хлестаков, когда уверял, что сочинил Юрия Милославского»¹. Между тем редакция «Времени», вследствие своей политической благонамеренности, не имеет оснований тревожиться:

«Никто вас не притесняет, никто даже не думает об вас... Что вы сказали такого, что можно было бы уловить и формулировать, по поводу чего можно было бы вооружаться против вас?..

Вы сидели, птицы, в роше толковали,
В роше толковали, смирно поживали...

Вся ваша деятельность за два года ограничилась тем, что вы открыли каких-то «свистунов, свистящих из хлеба и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма». Это самое ясное из всего, что вы ска-зали».

Напомнив Достоевскому исходный пункт их полемики, Щедрин тут же конкретизировал свою оценку политической позиции «Времени», данную им в январской хронике:

«Вы называете г. Каткова болгаринствующим, но разве не прав будет тот, кто вас, «Время», назовет катковствующим? Вот я, например... одарен такою прозорливостью, которая так и нашептывает мне, что вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени».

Не ограничившись прогнозом политической эволюции Достоевского, Щедрин вслед за тем указал и на те про-

¹ Аналогичный выпад против Ф. Достоевского содержится в анонимной статье Щедрина «Несколько полемических предположений», помещенной в той же мартовской книге «Современника» за 1863 год. Там представлен издатель «Времени» М. Достоевский как «проживающий инкогнито Петр Иванович Добчинский», который, вместо того чтоб «петушком-петушком за кем-нибудь подпрыгивать...», вследствие знакомства своего с Хлестаковым возомнил, что может быть самостоятельным и иметь право на знакомства с министрами».

блемы, к творческой разработке которых предстояло перейти автору «Записок из мертвого дома»: «...Если признавать силу болгаринской традиции,— продолжал он,— то надо признать, что она уже коснулась и вас... разумеется, покуда только невинной своей стороной. Ведь и Булгарин никогда не говорил, что *душа человеческая не бессмертна и что за воровство не следует наказывать*¹. Вы... хотите уверить, что у вас все это свое, самостоятельное. Напрасно».

Что же касается утверждения Достоевского, будто идейные противники «почвенников» лишены «русского духа», то сатирик парировал его выпад такой репликой: у «Времени» «только и есть русского, что «Мертвый дом». Один из комментаторов данной полемики истолковал это высказывание в том смысле, что Щедрин признал здесь «ценные стороны» «Времени», «выделяя из поля своих нападков» художественное произведение Достоевского². Такое истолкование, однако, не согласуется с тем, что Щедрин тут же чрезвычайно резко отозвался о литературной деятельности Достоевского: «Все-то в вас чужое: ваши мысли суть объединенные чужие мысли, ваше сентиментальничанье с либерализмом есть тысячекратно повторяемое трясенье гоголевской «Шинелью». Кроме того, в следующей, апрельской, книге «Современника» он отметил литературную зависимость «Записок из мертвого дома» от «французских источников». Все это позволяет предположить, что его реплика имела другой, иносказательный смысл, весьма близкий к обличению Достоевского в «свисте из чести» и солидарности с Булгариным, который тоже «никогда не говорил... что за воровство не следует наказывать». В этой связи «Мертвый дом», царская каторга, есть синоним самодержавной власти, с которой примирился бывший петрашевец Достоевский³. Таково идейное знамя редакции «Времени», все более отчетливо вырисовывающееся на фоне ее туманных рас-

¹ Курсив наш.— С. Б.

² Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., изд. «Просвещение», т. XXIII, стр. 228.

³ Как метко попала в цель эта щедринская характеристика политического перерождения раскаявшегося петрашевца, показывает позднейшая запись Достоевского: «О самодержавии как о причине всех свобод России». (ЦГЛА, опись 1, № 16, стр. 145. Подчеркнуто Достоевским.) На эту тему Достоевский собирался написать статью, но не осуществил своего намерения.

суждений о «почве». Анализируя это последнее понятие, сатирик усмотрел в нем не «новое слово», а «арбузные корки», выброшенные славянофилами «за ненадобностью и обглоданием». Свою сатирическую характеристику «почвеннического» направления, отличавшегося, по словам Страхова, «выгодной неопределенностью», Шедрин довершил чрезвычайно резким политическим выводом. «А знаете ли вы, — писал он, — что с «Русским вестником» все-таки приятнее иметь дело, нежели с вами? По крайней мере, не обманываешься: войдешь в «Русский вестник» — ну, и знаешь, что вошел в лес; а в вас войдешь — не можешь даже определить, во что попал: и серенько, и жиденько, и скользко...»

Таким образом, мы видим, что своим выступлением Достоевский не предотвратил разоблачения «Современником» реакционной сущности «почвеннической» идеологии. Между тем он сделал все для того, чтобы добиться положительного результата. Оговорившись вначале, что «объяснение» написано «не в виде оправдания», а «в смысле некоторого назидания», он затем настойчиво старался реабилитировать редакцию «Времени» во мнении «передовой части общества» и главным образом — радикально настроенной молодежи. С целью предупредить одиозное истолкование щекотливого пункта в новой программе «почвенников» об «опасных salto-mortale» Достоевский заявил, что «благочестиво верит в наше юношество», в котором заключается «прежде всего настоящая, естественная молодая сила... действительные начатки начинаний, нам доселе неведомых», что без «нетерпеливых, передовых и свет не стоит», что «если б все были... одни сомневающиеся и осмотрительные, ничего бы и не было». Далее Достоевский подчеркнул, что очень высоко ставит идейных учителей революционно-мыслящей молодежи: «Добролюбов... был человек глубоко убежденный, проникнутый святою, праведной мыслью и великий боец за правду. Чернышевский работал с ним вместе».

За этим панегириком «ярому вольнодумству» следовала суровая отповедь «мелкоплавающим» обличителям, «которые считают себя представителями прогрессистов и прогрессивной идеи». Обращаясь к ним, Достоевский писал: «Бьемся об заклад — вы думаете, что мы хотим укорить вас в эту минуту за то, что вы горячи и поспешны до неосмотрительности. Разуверьтесь: мы именно потому

считаем вас неспособными и неумелыми, что вы мертво-холодны... что убеждения ваши не свои, а заемные, а если и случаются свои, то легкомысленность их свидетельствует о слишком малой совестливости, с которой они приняты, что гражданского чутья нет у вас, иначе бы вы знали, на что и куда указывать, а вы в этом поминутно даете промахи; что с места вы не можете сдвинуться, а уверяете, что идете вперед, что самолюбие и выгоду вы чаще всего соединяете с общим делом и что наконец, если уж взять все, опять-таки вы всему мешаете. И главное, тем мешаете, что опошлили и измелъчили в глазах общества самые правдивые идеи и начинанья. Вы бездарно волочили великую мысль по улице и вместо того, чтоб произвести энтузиазм, *надоели* публике, а *надоесть* в этом случае публике — великое преступление. На бездарность-то вашу мы и досадовали, и часто нам бывало очень больно, когда вы дело проигрывали... Вы били своих и не ведали, что творили, да и теперь не догадываетесь».

Хотя приведенная сейчас характеристика является лишь распространенным положением одиозного пункта «почвеннической» программы о «пустых и безмозглых крикунах», в данном контексте — вследствие высокой оценки деятелей «Современника» и «нетерпеливой» молодежи — она звучит совершенно иначе, чем в соседстве с выпадами против «скачков» и «опасных salto-mortale». К этому и стремился Достоевский, поставивший себе целью убедить сомневающихся, что инкриминируемый редакции «Времени» пункт ее новой программы не имел отношения к «Современнику», а был направлен исключительно против «мелкоплавающих» журнальных обличителей. Поскольку же Щедрин и в январской хронике и в «Тревогах «Времени» решительно отвергнул такое истолкование общественно-политической позиции органа Достоевского, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, остается установить, как обстояло дело в действительности.

V

В поисках ответа на этот вопрос мы обратились к изучению неопубликованных записных книжек Достоевского начала шестидесятых годов и в настоящей главе под-

вергнем анализу его суждения, относящиеся к «Современнику», Чернышевскому, Добролюбову, социализму и «революционной партии», рассматривая в их свете соответствующие публичные заявления, с которыми он выступал от лица редакции «Времени».

В данной связи и для лучшей ориентировки в записях Достоевского прежде всего необходимо отчетливее выявить тактическую линию органа «почвенников».

«Почвенническое» направление являлось разновидностью славянофильства. Однако уже в первом программном заявлении о позиции «Времени» Достоевский отмежевывался от славянофилов. По свидетельству Страхова, такая тактика вызывалась «двойкой причиной: по-первых, желанием самостоятельности... во-вторых, желанием проводить свои мысли в публику как можно успешнее, интересовать ее, избегать столкновений с ее предубеждениями»¹. Но если славянофилов приходилось чураться вследствие непопулярности их идей, то в интересах успеха «Времени», роста его влияния на демократическую группу читателей следовало придерживаться иной тактики в отношении «Современника», который, по признанию того же Страхова, был «нерушимым авторитетом» для широких кругов радикально настроенной интеллигенции. И действительно, в первый год издания «Времени» Достоевский выступал против направления «Современника» «с довольно мягкими возражениями»², следя за тем, чтобы и сотрудники журнала, в особенности Страхов, питавший, по его собственным словам, «какое-то органическое нерасположение к нигилизму», вели себя тактично.

В своих воспоминаниях Страхов несколькими конкретными примерами охарактеризовал вмешательство Достоевского в его полемические пререкания с «Современником», признав такие действия руководителя журнала неизбежными, поскольку «редакция не могла не вступить за то, что имело силу в тогдашних нравах и на что

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., изд. 1883 г. т. I, стр. 207.

В письме к Страхову И. Аксаков с возмущением квалифицировал такую тактику, как «волокичество за публикую». Признавая его обвинение «очень справедливым», Страхов, однако, тут же поясняет, что «это волокичество имело вовсе не зlostный, а скорее самый чистый характер...» (Там же, стр. 257).

² Там же, стр. 235.

признавала и за собою полное право»¹. При этом он забыл отметить самое главное: в начале издания «Времени» Достоевский несколько раз резко выступал против провокационных нападок Каткова на Чернышевского и редактируемый им орган. Между тем выступления Достоевского и дали повод Страхову заявить в другом месте его воспоминаний, что в 1861 году «Время», «повидимому, в существенных пунктах не расходилось с «Современником»². Так как эта полемика имеет непосредственное отношение к нижеприводимым записям Достоевского, то приходится, прежде чем перейти к ним, рассмотреть ее детальнее.

Анонимные полемические статьи Достоевского были опубликованы в мартовской, майской и октябрьской книжках «Времени» за 1861 год, то есть именно в тот период, когда реакционная и либеральная печать, предводимая Катковым, с небывалым ожесточением атаковала Чернышевского, пустила в ход все средства политической травли вплоть до доноса по начальству включительно. Объединенными усилиями охранители, как известно, добились крупного успеха: признанный вождь революционно-демократического лагеря был заточен в Петропавловскую крепость, а затем, с помощью фальшивки, сфабрикованной правительством, сослан на каторжные работы. Уж по одному этому полемика Достоевского с Катковым в данный период не могла не привлекать внимания исследователей, чаще всего определявших позицию редактора «Времени» как «своеобразную», вследствие оговорок, которыми он отмежевывался от «Современника» и Чернышевского, отражая выпады против них со стороны «Русского вестника».

Такие оговорки в редакционных статьях Достоевского сводятся к замечаниям, что некоторые выступления в «Свистке» кажутся ему «иногда чрезвычайно легкомысленными и даже пристрастными», что он «искренно готов сочувствовать» Каткову, «видящему кругом себя хаос» и «требующему под собою почвы», что он «часто не соглашался» с Чернышевским и «задевал» его и поэтому может говорить о нем, не опасаясь, что его примут за «сеида и отъявленного партизана» «капризного публициста». Эти

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., изд. 1883 г., т. I, стр. 235.

² Там же, стр. 222.

полемиические уколы, как мы вскоре увидим, лишь самым поверхностным образом выражали сущность и степень разногласий Достоевского с «Современником». И все же они обращали на себя внимание, хотя в контексте не должны были, казалось, производить впечатление одиозных высказываний. Чтобы удостовериться в последнем, приведем несколько примеров, которые вместе с тем послужат для сравнения с «объяснением» Достоевского и заметками в его неопубликованных записных книжках.

Так, в статье «Ответ «Русскому вестнику» Достоевский писал, имея в виду «полемиические красоты» в нападках Каткова на Чернышевского:

«...Вы... стали называть не согласных с вами мальчишками и крикунами... С высоты своего величия вы не захотели... даже признать возможности честного убеждения в этих «крикунах и мальчишках»... мы ждали от вас нового слова и ничего не дождались, кроме долго сдерживаемой и вдруг вырвавшейся злобы и желчи, дошедшей, наконец, до самой цинической откровенности... Вы считаете свист постыдным, последним делом...» Отозвавшись затем уже известным нам образом о некоторых, не поименованных им, выступлениях в «Свистке» и тут же заявив, что он вообще «не увлекается свистящим направлением «Современника», Достоевский далее дает ему следующую оценку: «Свисток», — пишет он, — по-нашему, даже отчасти нормальное явление в нашей литературе. Он не хочет утешать себя побасенками и разными приятными грезами. От деятелей он требует деятельности, а не тупого самодовольства. Он хочет называть каждую вещь ее собственным, настоящим именем, а не принимать журавля за соловья. «Свистуны» не считают, например, что уже и того довольно, что они делают честь литературе своим в ней участием. Видя, что невозможно называть каждую вещь по имени, они предпочитают иногда посвистать, то есть похохотать над самодовольными болтунами, над скороудовлетворяющимися деятелями... Пусть они иногда не правы, далеко заходят, опрометчивы, неумеренны. Но мысль-то их недурна. Она нова в нашей литературе. Это наша *Диогенова бочка*, и держат себя они в ней довольно стойко и самостоятельно»¹.

¹ «Время», 1861, май, «Смесь», стр. 18 и 19. (Курсив наш.— С. Б.).

Как видим, лестная характеристика, данная Достоевским «свистящему направлению» «Современника», не только не умалилась от сделанных им оговорок, но, напротив того, выиграла в своей убедительности. Так же обстоит дело и в другом случае. Солидаризировавшись с Катковым в его стремлении преодолеть «хаос» обретением надежной «почвы», редактор «Времени» продолжал:

«Вам хочется что-то создать, слепить, несмотря даже на непрочность и негодность материала. Вы хотите настойчиво уверить нас и даже себя, что ваш материал годен, и не видите, что все это грезы, и то, что вы хотите лепить — не лепится. Вы не замечаете, что для своей идеи вы жертвуете даже правдой, даже убеждениями своими, и ставите себе идолов... У вас поневоле выходит все как-то книжно, безжизненно. Вы ищете жизни, а у вас нет ни надежд, ни молодости... Вы, например, не можете простить всем увлекающимся и ошибающимся и с презрением на них смотрите... А уж это слишком цинично, даже грязновато»¹.

Этот цинизм вызывается политической позицией Каткова, который держит сторону людей, приверженных к тому, «что по их понятиям незыблемо и неподвижно», а «незыблемость и неподвижность... любящих преимущественно за то, что она совпадает с их материальными текущими интересами, часто в ущерб остальным и многочисленнейшим их собратьям...» Отсюда — ненависть «Русского вестника» к интеллигентному «меньшинству», в котором «таятся прогрессивные жизненные силы в противоположность застою всего общества», поэтому он не может признать, что «между меньшинством являются иногда люди гениальные» и «всегда есть люди честные, прямые, готовые всем пожертвовать для блага общества и стойчески переносить все гонения». Не желая это признать, Катков демагогически выпячивает тот общеизвестный факт, что «рядом с ними существуют мальчишки и крикуны», которые «суеются, забегают вперед, исповедуют новую идею до крайностей, бездарно и грубо схватывают одни только ее верхушки», и судит «по этим крикунам о стойкости и истинности какой-нибудь новой, прогрессивной идеи, проповедуемой в избранном меньшинстве общества лучшими его представителями»².

¹ «Время», 1861, май, «Смесь», стр. 19.

² Там же.

Как видим, и в этом случае оговорка Достоевского (о солидарности с Катковым насчет «хаоса» и «почвы») не была им развита в противовес лагерю «Современника». Наоборот, она только подчеркнула его высокую оценку демократических идеалов и их выразителей и оттенила его антипатию к дворянскому либерализму.

В другой полемической статье («По поводу элегической заметки «Русского вестника») Достоевский вернулся к этой теме и заключил свой ответ Каткову меткой и едкой отповедью участникам травли Чернышевского. После цитированной выше реплики о разногласиях с «капризным публицистом» он писал: «И ведь престранная судьба г. Чернышевского в русской литературе! Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал, что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет, больше ничего. И вдруг г. Чернышевский выходит, например, с чем-нибудь вроде «Полемических красот». Господи! Подымается скрежет зубовой, раздастся элегический вой. «Отечественные записки», после этих красот, поместили в одной своей книжке чуть не шесть статей разом... единственно о г. Чернышевском, и именно с тем, чтоб доказать всему свету его ничтожество... Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале, да еще разом, в одной книжке? То же и в Москве: там тоже было вроде маленького землетрясения. Писались даже отдельные брошюры о г. Чернышевском. К чему бы, кажется, так беспокоиться?»¹ И, прозрачно намекая на то, что Катков своими выступлениями против Чернышевского заискивает перед властью имущими, Достоевский закончил статью недвусмысленным указанием на грядущее превращение его из либерала-англомана, поклонника свободных учреждений и личной независимости,— в продажного журналиста.

Тут мы еще раз убеждаемся в том, что в начале издания «Времени» Достоевский публично лишь в самой общей форме и вскользь заявлял о своих разногласиях с направлением «Современника», но зато совершенно открыто и резко выступал против его врагов. Кроме того, рассмотренная полемика с Катковым как будто позво-

¹ «Время», 1861, октябрь, «Смесь», стр. 198—199.

ляет заключить, что и в 1863 году Достоевский ни в чем не отступил от своих прежних воззрений: и тогда и впоследствии (в цитированном выше «объяснении») он решительно возражал против смешения руководителей «Современника» с «крикунами и мальчишками», причем последних всегда характеризовал в одних и тех же резких выражениях, а представителям «свистящего направления» давал все более высокую оценку.

Но как в таком случае согласовать с этими высказываниями Достоевского известные пункты его программного заявления в 1862 году? Не были ли они случайной обмолвкой, лишь по недоразумению вызвавшей страстную полемику между ним и Щедриным? Или, может быть, осенью 1862 года редактор «Времени», признав ошибочной свою прежнюю позицию, сделал попытку выйти на новую дорогу, но идти по ней дальше не решился и, оказавшись в двусмысленном положении, нашел единственный выход из него в отрицании принятой им попытки?

Для разрешения этих сомнений мы обратимся к показаниям самого Достоевского, сохранившимся в его неопубликованных записных книжках.

Здесь наше внимание прежде всего останавливает следующая общая характеристика, данная им в 1861 году направлению «Современника»:

«Современнику легко издаваться. Он берет за самую легкую сторону: самую крайнюю. Тут и идея не своя — ничего своего нет. Все, дескать, скверно. Даже и в России, даже и в ней элементов своих вы не находите (спросят их) — и в ней тоже. Молодежь горячо, с чувством, с сердцем бросается за крайними вождями. Она им верит. Наши Прудоны, дескать. Увы! Чтоб быть Прудоном, много надо иметь. Конечно, и в исповедовании крайней идеи *во что бы то ни стало* (т. е. для успехов журнала) много можно встретить остановок, много подводных камней. Ведь нельзя же все отрицать, надо ведь и об чем-нибудь сказать положительно, высказать энтузиазм кому-нибудь — показать свои карты. Ба! Да у вас и на это лекарство есть. Крайний свист! все свистать, все благородное и прекрасное, каждый факт освистать, прикинуться Диогенами, скептиками, дескать, мы смеемся, скалим зубы, а в груди-то, в груди-то у нас сколько за-

ключено! и страданий, и того, и сего... Долго ведь не догадаются!»¹

Два вывода можно сделать из этой характеристики «свистящего направления» «Современника».

Первый вывод тот, что она диаметрально противоположна оценке, данной этому направлению Достоевским в споре с Катковым. Если в «Ответе «Русскому вестнику» Достоевский писал, что «свистуны», не желая «утешать себя побасенками и разными приятными грезами», предпочитают «похохотать над самодовольными болтунами и скороудовлетворяющимися деятелями», то в цитированной заметке он подставляет на место этих типичных фигур российских либералов «все благородное и прекрасное». Если в полемике с Катковым Достоевский приравнял мысль «свистунов» к «Диогеновой бочке», в которой «держат себя они довольно стойко и самостоятельно», то здесь он не обинуясь утверждает, что они только «прикидываются Диогенами» в погоне за успехом у доверчивой публики.

Второй вывод сводится к тому, что эта характеристика направления «Современника» полностью совпадает с оценкой «свистунов» и «мелкоплавающих» обличителей, данной Достоевским в программном заявлении «Времени» 1862 года и в его «объяснении» 1863 года. Прежде всего, как мы знаем, Достоевский упорно отрицал там, что у «свистунов» имеются собственные воззрения. В программном документе 1862 года он заявил, что «свистуны, свистящие из хлеба, выезжают верхом на чужой, украденной фразе», в «объяснении» подтвердил сказанное им раньше: убеждения у них «не свои, а заемные», и ту же мысль категорически сформулировал в записной книжке: у деятелей «Современника» «и идея не своя — ничего своего нет».

Затем, в «объяснении» 1863 года Достоевский вменил в вину «мелкоплавающим» обличителям — «свистунам», что они «вместо того, чтоб произвести энтузиазм, *надоели* публике», и тут же подчеркнул: «*надоесть* в этом случае публике — великое преступление». Аналогичный выпад содержится и в той части вышеприведенной записи Достоевского, где он указывает, что «крайние вожди»,

¹ Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, I²₆, стр. 113.

внушающие молодежи отвращение ко всему окружающему, рискуют быть отвергнутыми ею, поскольку «надо ведь и об чем-нибудь сказать положительно, высказать энтузиазм кому-нибудь...» Эта тема полнее раскрывается в другой записи Достоевского, уже прямо обращенной к идейному руководителю революционной молодежи. Здесь мы читаем:

«Чернышевскому. А ведь перед г-н-то Буслаевым вы были неправы.

— В смехе, в вечном смехе есть суть.

— Вы изгоняете энтузиазм из молодежи, а ведь наше время такое, что энтузиазм необходим»¹.

Далее. В программном заявлении 1862 года и в «объяснении» 1863 года Достоевский писал, что «свистуны, свистящие из хлеба», портят все, до чего они ни дотронутся», что у «мелкоплавающих» обличителей «гражданского чутья нет», иначе бы они знали, «на что и куда указывать», а между тем «в этом поминутно дают промахи».

То же самое, но в еще более раздраженно-озлобленном тоне говорит Достоевский в записной книжке:

«— Вы тупы, никакого политического такта.

— Вы всякое практическое дело испортите»².

Кроме того, в своем «объяснении» Достоевский утверждал, что «мелкоплавающие» обличители «самолюбие чаще всего соединяют с общим делом». Этот же мотив развит им и в записи о полемике Чернышевского с Катковым и «Отечественными записками»:

«— Уверяем вас, что прием ваш был превосходен; вы навели страх. Но вы не поддержали его и упали с бесславием. А знаете, чем можно было поддержать: сознанием в своих промахах, в своей заносчивости и в своем невежестве. Нет, вы не решились. Плохо. Вы бы показали тогда, что вы выше мелочного самолюбия, что вы благородно-самолюбивы, что истина для вас все, что для вас прежде всего основная мысль, была бы она верна. Но вы этого не сделали, и мы убеждены теперь, что никогда не сделаете.

Следы необъятного самолюбия, которому вы всем жертвуете»³.

¹ Фонд Ф. М. Достоевского, I ²/₆, стр. 102.

² Там же, стр. 95.

³ Там же, стр. 97.

К обличению «необъятного самолюбия» Достоевский, как известно, позднее неоднократно обращался в своей антиреволюционной проповеди смирения («смирись, гордый человек!»). Какое социально-политическое содержание было выражено в психологической форме такого обличения, в чем, в частности, должен был, по мысли Достоевского, признать свою несостоятельность Чернышевский, видно из следующей записи:

«Чернышевский говорит, что он семинарист.

...семинаристы¹ привносят в нашу литературу особенное отрицание, слишком полное, враждебное, слишком резкое, и потому слишком ограниченное»².

Наконец, тут же мы выявляем и последнюю отрицательную черту, которой охарактеризовал «мелкоплавающих» обличителей Достоевский. Настаивая в «объяснении» 1863 года на том, что убеждения у них «заемные», он добавил: «а если и случаются свои, то легкомысленность их свидетельствует о слишком малой совестливости, с которой они приняты». Такой же враждебный выпад позволяет себе сделать Достоевский и в отношении руководителя «Современника».

«Чернышевскому. К чему это слишком выделанное высокомерие и назойливость в ваших статьях, чтоб прельщать?»³

...и с малосовестною скоростью разрешать вопросы»⁴.

Отрицательную характеристику «мелкоплавающих» обличителей Достоевский предварил заверением, что укоряет их отнюдь не за то, что они «поспешны до неосмотрительности». Между тем именно в «поспешности» Достоевский, как это явствует из его записей, усматривал отсутствие «политического такта» у «свистунов» и вред, наносимый ими «практическому делу», то есть «безболезненному» проведению «великих реформ». В данном вопросе он занимал типично либеральную позицию, сущность которой Щедрин с предельной сатирической выразительностью и лапидарностью определил в двух словах: «Не вдруг!» В записной книжке Достоевского мы читаем:

¹ Вся эта фраза тщательно зачеркнута неизвестной рукой. Слово, которым начинается фраза, не разобрано нами.

² Фонд Ф. М. Достоевского, I ²/₆, стр. 92.

³ Зачеркнуто: семинаристов?

⁴ Там же, стр. 92.

«Куда вы торопитесь? (Чернышевский.) Общество наше решительно ни к чему не готово. Вопросы стоят перед нами. Они созрели, они готовы, но общество наше отнюдь не готово. Оно разъединено»¹.

«Умеренное и аккуратное» назидание до конца расшифровано Достоевским в предельно откровенных злобно-клеветнических нападках на «революционную партию». Он пишет:

«Революционная партия тем дурна, что нагремит больше, чем результат стоит, нальет крови гораздо больше, чем стоит вся полученная выгода. (Впрочем, кровь у них дешева.) Всякое общество может получить² только ту степень прогресса, до которой оно доразвилось и начало понимать. К чему же хватать дальше, с неба-то звезды? Этим все можно погубить, потому что всех можно испугать. В сорок восьмом даже буржуа согласился требовать прав, но когда его направили было дальше, где он ничего понять не мог (и где и в самом деле было глупо), то он начал отбиваться и победил. В настоящее время в Европе нужно только возможно больше самоуправления и свободы прессы. Но там и этого не достигнешь. Общество подозрительно и не в состоянии вынести свободы. Вся эта кровь, которою бредят революционеры, весь этот гвалт и вся эта подземная работа ни к чему не приведут и на их же головы обрушатся»³.

Здесь Достоевский превзошел даже либерала Кавелина, чей отзыв о Чернышевском, «как бестактном, самоуверенном человеке», и чье осуждение «революционной партии» за то, что она считала «пригодными все средства, чтобы ниспровергнуть правительство», В. И. Ленин охарактеризовал как «образчик профессорски-лакейского глубокомыслия».

Эта запись окончательно проясняет смысл иносказательной тирады Достоевского о «скачках» и «опасных salto-mortale», с которой мы встретились в его программном заявлении 1862 года, и устанавливает несостоятельность предположения, что она была простой обмолвкой. Но что в таком случае означает характеристика Добролюбова как человека, «проникнутого святою,

¹ Фонд Ф. М. Достоевского, I $\frac{2}{4}$, стр. 8.

² Над строкой: вместить.

³ Фонд Ф. М. Достоевского, I $\frac{2}{4}$, стр. 57.

праведной мыслью», и «великого бойца за правду», данная в «объяснении» 1863 года? Может быть, Достоевский, отвергая методы революционного действия, в начале шестидесятых годов еще оставался верен социалистической идее, воспринятой когда-то в романтико-христианском духе, и именно ее величал «святою, праведной мыслью»? Но и это предположение отмечает сам Достоевский в нижеследующих записях:

«Социализм основан на неуважении к человечеству (стадность). И механизм (а сентиментальность, которую вы берете — вздор)».

И далее:

«Из католического христианства вырос только социализм; из нашего вырастет братство»¹.

Враждебные доводы, выдвинутые Достоевским против «революционной партии» и социализма, в шестидесятых годах были обиходной присказкой у всех тех, кто клеветническими измышлениями думал огрadyть себя от грядущей революции и крушения собственнического строя. Но нелепо фантастический вымысел о происхождении социализма принадлежит лично Достоевскому. Печатно он впервые высказал эту мысль в «Идиоте» (1868), затем — в «Бесах» (1872), в «Дневнике писателя» 1877 года и ее же положил в основание «Легенды о великом инквизиторе» (1879), написанной незадолго до смерти. Тем большее значение для характеристики политической эволюции Достоевского имеет тот факт, что это «заветнейшее убеждение» было им отчетливо формулировано уже в первой половине шестидесятых годов. Что же касается «братства», то, как он позднее разъяснил, в его понимании оно уживалось с социальным неравенством: «в христианстве, в настоящем христианстве, есть и будут господа и слуги»². Достоевский, разумеется, не мог считать, что Добролюбов защищал *такую* «праведную мысль».

Остается заключить, что вышеприведенной характеристикой он стремился публично отвести от себя обвине-

¹ Фонд Ф. М. Достоевского, I², стр. 79.

² Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1877, 1880 и 1881 годы. Полн. собр. соч., ГИЗ, 1929, т. XII, стр. 406. Казуистические рассуждения, которыми Достоевский сопровождал этот вывод, не меняют существа дела.

ние в «измене своим прежним убеждениям», не решаясь открыто порвать с демократическим лагерем.

Этот вывод подтверждается записями Достоевского, сделанными им во второй половине 1861 года, то есть тогда, когда литературная деятельность Добролюбова могла уже быть оценена с достаточной полнотой. В своих заметках Достоевский касается двух замечательных — по глубине содержания и мастерству изложения — полемических статей Добролюбова: «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (январь 1860 г.) и «От дождя да в воду» (август 1861 г.). В этих статьях публицист «Современника» с глубоким чувством горечи от постигшего его разочарования осудил ложный шаг знаменитого педагога Н. И. Пирогова, издавшего, в качестве попечителя Киевского учебного округа, «Правила» о применении наказаний в подведомственных ему школьных учреждениях. Добролюбов тем менее мог умолчать о таком факте, что незадолго до того он в «Современнике» очень высоко оценил яркие выступления прославленного гуманиста против защитников розги и тогда же высказал надежду, что его «независимость в отношении к обществу» поможет ему на деле отстоять передовые взгляды. Поэтому, рассматривая «Правила» Киевского комитета, Добролюбов с особым вниманием анализировал мотивы, побудившие убежденнейшего противника телесных наказаний заявить, что он «вполне разделяет» принятое руководимой им коллегией решение употреблять розги до тех пор, пока «сеченные дома дети будут поступать в наши воспитательные учреждения». Детальным разбором этих доводов, из которых один гласил: «розга не годится», а другой: «но нельзя еще у нас вдруг вывести розгу из употребления», Добролюбов показал, что они содержат в себе объяснение не только «случая из практики» знаменитого педагога, но бросают яркий свет на более распространенное явление — политическую тактику русских либералов. «Сам Пирогов упал» потому, — писал Добролюбов, растолковывая эту мысль, — что он склонен «произвол оставить в покое», ограничив свою задачу «кое-какими починками» в «старой рутине». Гуманные убеждения Пирогова и его исключительные заслуги перед наукой остаются в силе, но в своем общественном поведении он не возвысился над позицией либерала, и, следовательно, в данном отношении его нужно судить как «обыкновенного человека».

Строго объективное и вместе с тем негодующее разоблачение во «Всероссийских иллюзиях» тактики либералов последние предпочли истолковать в выгодную для себя сторону, представив выступление Добролюбова как оскорбительную выходку «щедринского озорника» против *личности* популярного общественного деятеля. Отвечая на такую плоскую по существу и хитроумную по скрытой мысли интерпретацию «Всероссийских иллюзий», Добролюбов прежде всего заявил, что «ничего не может взять назад из этой статьи», а затем разъяснил ее «смысл и цель». «Возражений на мои замечания, серьезного разбора статьи, — констатировал он в статье «От дождя да в воду», — никто не напечатал, а напечатали какие-то беззубые выходки против моей негуманности (!) в обращении с г. Пироговым... Мне и всей русской публике сообщали за новость, что «он может ошибаться и ошибается, как всякий человек, но ошибки *не отнимают у него* высокого ума, благородно-либеральных стремлений и сильного характера для возможных у нас разумных реформ»... А я-то, видите ли, отнимал у него прописанные качества!» Но полемические уловки врагов «Современника» бессильны изменить принципиальную постановку вопроса во «Всероссийских иллюзиях», которая имеет в виду не личности, а «самое дело». Такому смыслу статьи соответствует ее цель, сводящаяся к указанию, что «дело могло бы пойти успешно только тогда, когда бы Пирогов ли — или кто другой — направил все свои усилия на решительное и коренное изменение того положения, которое оказалось препятствием для г. Пирогова на пути более широких реформ». Отдельные личности, «если они действуют только сами собой», не могут рассчитывать на проведение своих «задушевных убеждений», но их инициатива и последовательные поступки нужны для того, «чтоб общество, чтоб сама *среда* обратила внимание на свое положение и почувствовала необходимость изменить его».

Мы так подробно остановились на ярком эпизоде борьбы Добролюбова с русскими либералами потому, что в свете этой полемики особенно отчетливо вырисовывается отношение Достоевского к его публицистической деятельности в нижеприводимых записях. Ввиду того, что в заметках Достоевского, которые непосредственно касаются

статьи Добролюбова «От дождя да в воду»¹, часто встречаются повторения уже высказанных им положений, мы приведем здесь только те записи, где эти положения выражены наиболее полно. При таком отборе прежде всего обращает на себя внимание следующий отрывок:

«266. В серьезности и горячности тона и высказалось то глубокое уважение, которое я питал к г. Пирогову. Во-все не было серьезности и горячности тона. Была *радость*, что вы, наконец, [смогли] накинуться на то, что *получше* вас. К чему уж теперь хитрить и оправдываться? Ведь громкими фразами ничего не сделаешь и не отговоришься от всеобщего впечатления, произведенного вашей статьей. Впрочем, еще было бы ловко (такое прикидывание и оправдание), если б прием-то уж не устарел. А то слишком старо. Наизусть знаем»².

В данной записи яснее, нежели в других, аналогичных по содержанию, заметках, выразилось намерение Достоевского, вопреки прямым заявлениям Добролюбова, укрепить версию о якобы личной подоплеке его спора с Пироговым.

Вслед за тем Достоевский набрасывает строки, в которых намеченная им выше тема получает весьма характерное развитие:

«267. Мысль *Бова*: «Я думал, что Пирогов восторжествует над средою, но я горько обманул».

Так, стало быть, уж по-вашему Пирогов уступил, он не передовой человек. (Какая шутовская мелочность в понимании жизни. Точно дети, право!) Да если б Пирогов и ошибся раз (и эта ошибка мелочь, потому что вы уж слишком обрадовались парижской идейке), так разве он такой человек, что он может разом обратиться в отсталого? Да ведь он из таких, которые ради всеобщей пользы могут согласиться в ошибке. Из такого ли материала Пирогов.

— Что за скороспелая принципиальность! Вот, дескать, мы знаем идейку, что не надо сечь, а вы-то не знаете! — Ухватились, поймали чужое! рады! именинники!..»³

¹ Эта статья была опубликована в августовском номере «Современника» 1861 г., за подписью: *Н-бов*. Делая выдержки из нее, Достоевский всюду ссылается на соответствующие страницы журнального текста.

² Фонд Ф. М. Достоевского, I ²/_а, стр. 104.

³ Там же, стр. 105.

Здесь мы находим признание Достоевского, что он ясно сознавал, с каких позиций громил либерализм Добролюбов. Оспаривая утверждение последнего, что «уступка в принципе», допущенная Пироговым, сделала его «сообщником киевских педагогов» (то есть завязтых реакционеров), Достоевский прямо указывает на революционное содержание такого бескомпромиссного утверждения («парижская идея!»). Этот же мотив звучит и в другой записи Достоевского, где он отождествляет отношение Добролюбова к русским либералам с его уничтожающей характеристикой их итальянского собрата — графа Кавура:

«...Вам нужно разом всего. Да ведь это история ваша с Кавуром...»¹

И дальше Достоевский обращается к Добролюбову с таким назиданием:

«А что общее мнение все-таки не за вас, а за Пирогова, то значит Пирогов заслужил обществу и оно сердечно ему преданно, а вы нет. Значит, дорога ваша довольно лужная. Свистать и свистать — ведь это сушь! Любви к делу мало! гуманности мало!»²

В чем усматривал Достоевский сущность своих разногласий с Добролюбовым, к какому «общему мнению» он примыкал, келейно оппонируя публицисту «Современника», видно из пространной записи, главная мысль которой сформулирована в самом начале. Приводим здесь эту основную часть положительной доктрины редактора «Времени»:

«291) Заключение *Бова*. Зачем, дескать, Пирогов не направил всех сил на *решительное* и *коренное* изменение и т. д.

Ответ наш: Вероятно, оттого, что рассудил, что ничего бы не сделал. Вы сами об этом свидетельствуете, что один человек не сделает; *среда, дескать*. След., Пирогов рассудил, что лучше сделать хоть *что-нибудь*, если не все. Вы недовольны этим хоть что-нибудь, г. Бов?»³

Судя по записям, Достоевский имел намерение печатно ответить Добролюбову на его статью «От дождя да в воду». Воздержался он от этого шага, очевидно, потому,

¹ Фонд Ф. М. Достоевского, I ²/₆, стр. 106.

² Там же, стр. 110.

³ Там же, стр. 77.

что не решился открыто выступить против «Современника» в столь «существенном пункте»... Это подтверждается тем фактом, что анонимная рецензия на сочинения Пирогова, опубликованная во «Времени», не содержит возражений, которые делал Добролюбову в своей записной книжке Достоевский. Вместо этого там о «Всероссийских иллюзиях» уклончиво сказано, что, хотя «статья эта была бесспорно желчна и горяча, но была ли она в сущности несправедлива — это вопрос»¹. Правда, рецензент, несомненно, метил в Добролюбова, когда посреди похвал Пирогову «так, знаете ли, к случаю» обронил, что его популярность «не имеет ничего общего с громкими, случайными репутациями», нередко приобретаемыми людьми, которые «кажутся дубами» за их «выходящий из ряда обыкновенных смелый, энергичный голос...»² Но этот тщательно замаскированный выпад был понятен только самому небольшому числу людей, знавших, как тяготилась редакция «Времени» своей наружной лойяльностью к враждебному ей направлению «Современника». Такие бесплодные намеки не удовлетворяли Достоевского, и он рвался к прямому объяснению с идейным противником. Определенное указание на это мы находим в следующей его записи, которая явилась откликом на первое полемическое выступление «Современника» против «почвенничества»³.

«Начало:

Вы начали первый. Мы начинать не хотели, хотя давно уже ежились. Но вы были нам дороги, мы вам сочувствовали, и мы решились лучше молчать, хотя я уж и не знаю, как у нас иногда щемило в душе, читая ваше шутство... Но теперь вы начали, и теперь мы очень желали бы высказать вам все не так, как прежде, чуть-чуть...»⁴

«Чуть-чуть» относилось к тем осторожным критическим замечаниям о «свистящем направлении» «Современника» и Чернышевском, которые проскальзывали в известных нам оговорках редактора «Времени» в полемике с Катковым. От чего «ежился» Достоевский, мы теперь

¹ «Время», 1862, апрель, «Критическое обозрение», стр. 17.

² Там же, стр. 1.

³ Мы имеем в виду статью М. А. Антоновича «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе «Времени»)», напечатанную в декабрьской книге «Современника» за 1861 год.

⁴ Фонд Ф. М. Достоевского, I ²/₆, стр. 91.

ясно представляем себе по вышеприведенным заметкам из его записной книжки. Что же касается фразы о «сочувствии», то без публичного заверения в былой симпатии к направлению «Современника» редакция «Времени» не могла бы обосновать свою позицию в недавнем споре с Катковым, поэтому именно такой мотивировкой Достоевский начал полемическую статью.

Таким образом, мы установили, что в 1861 году Достоевский дважды порывался вступить в резкую полемику с «Современником». Выяснение этого обстоятельства весьма важно: оно свидетельствует о том, что выпады против некрасовского журнала в программном заявлении «Времени» осенью 1862 года не были случайными. В 1861 году Достоевский «решился молчать» по тактическим соображениям — он «приберегал до более удобного случая публичное выражение своих заветнейших убеждений». Главным образом его останавливало то, что «Современник» возглавляли признанные вожди молодого поколения, Чернышевский и Добролюбов. Вступить с ними в принципиальный спор по общественно-политическим вопросам Достоевский воздерживался из боязни вооружить против себя передовую молодежь, полного доверия которой он настойчиво добивался¹. Затем и самый исход спора внушал ему серьезные опасения: «Полемические

¹ Какое *особое* значение придавал Достоевский этому вопросу, видно из его позднейшего письма Победоносцеву. Вот что он писал ему 24 августа 1879 года: «Мое литературное положение (я Вам никогда не говорил об этом) считаю я почти феноменальным: как человек, пишущий зауряд против европейских начал, компрометировавший себя навеки *Бесами*, то есть ретроградством и обскурантизмом,— как этот человек, помимо всех европействующих, их журналов, газет, критиков, все-таки признан молодежью нашей, вот этою самой расшатанной молодежью, нигилистиной и проч.? Мне уж это заявлено ими, из многих мест, единичными заявлениями и целыми корпорациями... Эти заявления молодежи известны нашим деятелям литературным, разбойникам пера и мошенникам печати, и они очень этим поражены, не то дали бы они мне писать свободно. Заели бы, как собаки, да бояться и в недоумении наблюдают, что дальше выйдет». («Красный архив», 1922, т. II, стр. 246.) «Заявления молодежи», о которых говорится в письме Достоевского,— это большей частью читательские письма, содержавшие разного рода отклики на его литературные выступления. Несомненно, что в оценке общественно-политического значения этих откликов Достоевский впадает по меньшей мере в сильное преувеличение: подлинно передовая молодежь резко отрицательно относилась к автору «Бесов».

красоты» Чернышевского предостерегающе напоминали, с каким противником пришлось бы мериться силами. О впечатлении, которое произвели на него «Полемические красоты», Достоевский сам засвидетельствовал в следующей записи: «Нам даже ваш тон, ваш неслыханный по безбоязненности и нарушению приличий слог казался значительным. Именно нам казалось, что вы нарочно хотите поставить себя выше известных приемов литературных, выше слога, что вы даже с намерением нарушаете и разбиваете китаизм литературных отношений, чтоб именно показать тем, что вам истина дороже всего, и чтоб испугать этим врагов своих, чтоб они сказали: этот человек ничего не боится, он страшен, он плюет на наши приемы и обычаи, — нет, его ничем не опутаешь...»¹

Только после смерти Добролюбова и ареста Чернышевского, в резко изменившейся политической обстановке, Достоевский выступил против «Современника». Однако, убедившись, что новая редакция некрасовского журнала готовится к серьезному отпору, он поспешил дезавуировать свое собственное выступление, придав ему другой смысл. Выше мы пункт за пунктом проанализировали опровержение Достоевского и путем документальной проверки показали, что все определения отрицательного свойства, данные им в «почвеннической» декларации и в «объяснении» 1863 года «свистунам» и «мелкоплавающим» обличителям, на деле, вопреки его оправдательным доводам, относились к Чернышевскому и Добролюбову, а подчеркнуто высокая оценка их деятельности имела целью затушевать этот факт. Что же касается выступлений Достоевского против Каткова, то та же документальная проверка устанавливает, что его полемика с ним и другими политическими противниками «Современника» меньше всего была продиктована сочувствием к идеям и тактике Чернышевского и Добролюбова. В заметках Достоевского, написанных летом и осенью 1861 года, мы читаем:

«Чернышевскому. Б-а — ба и т. д. Весь комизм тут заключается в том, что ведь этого никак не может быть на деле, даже вообразить этого нельзя, а так только на бумаге у себя в кабинете г. Чернышевский тешится тем, что призывает к себе² всех великих мира сего: Канта,

¹ Фонд Ф. М. Достоевского, I $\frac{2}{6}$, стр. 96.

² Под строкой: подзывает к себе пальцем.

Гегеля, Альбертини, Дудышкина и начинает их учить по складам. Эта потеха очень невинная и, конечно, очень смешная, она напоминает Поприщина, вообразившего, что он испанский король»¹.

В другой заметке мы читаем:

«— Положим, вам позволено похвастаться, потому что вы защищаетесь против тех, которые вам говорят, что вы ничего не знаете, но нельзя же быть шутом»².

К Чернышевскому же обращена такая тирада:

«Теперь уж вас не бьет, кто не хочет (вот даже г. Павлов)³, забывая, что лежачего не бьют, а вы уж давно лежите, только не замечаете этого сами»⁴.

В отрывке, который Достоевский намеревался включить в полемическую статью (см. выше запись, озаглавленную «Начало»), о Чернышевском говорится следующее:

«Мы приглядывались к вам; мы думали, что вы на многое благородно осмелились, что вы не хотите педантизма, мы были последние, которые вас отстаивали и защищали»⁵.

Если сравнить это заявление с вышецитированными записями, то наглядно обнаружится его истинный характер. Под «отстаиванием и защитой» Достоевский разумеет здесь свою статью «По поводу элегической заметки «Русского вестника», в которой он высмеял жалкие потуги Каткова и «Отечественных записок» убедить читателей, что Чернышевский — «невежда, нахал, пустозвон и пустоцвет». По его заверению, он отстаивал Чернышевского, полагая, что тот «на многое благородно осмелился». Но статья эта появилась в октябре 1861 года, а вышеприведенные записи были сделаны *раньше* — в июле и августе. Рассматриваемое же позднейшее заявление, написанное в декабре 1861 года, таким образом, лишь подтверждает то, что нами выяснено на основе всего изученного материала: и до опубликования своей «защититель-

¹ Фонд Ф. М. Достоевского, I ²/₆, стр. 60.

² Там же, стр. 90.

³ Здесь имеется в виду редактор московской газеты «Наше время» Н. Ф. Павлов, выступивший в августе 1861 года с пасквильной статьей «Г. Н. Чернышевский и его время» («Наше время», 1861, № 28).

⁴ Фонд Ф. М. Достоевского, I ²/₆, стр. 95.

⁵ Там же, стр. 96.

ной» статьи и позднее Достоевский относился к Чернышевскому с неизменной враждебностью.

Такое отношение было внушено Достоевскому страхом перед крестьянской революцией, идеологами которой являлись Чернышевский и его соратники. Как мы увидим, Щедрин впоследствии указал, что именно это чувство страха владело Достоевским, когда он писал роман «Бесы». «Подпольная» полемика Достоевского с руководителями «Современника» в корне подсекает легенду, будто в начале шестидесятых годов он идейно примыкал к передовому лагерю, а его печатные выступления при сопоставлении с этой скрытой полемикой наглядно показывают, какие средства были им употреблены для создания такой легенды.

Характеризуя «Время», Страхов утверждал, что в 1861 году его направление, «повидимому, в существенных пунктах не расходилось с «Современником». Эта формулировка вводит в заблуждение своей неопределенностью. Мы думаем, что Страхов безусловно был бы ближе к истине, если бы вместо «повидимому» написал: *только по видимости*.

VI

Рассмотренные материалы удостоверяют, что в полемике с Щедриным Достоевский не мог выступать открыто. Кроме того, они проливают свет на явно личный характер, приданный им этой полемике. Публицист «Современника» с такой принципиальной непримиримостью вскрывал внутреннее «двоегласие» Достоевского, так глубоко проникал в его «подполье», что личная дискредитация идейного противника представлялась редактору «Времени» единственным средством самозащиты. Какое ослепление обуревало Достоевского, видно из записи, в которой фантастичность вымысла граничит с галлюцинацией. В этой записи мы читаем:

«Я ничего лично не имею против г. Щедрина, он мне отнюдь не враг. Но я преследовал в нем литератора продажного (что я слышал лично от г-на Щедрина). Кто ж и мог ему выставить весь позор его положения»¹.

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 4, стр. 144.

Эти строки были занесены Достоевским в записную книжку 1864 года, после опубликования им пасквиля, озаглавленного «Господин Щедрин, или раскол в нигилистах». Такое крайнее, имеющее мало прецедентов в истории полемики выступление явилось последовательным продолжением той линии на моральную компрометацию противника, которая ясно обозначилась уже в статье «Молодое перо».

Отвечая не на «Молодое перо», а на «объяснение» Достоевского, Щедрин побуждал своего оппонента отказаться (как сказано в «Тревогах «Времени»») от «употребления анонимов» и «беседы с читателем в форме какого-то невинного письма от Машеньки Н. к Оленьке Р.», то есть выступить по существу спора и с поднятым забралом. В какой мере это ему удалось, покажет разбор ответа Достоевского на «Тревоги «Времени».

Вторая полемическая статья Достоевского появилась в мартовской книжке «Времени» за 1863 год. Намерение редактора «Времени» продолжать спор в прежнем духе подчеркнуто названием статьи — «Опять «Молодое перо»; ее содержание соответствует этому заглавию. Но самое характерное в новом выступлении Достоевского — это вторично примененный им здесь способ подмены принципиального спора личной полемикой. Для ликвидации прорыва, произведенного в его тактике «Тревогами «Времени», он подменил на глазах у ничего не подозревавших читателей объект нападения оппонента, подставив «Молодое перо» вместо своего оправдательного «объяснения». Этот маневр мы обнаруживаем в его обращении к оппоненту:

«Вижу, вижу вас... в тот самый момент, когда вам принесли февральскую книгу «Времени» и сказали вам, что в ней есть статья против вас, под заглавием «Молодое перо»... Помните ли ту грустную минуту, когда... оставшись один, дали волю всему, что сдерживали в груди вашей? Помните ли, как вы разломали стул, разбили вдребезги чайную чашку... и, в ярости колотя что есть силы обоими кулаками в стену, вы клялись, с пеной у рта... написать такую ругательную статью, что стоял мир и будет стоять, а такой статьи еще не бывало до сих пор ни на земле, ни в литературе! И вот вышли ваши «Тревоги «Времени»...»

Таким образом Достоевский стремился еще раз укло-

ниться от серьезного ответа на предъявленные ему политические обвинения.

«Брамбеус», «молодой человек», «Молодое перо», «военная косточка», «гусар в русской литературе», яростно мстящий за «отдавленную ножку», и тому подобными оскорбительными прозвищами Достоевский внушает читателям, что политические обвинения, сформулированные в «Тревогах «Времени», продиктованы какими угодно, но только не принципиальными соображениями. Помимо уязвленного самолюбия, Достоевский указывает еще на один мотив, по его мнению, побудивший Щедрина выступить против «Времени», — мотив журнальной конкуренции. Достоевский горячо убеждает читателей, что сатирик поставил себе целью «повредить изданию» «почвеннического» органа, чтобы таким предосудительным способом улучшить положение конкурирующего с ним «Современника», где он «участвует в интересах редакции». Этот пункт обвинения имеет для редактора «Времени» особую важность потому, что отсюда он прямо переходит к характеристике Щедрина как писателя и общественного деятеля.

При этом происходит «ряд волшебных превращений». Из выдающегося последователя Гоголя, каковым еще так недавно провозгласил Достоевский Щедрина, последний становится писателем, отображающим поверхностно воспринятые «смешные стороны» русской жизни. Из яркого выразителя самой глубокой и замечательной народной черты — «способности самобичевания» «во имя негодующей любви к правде, истине» — сатирик обращается в неприятно-самоуверенного и тщеславного кружкового деятеля. По определению Достоевского, Щедрин — «художественная натура», но в данном случае это означает лишь крайнее легкомыслие и беспринципность. К «Современнику» он примкнул «не по убеждению, а из искусства для искусства», и в редакции этого журнала его «из обыкновенного либерала тотчас же перепекли в нигилиста». В чем выражался «обыкновенный либерализм» сатирика, Достоевский прямо не говорит, но из контекста статьи можно заключить, что он разумеет факт его сотрудничества во «Времени» до приостановки «Современника» летом 1862 года. Это и есть то «прежнее», что Щедрин «оставил у порога», войдя в редакцию некрасовского журнала. Сатирика «потянуло» к нигилистам, и он

«примкнул к ним, от души веря, что они всех сильнее»¹, но отрицателем в действительном значении слова все же не стал. Достоевский делает такой вывод на том основании, что Щедрин — «литератор по натуре воинственный и в высшей степени верующий во все свое право обличать». Эта «необъяснимая самостоятельность» несвойственна истинному отрицателю, — таковым в силах стать лишь тот, кто способен «пострадать от мысли», что и он, может быть, похож на обличаемый им объект.

Пристрастность характеристики «Молодого пера» не мешает нам разглядеть подлинные черты политического облика сатирика. «Воинственность натуры» и непоколебимая вера «во все свое право обличать» действительно были выдающимися качествами Щедрина. И если Достоевский, с замечательной рельефностью выставив эти качества, стремился таким образом нагляднее представить своего противника самовлюбленным и беспринципным «кусателем», то тем самым он повредил только цельности «воображаемого портрета».

Но и такое крайне тенденциозное обличение «Молодого пера» кажется Достоевскому еще недостаточным для того, чтобы перейти к ответу на обвинительные пункты, выдвинутые сатириком в «Тревогах «Времени»». Прежде чем заняться ими, ему необходимо устранить основное обвинение — в «свите из чести», обратив и его против своего разоблачителя. И он это делает, умалчивая, однако, о самом обвинении и вместе с тем давая понять оппоненту, что знает причину его полемических выступлений: «Мы восстали на хлебных свистунов, — пишет Достоевский, — мы сказали святую правду, вы нас за это слепоругаете... Поверьте, что через хлебных-то свистунов (к которым и вы примыкаете) и проигрывает святая идея».

¹ Так при страстно, в лично-полемическом духе истолковал Достоевский заявление Щедрина: «мальчишество — сила». Как мы помним, это заявление он сделал в первой общественной хронике, где им было брошено обвинение редакции «Времени» в «свите из чести». Позднее Страхов, не называя Щедрина, весьма неловко пытался оспорить его заявление. Говоря о том, что «все лицемерит, прикидывается, старается выслужиться» перед молодым поколением, которое придерживается революционно-материалистических взглядов, Страхов спрашивал: «Перед кем? Перед чем? Не перед действительною силою, что было бы простиительно, а перед какими-то неясными призраками...» (Письмо в редакцию «Эпохи». «Эпоха», 1864, № 1—2, стр. 578. Курсив наш.— С. Б.).

И далее он угрожает «хлебным свистунам», что будет «поминутно разворачивать их муравейник»¹.

Это заявление знаменует собой своеобразную эволюцию в тактике редактора «Времени». Он попрежнему отказывается признать, что метил в Чернышевского и Добролюбова своими выпадами против «хлебных свистунов», но зато уже связывает с последними *новую* редакцию «Современника», к которой примкнул Щедрин. Таким образом, Достоевский заметно расширяет смысл «обличения», с которым он первоначально выступил в своем «объяснении». Такой тактический поворот был обусловлен резким усилением правительственной и общественной реакции в связи с польским восстанием, выступлениями Щедрина в «Современнике» против «Времени» и желанием Достоевского высказать то, что у него давно «щемило в душе». Он об этом «решался молчать» и даже вторил мотивам «ярого вольнодумства», пока «Современник» возглавляли «нерушимые авторитеты» — Чернышевский и Добролюбов. Теперь же ему кажется, что наступил удобный случай начать выбираться из «подполья». Этот план представлялся Достоевскому выполнимым, так как, по его убеждению, влияние «Современника» должно было, после ареста Чернышевского, значительно умалиться, а реакция в правительственных и об-

¹ Словечко «муравейник» (заимствованное у Аполлона Григорьева) Достоевский вскоре употребил и в «Записках из подполья», а затем и в других произведениях, направленных против революции и социалистических идей. Но еще раньше, в 1861 году, оно было брошено Катковым в споре с Чернышевским. Заслуживает быть отмеченным и то обстоятельство, что из полемических нападок либеральных «Отечественных записок» на Чернышевского, имевших место тогда же, Достоевский заимствовал уничижительные прозвища для Щедрина — «Брамбеус» и «молодой человек». Позднее сатирик демонстративно подчеркнул эту преемственную связь тем, что одно свое яркое выступление против оппортунизма русских и зарубежных либералов («Отрезанный ломоть» — вошло в «Недоконченные беседы»), внушенное ему (по его собственному указанию в письме к Некрасову) «преданиями «Современника» времени Чернышевского и Добролюбова, он подписал: «Молодой человек». Поводом для этого выступления послужила речь в оправдание телесного наказания детей, произнесенная на судебном процессе известным адвокатом и либеральным деятелем Спасовичем. Щедрин связал речь Спасовича, как характерный образчик политического соглашательства, с оппортунизмом Луи Блана, воскресив, таким образом, в памяти читателей замечательные выступления Добролюбова против Пирогова и Кавура.

щественных кругах, вследствие польского восстания, возрастала воочию с каждым днем. И редактор «Времени» решает перейти в наступление против революционно настроенных элементов, считая, что последними «уже брезгует общество, тяготится ими и оставляет их».

Но и тут Достоевский не изменяет своей компромиссной тактике. Редактор «Времени» еще не видит возможности вступить в открытую борьбу с мировоззрением Чернышевского и Добролюбова,— от этого его пока удерживает боязнь быть причисленным к реакционному лагерю. И он направляет удар не против прежних руководителей «Современника», а их преемников. Такой маневр требовал резкого идейного разграничения тех и других. И действительно, в рассматриваемой статье Достоевский внушает читателям, что его разоблачение членов новой редакции «Современника» как «хлебных свистунов» отнюдь не затрагивает прежних руководителей некрасовского журнала. Напротив, это разоблачение есть лучшее доказательство искренней приверженности «почвенников» к «святой идее прогресса», носителями которой, по признанию редакции «Времени», ведь и были как раз Добролюбов, «человек глубоко убежденный, проникнутый святою, праведной мыслью и великий боец за правду», и Чернышевский, «работавший вместе с ним»... Новая же редакция «Современника» прикрывается чужим авторитетом, а у нее самой «убеждений почти совсем теперь нет».

Такое расширительное истолкование пункта о «хлебных свистунах» Достоевский затем использует в качестве аргумента против других обвинений, предъявленных ему в «Тревогах «Времени»». Так, касаясь утверждения Щедрина, что он «сидит между двумя стульями», Достоевский заявляет: «... у нас, у одних, может быть, хватило настолько смелости, чтоб так резко высказать всю правду насчет бездарности, пошлости, лености и злокачественности этих прогрессистов», то есть все тех же «хлебных свистунов». «Вы скажете, — обращается он далее к Щедрину, — что то же самое делают и Катков, и Скарятин, и Асоченский. Нет, не то же самое. Те во имя мрака ратуют, а мы во имя света. Их не слушают, а нас послушают. И не говорите нам, что мы садимся между двух стульев. Вздор, это и есть дорога!» Так отмахивается

Достоевский от щедринского указания на межеумочность позиции «почвенников», которое он сам же позднее признал правильным, констатируя в письме к Страхову, что в своем направлении *«Время и Эпоха... держались большею частью середины, особенно вначале»*. Этот-то начальный период издания *«Времени»*, завершившийся оправдательным «объяснением» Достоевского, и имел в виду сатирик, когда писал о «сиденье между двумя стульями». Но вместе с тем он уже тогда предвидел и то, что такая позиция «в непродолжительном времени» приведет Достоевского к «катковствованию». Расширительное истолкование Достоевским пункта о «хлебных свистунах» в значительной мере подтверждало прогноз сатирика.

Но этого-то Достоевский как раз не хотел признать. Отсюда проистекает его попытка решительно отмежеваться от деятелей реакционного лагеря ссылкой на какой-то «свет», во имя которого ратуют «почвенники». Что это за «свет», редактор *«Времени»* не поясняет, очевидно считая, что упоминания о «святой идее прогресса» и «великой идее» делают излишними дальнейшие разъяснения... Но при этом он все же не упускает случая еще раз заверить читателей, что, не в пример новой редакции *«Современника»* и ее союзникам — *«Русскому слову»* и *«Искре»*, «почвенники» занимают безусловно прогрессивную позицию. И в подтверждение своих слов Достоевский опять-таки указывает на полемику *«Времени»* с «хлебными свистунами». Он пишет: «Ведь пророчество наше сбылось, что «хлебные свистуны» закричат на нас, что мы, на них нападая, на прогресс нападаем. Ну какой они прогресс, какие они представители прогресса?.. Да мы в тысячу раз более прогрессисты уже хоть тем, что идолопоклонства в нас нет, что мы не смешиваем прогресса с этими тупенькими представителями...»

Этим заявлением Достоевский между строк дает понять, что щедринский прогноз его политической эволюции не заслуживает внимания, так как он исходит от «хлебного свистуна», который в ярости клеветает на своего разоблачителя... Но все это — в намеке; ничего внятного Достоевский не говорит относительно предсказания сатирика и даже не упоминает о нем. Обходит он и другое острое место в *«Тревогах «Времени»*, хотя на первый

взгляд может показаться, что его ответ исчерпывает вопрос.

«Есть еще одно обстоятельство, о котором надо упомянуть, — замечает Достоевский. — Вы пишете про нас:

«Мало того; я даже думаю, что если признавать силу болгаринской традиции, то надо признать, что она тоже коснулась и вас... разумеется, *покуда* только невинной своей стороной».

Выписав эти строки и подчеркнув слово «покуда», Достоевский продолжает: «Вот видите ли: я хоть и никакой цены не даю иным вашим словам, но это *покуда* я не хочу пропустить без оговорки...» И далее он заявляет, что «словцо *покуда* никуда здесь не годится», так как в нем, редакторе «Времени», «вовсе нет настолько слишком уж самоохранительного и виляющего до малодушия благоразумия (как, например, было в Булгарине)...»

Подчеркивая в высказывании Щедрина слово «покуда», Достоевский придает своей «оговорке» половинчатый характер. Таким образом он отвергает лишь то, что «булгаринская традиция» может быть им в будущем воспринята с предосудительной стороны, но обходит утверждение сатирика, что эта традиция уже в настоящем коснулась его «невинной своей стороной». Если бы Достоевский склонен был вести открытый спор по существу затронутого Щедриным вопроса, он не мог бы пройти мимо утверждения о приятии им некоторых элементов «булгаринской традиции». Но тогда ему пришлось бы ознакомить читателей со следующими за цитированной фразой строками, которыми сатирик пояснил, что именно разумел он под «невинной стороной» булгаринства. «Ведь и Булгарин, — саркастически напоминал Щедрин, — никогда не говорил, что душа человеческая не бессмертна и что за воровство не следует наказывать. Вы... хотите уверить, что у вас все это свое, самостоятельное. Напрасно». Достоевский не останавливается на этой щекотливой аналогии, потому что она требует более конкретных и содержательных высказываний о его убеждениях, чем ссылки на «святую идею прогресса» и «ратование во имя света». По этой же причине он замалчивает перед своими читателями и брошенное ему обвинение в «свисте из чести» и предсказание о его при-

общении в близком будущем к «катковствующим». Между тем именно этими тремя пунктами публицист «Современника» обозначил тот поворот в мировоззрении Достоевского, который сам Достоевский позднее назвал «изменой своим прежним убеждениям». И если Достоевский мимоходом бросает замечание, что «иным словам» своего оппонента «никакой цены не дает», то есть не отзывается на них единственно потому, что не придает им значения, то такой полемически-пренебрежительный жест не устраняет очевидного факта, что о содержании «иных слов» сатирика, повидимому, столь для него безразличных, он не решается даже намекнуть.

С запальчивым оживлением нарисовав «воображаемый портрет» своего противника, Достоевский становится вял и скуп на слова, когда обращается к предъявленным ему обвинениям. Редактор «Времени» отчетливо сознает, что публицист «Современника» игнорированием личной полемики в статье «Молодое перо» стремился добиться от него серьезного объяснения принципиальной постановкой вопросов, и он подчеркивает безрезультатность этой попытки дразнящим указанием на постигшую его оппонента неудачу. Свой ответ он заключает ироническим приглашением «писать веселее» и насмешливо-недоумевающим вопросом относительно иносказательной формы, в которой сатирик вызывал его на откровенный разговор: «Что это у вас... за Оленька Р. и Машенька Н.? Хоть убейте — ничего не понять, а очень интересно. Я долго размышлял: метафорически это иль нет, и, право, согрешил — подумал: уж не насчет ли поползновения тут что-нибудь... А, впрочем, господь знает, что вы тут разумели, не разберешь!.. Кланяйтесь Оленьке Р. и Машеньке Н., если они в самом деле не выдумка. Ведь вот как, однакож, весело кончилось...»

Такая мажорная концовка ответа Достоевского не оправдана его содержанием. Щедрин добился известного результата, вынудив своего оппонента ответить на некоторые вопросы, поставленные в «Тревогах «Времени». Характер реплик Достоевского свидетельствовал о том, что он не может гласно отстоять сделанные им программные заявления и, в интересах самозащиты, затушевывает их подлинный смысл, прикрывая свое отступление личной полемикой.

Отвечать на личные выпады Достоевского, как мы знаем, не входило в намерения Щедрина, и, поскольку статья «Опять «Молодое перо» вся состояла из таких выпадов, он на нее не отозвался. Но, памятуя вызывающее приглашение редактора «Времени» «писать веселее», Щедрин в очередной, апрельской, книге «Современника» набросал несколько тем для «Свистка» — сатирического отдела журнала. Некоторые из этих тем были связаны с «Тревогами «Времени», другие затрагивали новые мотивы. К первой группе относились: «Прогулка в роще, или Птицы без перьев». Ученое исследование, написанное для журнала «Время», но редакцией его отвергнутое», «Опыты самораздирания», «Рассказ очевидца», «Самонадеянный Федя, детская сказка в стихах», «Опыты сравнительной этимологии, или «Мертвый дом», по французским источникам. Поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева». Во вторую группу входили: «Стихотворная элегия на кончину «Времени» и «Безумная заметка о сумасшедших впечатлениях». Фельетон нового мормона за все время одержания бесами». В последней теме намечалась литературная пародия на новое произведение Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях». Фельетон за все лето»¹. Но все эти проекты не осуществились, так как вскоре после выхода «Современника» с шуточной эпитафией Щедрина «Время» подверглось цензурному запрещению. Судьбу «почвеннического» органа решил печатный донос сотрудника «Московских ведомостей» Петерсона, который усмотрел полонофильскую идею в благонамеренной, но страдавшей недомолвками статье Страхова «Роковой вопрос».хлопоты редакции «Времени» о снятии цензурного запрета не дали результатов. Тогда Страхов обратился с письмом к Каткову, редактору «Московских ведомостей»; из этого письма последний удостоверился в благонадежном образе мыслей автора статьи «Роковой вопрос» и публично признал ее «невинность». К концу 1863 года М. Достоевскому правительство разрешило издавать журнал под новым названием «Эпоха».

¹ См. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., ГИХЛ, 1937, т. V, стр. 470.

Закрытие «Времени» возбудило толки, причем высказывалось мнение, что мотивировка цензурной кары — «завредное направление» — имела основания. Повидимому, с такой оценкой редакционного курса «почвеннического» органа связано выступление Щедрина в ноябрьской книге «Современника»: в очередной общественной хронике он иносказательно откликнулся на программное заявление «Времени» о «скачках» и «опасных salto mortale». Свою мысль Щедрин выразил в форме диалога между штатским генералом Постепенниковым и коллежским секретарем Колобродниковым. «Нет, прыгать я не согласен!» — твердит генерал, не слушая своего собеседника, почтительно заверяющего, что никто и не требует от него таких необузданных движений... В развернутом виде политическая программа Постепенникова рисуется им самим следующим образом: «По-моему, так: если задумал реформу, начни сперва с одного уезда. Сделал? Хорошо! Переходи к другому. Сделал? Хорошо! Переходи к третьему. И таким образом, без потрясений и незаметно... а прыгать я не согласен!» Колобродников уточняет этот реформаторский план справкой, что «в России более шестисот уездов и что на каждый из них, чтобы удостовериться в совершенной годности реформы, нужно положить по крайней мере год времени», — следовательно, «последнему-то уезду придется дожидаться шестьсот лет, пока дойдет до него очередь». На эту перспективу Постепенников отзывается стереотипной репликой: «А по-вашему, лучше прыгать? Ну нет, прыгать я не согласен!»

Иносказание Щедрина раскрыла «Искра», дав к его диалогу своеобразный комментарий — сценку «Утро у редактора», в которой под прозрачным псевдонимом Недостойный был выведен Достоевский. Щедринские мотивы автор фельетона истолковал на свой лад. Он заставил Недостойного по-хлестаковски мечтать о генеральстве и ругать «скачущую» Матрену — редакционную уборщицу... Кроме того, фельетонист использовал выступления Щедрина в «Литературной подписи» и «Тревогах «Времени». Сценка из «Искры» — по замыслу литературная пародия на произведения, помещенные в первых номерах «Эпохи», — в какой-то мере предвосхитила сюжет «Стрижей», которыми Щедрин в мае 1864 года возобновил полемику с Достоевским.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

В предыдущей главе мы выяснили исходный пункт конфликта, возникшего между Щедриным и Достоевским, и проследили перипетии их полемики в 1863 году. Этот спор возобновился с новой силой в 1864 году, когда Достоевский стал руководителем «Эпохи», преемницы «почвеннического» журнала «Время». В первой книге «Эпохи» начали печататься его «Записки из подполья», и их содержание обострило разногласия оппонентов.

Мы уже знаем, что «Зимние заметки о летних впечатлениях» сатирик охарактеризовал, как «фельетон нового мормона за все время одержания бесами», подчеркнув таким образом их реакционную направленность. Еще враждебнее он должен был оценить «Записки из подполья», в которых Достоевский впервые публично выступил не только против революционного действия, но и против пропаганды социализма как высшей формы общественного устройства. Правда, по меткому замечанию одного исследователя, это было «публичное, но не открытое выступление», поскольку глашатая антисоциалистической идеи Достоевский представил в отталкивающем образе. Однако это обстоятельство не могло ввести в заблуждение сатирика. К тому же одно место в «Записках из подполья» наглядно показало Щедрину, что герой этого произведения отчасти выражает взгляды самого Достоевского и даже продолжает его ожесточенную полемику с публицистом «Современника»... Такая полемическая нота звучит в той части монолога «джентльмена с ретроградной физиономией», где он глумится над «прекрасным и высоким».

«Это «прекрасное и высокое», — говорит «подпольный» человек, — сильно-таки надавило мне затылок в мои сорок лет; но это в мои сорок лет, а тогда — о, тогда было бы иначе!.. Я бы все на свете обратил тогда в прекрасное и высокое; в гадчайшей, бесспорной дряни отыскал бы прекрасное и высокое... Художник, например, написал картину Ге. Тотчас же пью за здоровье художника, написавшего картину Ге, потому что люблю все прекрасное и высокое. Автор написал *«как кому угодно»*; тотчас же

пью за здоровье «кого угодно», потому что люблю все «прекрасное и высокое»¹.

В выражении «как кому угодно» один исследователь Достоевского усмотрел пародию на заглавие романа Чернышевского «Что делать?», не приметив произведения Щедрина с таким необычным названием. Между тем Достоевский столь резко отозвался именно об этом произведении, что подтверждается следующей заметкой, обнаруженной нами в его неопубликованной записной книжке:

«Как кому угодно.

Учитесь милые дети.

Нет, не дается нигилизм г-ну Щедрину, не дается. Он в таком же затруднении поступив в нигилисты, как и генерал Зубатов, в его собственной повести, когда он хочет следовать за веком, биржу придумывает и даже выразиться не умеет, сам г. Щедрин назвал такого сорта людей умирающими. Нет, уж пусть г. Щедрин пишет по-прежнему повести, не заботясь о нравоучениях к ним. *Нравоучение ему всегда подскажут*»².

Эта краткая, отрывочная запись представляет для нашей темы двойной интерес, так как она дает возможность судить не только об отношении Достоевского к «Как кому угодно», но и помогает выяснить его взгляд на другое произведение Щедрина, не названное, но подразумеваемое в том месте вышеприведенной тирады «подпольного» человека, где говорится о «художнике, написавшем картину Ге».

Дело в том, что, приравнивая сатирика к персонажу его рассказа — ретивому реформатору генералу Зубатову, Достоевский отвечал на выпад, сделанный против него Щедриным в статье «Наша общественная жизнь». Этот полемический эпизод мы рассмотрели в предыдущей главе. Напомним здесь о комическом образе генерала Постепенникова, одержимого некоей «врожденной идеей», под воздействием которой он без усталости твердит одну и ту же фразу: «Ну нет, прыгать я не согласен!» Генерал не возражает против реформ, но рекомендует проводить их в строгой очередности, по уездам, и каждый раз тща-

¹ «Эпоха», 1864, январь — февраль, Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, ГИЗ, 1926, т. IV, стр. 120.

² Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, I $\frac{2}{3}$, стр. 135. (Подчеркнуто в оригинале.)

тельно изучать полученные результаты; таким образом, все дело преобразования могло бы быть окончательно завершено через шестьсот лет, по числу уездов в России. Эта сатирическая характеристика относилась к редакционной программе журнала «Время», направленной против «скачков» и «опасных salto-mortale» в общественном развитии. Но, помимо исследованного полемического эпизода в «Нашей общественной жизни», запись Достоевского подводит и к другому месту этой статьи, где Щедрин задел его вторично, и именно в том плане, на который намекнул «подпольный» человек, то есть в связи с картиной Н. Н. Ге.

Эта картина — знаменитая «Тайная вечеря» — впервые была выставлена в 1863 году и произвела на зрителей чрезвычайно сильное впечатление. В очередной общественной хронике Щедрин уделил много места оценке выдающегося художественного явления. С исключительной изобразительной силой выявив замысел художника, он раскрыл глубоко реалистический характер его трактовки религиозного сюжета. Особое впечатление, произведенное «Тайной вечерей» на массу зрителей, Щедрин объяснил тем, что Ге снял мистический покров с евангельского сказания и безыскусственно-просто воплотил на полотне его смысл, поучительный для современности. «Ясное созерцание художника», подчеркнул Щедрин, развивая эту тему, убеждает, что «громадное явление», которое «заключает в себе смысл картины, имеет свою преемственность, что оно не только не окончилось, но всегда стоит перед нами, как бы вчера совершившееся». Полное отсутствие в произведении Ге «приторно-казенных эффектов» действует освежающе, проясняя сознание зрителей внезапной мыслью, которая заставляет их почувствовать себя как бы «прижатыми к стене... малодушными и виноватыми». Они начинают понимать, что «смысл подвига самого высокого заключается в его преемственности и повторяемости». Последней фразой, вычеркнутой цензором¹, Щедрин стремился яснее указать на революционные подвиги, «вчера совершившиеся». Но и усеченная цензурой, его трактовка «Тайной вечери» должна была напомнить о судьбе участников освободи-

¹ Корректурa «Нашей общественной жизни» с цензурными выпусками хранится ныне в Центральном государственном литературном архиве.

тельного движения и прежде всего — о вожде революционной демократии, томившемся в крепости. Позднее Некрасов в проникновенном стихотворении «Пророк», посвященном Чернышевскому, таким же образом выразил эту мысль:

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Достоевский устами «подпольного» человека резко отвергнул такую интерпретацию «Тайной вечери».

Но не только революционное истолкование картины Ге могло побудить автора «Записок из подполья» выступить против хроникера «Современника», а и связанный с этой трактовкой сатирический выпад.

Не все, кто берется «поучать и вразумлять толпу», писал Щедрин, следуют примеру художника Ге, не затемнившего своего подлинно реалистического замысла «никакими преувеличениями». Чтобы рельефнее оттенить, кому он посылает упрек в «преувеличениях», Щедрин сначала набросал характеристику «одного критика», в котором нетрудно было узнать зачинателя «почвеннического» направления — Аполлона Григорьева, а затем обратился к его виднейшему единомышленнику:

«Знаю я тоже, — продолжал он, — одну птицу, шилохвост называемую, птицу маленькую и худенькую, но одетую такими великолепными перьями, что издали кажется, будто и невеста что плавает на воде. Неопытный охотник видит эту великолепную птицу и с жадностью ее преследует; паф — ан там, кроме перьев, нет ничего! Так эту самую птицу никто и не ест, хотя, быть может, она вкусом никак не хуже любого кулика...»

Как мы раньше отметили, в начале полемики с Достоевским Щедрин приравнял «почвенников» к птицам, «плавающим в затишье». В своем ответе Достоевский конкретизировал это сравнение замечанием, что его оппонент уподобил редакцию «Времени»... уткам. Такую неосторожную догадку использовал здесь сатирик, избрав Достоевского шилохвостом, то есть разновидностью «настоящей утки». Сущность же «преувеличений», свойственных «почвенникам», сатирик определил приведенной выше характеристикой знакомого ему критика,

который «никак по достоинству не оценен потому собственно, что как только начнет о чем-нибудь говорить, так непременно залезает, подобно Хоме Бруту, в бурьян: никто его и не понимает».

Как известно, гоголевский бурсак-философ забрался в высокий бурьян, чтобы незамеченным бежать из хутора, где его заставляли читать молитвы у гроба ведьмы. Две долгие ночи воспитанник духовной семинарии оборонялся благочестивыми заклинаниями от вплотную подступавшего нечистого духа, поседел в неравной борьбе и вразумительного только и мог сказать, что на свете «страхи такие случаются, ну...» Приравнивая «почвеннического» критика к Хоме Бруту, Щедрин имел в виду мистические рассуждения, затемнявшие смысл литературных оценок Аполлона Григорьева (вроде того, например, что «жизнь есть бездна, поглощающая всякий конечный разум...»).

Склонность к «преувеличениям» мистического характера сатирик обнаружил и у Достоевского. Уже в начале полемики с ним он указал на внутреннюю близость таких представлений о человеке и общественных отношениях к «булгаринской традиции». По убеждению Щедрина, Достоевский принял религиозное учение, которое провозглашает страдание человека спасительным началом, обещает людям личное бессмертие в загробной жизни и возлагает на них, как на разумные существа, наделенные свыше свободой воли, всю полноту ответственности за их проступки перед небесными и земными властями. Это направление мысли сатирик усмотрел в превознесении Достоевским смирения и покорности «униженных и оскорбленных», превращавшим гуманистический мотив гоголевской «Шинели» в его прямую противоположность¹. Такое идеалистическое «преувеличение» Щедрин

¹ Причину превращения «гуманического» мотива «Бедных людей» в свою противоположность еще раньше вскрыл Добролюбов в статье «Забитые люди» (1861). По мысли критика, это превращение с необходимостью вытекает из отрицания автором «Униженных и оскорбленных» революционного пути общественного развития. Следствием такого отрицания является проповедь смирения, обращенная к «униженным и оскорбленным», что и приводит к замене одного идеала другим. Гуманное убеждение, что «каждый человек должен быть человеком и относиться к другим как человек к человеку», вытесняется «идеалом золотого века», выводимым из несуществующей мечты навсегда установить общественную иерархию, которая «состоит в том, чтобы всякий был доволен на своем ме-

считал по существу близким к «не чуждому сквернословия поучению о том, что первая и главная обязанность есть исполнение приказаний, а все остальное приложится». Сочувствие к страданиям «униженных и оскорбленных», по убеждению Щедрина, должно претворяться в содействие их сплочению для отпора насилию, а не выражаться в «оскорбительной жалостливости», которая не имеет ничего общего с истинной гуманностью. В эти «горькие минуты в жизни человечества нужно без устали твердить ему о самоотвержении, о великой, очищающей роли самопожертвования...»

Но героизма одиночек, самоотверженно преданных интересам народа, недостаточно для его освобождения от «уз, которыми со всех сторон обставлена жизнь обыкновенная, реальная». Здесь прежде всего надо отдать себе отчет в том, что, как ни невероятно трудно установить связи с массой, другой возможности влиять на нее, подготавливать к прямому «обличению зла» не имеется. Значит, «должно забыть стих: «Умолкни, чернь непросвещенна!», и помнить, что «чернь» эта заслуживает полного нашего внимания и что мы, подступая к ней, должны начать именно с той точки, на которой она стоит», в то же время «всегда чувствуя себя членом иного мира, посланным к большинству не для того, чтобы утонуть в нем, а для того, чтобы привести его к мысли». При общении с массами важно отрешиться от «привычки гениальничать и начинать всякое дело с конца», не видя «ни перед собой, ни за собой ничего, кроме высот надзвездных». Нельзя «смотреть на действительность, как на воск мягкий», нужно видеть в ней то, что

сте, всякий сознавал законность и глубокую справедливость своего положения и с такою же охотою повиновался, с какою другие повелевают...» Этот реакционно-утопический идеал, замечает критик, тесно связан с религиозными представлениями о «царстве небесном», где «много степеней блаженства, но низшие степени будут братски сочувствовать высшим и сами наслаждаться отблеском того высшего блаженства, которого удостоены избранные». Увлечение такими представлениями, выражающими отрицание «гуманического» мотива «Бедных людей», могут привести к признанию высшим видом блаженства то состояние, когда, по «индийскому учению», «человек терял совершенно свою личность, волю, сознание, погружался в лоно Браммы и решительно, без следа, уничтожался в нем». Мы далее увидим, какое особое значение приобретают эти мысли Добролюбова в свете эволюции мировоззрения автора «Униженных и оскорбленных».

она собой представляет,— «продукт живых и сложных сил, над которыми тяготеет целый исторический процесс», заключающий в себе «и историю, и настоящую... обстановку, и, наконец, обязательное предвидение будущего».

Поскольку идеалистические и религиозные учения объявляют истинными и незыблемыми моральные и социальные основы существующего порядка вещей, остается «подвергнуть строгому анализу те понятия, в силу которых мы живем». Этот анализ должен быть основан на самом внимательном изучении реальной действительности, чтобы «объяснить... факт из его собственной сущности, определить характеристические его признаки, место, которое он занимает в кругу других фактов, и те практические выводы относительно целой системы, какими представляется возможным воспользоваться из его свойств...»

Объяснение кабального положения подавляющего большинства человечества «посредством каких-то таинственных целей и неведомых предопределений» столь же беспочвенно, как учения «философов-идеалистов и философов-юристов» об основах эксплуататорского строя жизни. Идеалистические теории вместо объяснения — «мнут факты и выливают их в произвольные формы». Таким образом они создают «целый фантастический мир», отношение к которому «утрачивает характер разумности и окончательно переходит на почву упований» — религиозной веры. Религия и идеалистическая философия служат практике господствующих классов, обосновывая и защищая их право «разделять людей на овец и козлиц», а это разделение «не может самым естественным образом не приобрести того искусственного характера, которого содержание выражается словами: принуждение и несправедливость».

Невежество массы, сковывающее ее активность и тем самым тормозящее прогрессивное развитие жизни, есть результат негодного общественного строя. Охранители этого строя, препятствующие прояснению сознания масс, освобождению их от страха перед «призраками», будь то порождения суеверной фантазии или «призраки, вооруженные с головы до ног», то есть выступающие во всеоружии карательных средств государственного аппарата принуждения, и церковь, внушающая народу религиозные представления «о несовершенстве сего мира и о некото-

рых таинственных наградах и наказаниях», — действуют заодно и ведут страну к катастрофе. Освободиться от этих «призраков», указывал Щедрин, «составляет для общественного организма вопрос жизни или смерти». Эзоповское, подцензурное, определение «призрака» Щедрин распространяет и «на такую форму жизни, которая силится заключить в себе нечто существенное, жизненное, трепещущее, а в действительности заключает лишь пустоту». Но тут же он оговаривается, что такое определение носит теоретический, отвлеченный характер. В действительности же «призрак» не есть «что-то внешнее, не имеющее никаких точек соприкосновения с обладаемым им предметом», а «так глубоко врывается в жизнь, что освобождение от него... не обходится без сильного потрясения».

Эти потрясения, являющиеся органическим выражением исторического процесса, приводят к смене одной общественной формы другой, более высокой, ибо последняя «все-таки приносит за собой большую против прежнего простоту и естественность отношений, а вместе с тем и некоторую частицу свободы». Все известные фазы общественного развития были закономерными для определенных исторических периодов — «всякий призрак есть истина, но истина, ограниченная в пространстве и во времени». По мере же того как исчерпывается содержание данной формы социального устройства, но она продолжает господствовать, охраняемая частью общества, находящейся у власти, этот «призрак, вооруженный и укрепленный», гнетет всех тех, кто начинает сознавать его «безобразным кумиром». В этом фазисе развития общественной формы насильственными мерами сохраняется «связь живущего с отжившим», поддерживается культ «обоготворения мертвечины», и освободиться от «отвратительной барщины» можно, только противопоставив насилию власть имущих сознательную, организованную силу массы. Без сознательности невозможна решимость, без организации сил народа — немыслима победа.

II

Такой взгляд на общественные отношения, лежавший в основе оценки Щедриным современной ему русской действительности, снимал фантастические покровы, на-

брошенные на нее идеалистическими «преувеличениями». Говоря о «худенькой и маленькой» птице, манящей неопытного охотника великолепным опереньем, сатирик в этой образно-иносказательной форме раскрыл характер «преувеличений», которые искажают жизненную правду в произведениях Достоевского. В этом же смысле проповеди покорности и смирения Щедрина противопоставил реалистическую трактовку евангельского сюжета в картине Н. Н. Ге,— трактовку, которая призывала к поведению, достойному свободного человека, а не «твари дрожащей».

В своей резкой оценке истолкования «Тайной вечери», данного хроникером «Современника», автор «Записок из подполья» обошел его критику «преувеличений», затемняющих реалистическое изображение действительности. Косвенный ответ на эту критику мы обнаруживаем, однако, в позднейшей статье Достоевского «По поводу выставки», напечатанной в «Гражданине» в 1873 году под рубрикой «Дневник писателя». Хотя со времени появления отзыва Щедрина о картине Ге прошло целых десять лет, Достоевский, повидимому, не забыл связанного с ней полемического инцидента. Иначе трудно объяснить, почему при обсуждении вопроса о художественном восприятии действительности он нашел нужным касаться «Тайной вечери», которая на обозреваемой им академической выставке *отсутствовала*.

Кроме того, полемическая направленность суждений Достоевского сказывается в самой характеристике творчества Ге. В некоторых произведениях этого художника, утверждал он, замечается «пагубная ошибка», проистекающая из «смещения действительности исторической и текущей». В «Тайной вечере», «наделавшей когда-то столько шуму», такое смещение привело к тому, что у художника «вышла фальшь и предвзятая идея», а «вовсе не реализм». Эту безоговорочно отрицательную оценку Достоевский аргументировал своим взглядом на действительность, субъективистски-произвольным восприятием ее. Причину «пагубной ошибки» Ге и других художников его направления он усмотрел в том, что они пренебрегают «идеальничаньем», ибо «идеального... боятся вроде нечистой силы» и стремятся «изображать действительность как она есть», «тогда как такой действительности совсем нет... потому что сущность вещей человеку

недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства».

Материалистическое воззрение, отвергающее такой взгляд, исходит, указывал Достоевский, из тех кругов, которые повинны и в другой «грубой ошибке». Характеризуя литературно-политическую сущность этого направления, вредно влияющего «на молодых писателей и художников», Достоевский дал понять, что имеет в виду главным образом редакторов «Отечественных записок» — Щедрина и Некрасова, как выразителей традиций «Современника». «Одна из самых грубейших ошибок,— писал он,— состоит в том, что обличение порока... и возбуждение к ненависти и мести считается за единственный и возможный путь к достижению цели!»

В этой связи Достоевский отрицательно отозвался о «Русских женщинах» Некрасова,— он нашел в поэме «мундирный сюжет, мундирность мысли». Конечно, не прославление самоотверженности «декабристок» побудило его так отнестись к ней: ведь он сам незадолго до того с умилением писал о «великих страдальцах», которые «бросили все, знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга...» Достоевского вооружила против поэмы ее идея, которую он перед этим определил как «возбуждение к ненависти и мести». Новое произведение Некрасова, враждебно встреченное реакционной и либеральной критикой, сразу приобрело большую популярность в среде передовой молодежи семидесятых годов. На знаменательный успех «Русских женщин» Достоевский отозвался в статье «По поводу выставки» настойчивым предостережением молодых поэтов от подражания Некрасову, пророча им «литературную чахотку и смерть», если они поддадутся соблазну следовать за ним, а о самом искушении язвительно писал: «Мундир-то ведь так красив, с таким шитьем, блестит...»¹

При этом выпаде автору «Бесов», может быть, вспомнилось великолепное оперенье шилохвоста... Во всяком случае, несомненно то, что его категорическое отрицание реализма в «Тайной вечере», противопоставление материалистическому воззрению идеалистического взгляда на

¹ «Гражданин», № 13 от 26 марта 1873 г. Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, ГИЗ, 1929, стр. 75, 77, 79.

действительность и резкое осуждение — в данной связи — революционного направления литературной деятельности Щедрина и Некрасова существенно дополняют ожесточенную полемику «подпольного» человека с «художником, написавшим картину Ге».

Но «подпольный» человек, как мы помним, так же враждебно отнесся к другому произведению Щедрина — «Как кому угодно», и нам остается теперь выяснить, почему он поставил его в один ряд со статьей «Наша общественная жизнь».

Косвенное указание на то, под каким углом зрения сближал эти произведения Достоевский, содержится в его вышеприведенной рукописной заметке. В самом начале ее, после заглавия «Как кому угодно», мы читаем: «Учитесь, милые дети». Эта фраза имеет непосредственное отношение к одному из разделов статьи «Наша общественная жизнь», озаглавленному: «Правда ли, дети, что вы плохо учитесь?» Здесь хроникер «Современника», саркастически комментируя выпады охранительной печати против студентов, занимающихся не науками, а политической, советовал «детям» прилежно изучать теорию об обществе и государстве, преподаваемую в университетах, для того чтобы с полным знанием дела вскрыть ее внутреннее убожество и крайнюю устарелость.

Теория эта, провозглашающая незыблемыми основами самодержавного строя семейный, гражданский и государственный «союзы», по сути дела, писал Щедрин, есть не что иное, как «идоложертвенный светильник». Его надо погасить для очищения атмосферы, ибо он «точно так же чадит, как и тот, который освещал учение о выходящем из Чермного моря Фараоне» и родственную ему «науку», утверждающую, что «земля на трех рыбах стоит». «Дети» должны с участием отнестись к положению «угасающего профессора прав» и «престарелого станowego пристава», которые заявляют, что они не могут умереть, пока не передадут им «тайны» правовой и административной науки. «О, молодые люди», — взывал сатирик к чувству сострадания «мальчишек», — «хоть бы для того вы учились, чтобы дать сим людям умереть поскорее!»

Связав это место в статье «Наша общественная жизнь» с идеей «Как кому угодно» словами: «Учитесь, милые дети», Достоевский далее пояснил их значение замечанием о «нигилизме г-на Щедрина», то есть об от-

рицании им «священных основ» крепостнически-буржуазного строя. Такое отрицание и на взгляд самого сатирика в большой мере определяло смысл и характер его литературной деятельности. «...Фурье был великий мыслитель, — писал он Е. И. Утину, — а вся прикладная часть его теории оказывается более или менее несостоятельной, и остаются только неумирающие общие положения. Это дало мне повод задаться более скромною миссией, а именно — спасти идеал свободного исследования, как неотъемлемого права всякого человека, и обратиться к тем современным «основам», во имя которых эта свобода исследования попирается. По мере сил моих и в размерах цензурного произвола это и сделано мною в «Благонамер. речах». Я обратился к семье, к собственности, к государству, и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются»¹.

На необходимость «разоблачения краеугольных камней», то есть тех самых «основ», о которых говорится в вышеприведенном письме, Щедрин указал в статье «Наша общественная жизнь» и в связи с оценкой, данной им картине Ге. При этом важно подчеркнуть, что задачу пробуждения в массах критического отношения к действительности он связывал с необходимостью их подготовки для освободительной борьбы против самодержавного режима и пропагандой «общих неумирающих положений» социалистического учения. Людям, «погруженным до темени в свои крошечные, кропотливые интересы», писал Щедрин, нужно повседневно терпеливо разъяснять, что «такие выражения, как «свобода»², «право», «убеждение» и тому подобное», представляются им «не более, как призраком», вследствие «скудости и ограниченности требований». Нет более плодотворной жизненной задачи, чем та, которая заключается в убедительном разъяснении массам, что в своем недоверчивом, недоумевающем отношении к социалистическим «мечтаниям» они выказывают не трезвый взгляд на жизнь, а «проклятый здравый смысл», дающий «разгадку искалеченного существования каплуна». Когда массы осознают, что «явления, издали

¹ Е. И. Утин, Из литературы и жизни, 1896, т. I, стр. 176.

² Слово «свобода» цензор вычеркнул, и его нет в печатном тексте.

кажущиеся... совершенно солидными, носят на себе все признаки колебания и случайности», они приобщатся к «сфере других жизненных вопросов, более обширных и глубоких», и это возбудит в них «ту горячую жажду деятельности», высшим выражением которой в современных условиях является «геройство», представленное в картине Ге «во всей его торжественной поучительности, во всей поразительной красоте».

Вышесказанное уясняет, почему в «Записках из подполья» поставлены рядом и так резко осуждены «Как кому угодно» Щедрина и его статья «Наша общественная жизнь». В незавершенном цикле «Как кому угодно» сатирик с известной нам точки зрения нарисовал картину распада семейных связей. Дальнейшее развитие эта тема «разоблачения краеугольных камней» нашла в рассмотренной статье, и их сближением Достоевский подчеркнул, что отчетливо сознает, насколько внутренне согласованно они выражают авторский замысел.

Более дифференцированная оценка цикла «Как кому угодно» содержится в вышеприведенной рукописной заметке Достоевского. Этот черновой набросок завершается следующим выводом: «Нет, уж пусть г. Щедрин пишет попрежнему повести, не заботясь о нравоучениях к ним. *Нравоучение ему всегда подкажут*». К «повестям» Достоевский относит здесь рассказ «Семейное счастье» — центральное звено цикла «Как кому угодно», а к «нравоучениям» — предшествующее этому рассказу «Слово к читателю» и финальную статью «Размышления». Таким образом, Достоевский рассекает единое целое, заключенное в цикле, отбрасывая авторское разъяснение идеи рассказа «Семейное счастье», как революционную тенденцию, «подсказанную» со стороны.

Подобную критическую операцию над этим циклом раньше Достоевского произвел его единомышленник Страхов. Вскоре после опубликования «Как кому угодно»¹ он сообщил Достоевскому, что пишет статью «о новом рассказе Щедрина»². В этой статье³ Страхов навязал сати-

¹ «Современник», 1863, август.

² Письмо от 14 сентября 1863 г.; адресовано Достоевскому за границу (Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, 11 $\frac{1}{19}$).

³ «Новый сборник нравственности», «Библиотека для чтения», 1863, сентябрь; подпись — Н. Нелишко.

рику намерение «осмеять... неправильный взгляд на долг и обязанности», разделяемый теми, кто считает свободное и всестороннее удовлетворение потребностей людей необходимым условием человеческого счастья. Щедрин-художник, утверждал Страхов, отверг «рецепт для всеобщего счастья», заключающийся в теории Фурье о гармоническом развитии страстей, показав в своем рассказе, что применительно к людям, которых «мучает *раздвоение* между потребностями и обязанностями... нелепостью и гадостью является эта теория»¹. Многие ошибочно полагают, писал далее Страхов, намекая на приверженцев системы Фурье, что «как ни дурны и зловредны действия людей, они слагаются из элементов, будто бы годных на хорошее и способных произвести это хорошее, если их употребить как следует». Однако Щедрин опровергает и это заблуждение, убедительно показывая в «Семейном счастье», что «корень зла заключается в сквернейших потребностях... и в полнейшем отсутствии всяких потребностей, сколько-нибудь чистых и человеческих», а вовсе не в том, что люди «дурно стасованы»². Отсюда следует, что никакие изменения общественных условий не могут улучшить жизнь людей, пока в них «потребности борются с обязанностями», то есть пока они сами по себе плохи.

Выведа такое заключение из рассказа «Семейное счастье», Страхов приписал сатирику свою мысль о необходимости личного самосовершенствования на религиозной основе, как панацею против всех зол. Но после того как «почвеннический» критик сделал «весьма важные... выводы из повести», он заметил, что с ними решительно расходятся «какие-то вступления и заключения», предвещающие и завершающие «Семейное счастье». Выхолостив революционное содержание из щедринского изображения разлагающейся семьи как прогнившей «основы» крепостнически-буржуазного общества, Страхов не преминул прозрачно намекнуть, что он понимает, куда сатирик в действительности метил. «Что до меня, — писал Страхов, — то я от всей души радуюсь появлению этого рассказа. Но (всегда является это проклятое *но!*), но нельзя, скажу прямо, не пожелать г. Щедрину побольше осторожности и самой строгой осмотрительности. Пусть,

¹ Н. Страхов, Из истории литературного нигилизма, СПб. 1890, стр. 264.

² Там же, стр. 266.

на который он вступает, весьма опасен... Положим, проповедывать нравственность похвально... Но нельзя не бояться, что такие попытки не всегда сойдут ему с рук удачно»¹. Поэтому, заключил Страхов, «объяснения и рассуждения» сатирика, которые внушают читателям мысль, что семейные устои, на словах превозносимые охранителями, в действительности разрушаются ими же, а не сторонниками освободительной, гуманной теории Фурье, «следовало бы вовсе вычеркнуть», ибо «всякое писание на заданные темы дурно и вредно»².

Мы остановились на суждениях «почвеннического» философа и критика о щедринском цикле, поскольку они помогают проследить ход мысли Достоевского, неполно отразившийся в его вышеприведенной отрывочной записи. Более отчетливо он выразил эту мысль в другой заметке, набросанной тогда же, в 1864 году, когда им создавались «Записки из подполья». Там мы читаем:

«Социалисты хотят переродить человека, *освободить* его, представить [?] его без бога и без семейства. Они заключают, что, изменив насильно экономический быт его, цели достигнут. Но человек изменится не от *внешних* причин, а не иначе как от перемены *нравственной*... Можно ли достигнуть этого оружием. И как сметь сказать заранее, прежде опыта, что в этом спасение! И это рискуя всем человечеством! Западная дребедень!»³

В соответствии с этими положениями, Достоевский записывает под рубрикой «Отрывки, планы и намеки»:

«Дешевый гуманизм г. Щедрина»⁴.

Так резюмирует автор «Записок из подполья» свое отношение к идее «разоблачения краеугольных камней», имевшего целью выяснить, «что такое долг? что такое честь? что такое преступление? что семья? что собственность? что гражданский союз? что государство?», и к тесно связанному с этим разоблачением подгнивших «устоев» крепостнически-буржуазного строя жизни — революционному выводу о необходимости готовить массы

¹ Н. Страхов, Из истории литературного нигилизма, СПб. 1890, стр. 269.

² Там же, стр. 270.

³ Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, I т., стр. 23.

⁴ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 4, стр. 136. Тут же и другая запись: «Некрасова продернуть».

для сознательной, самоотверженной, освободительной борьбы.

В противоположность Достоевскому Шедрин считал, что «риск всем человечеством» велик при отсутствии революционной борьбы, при таких общественных условиях, когда забитые массы не в состоянии различить, кто их друзья и кто — враги, когда сознание их беспрестанно затемняется увещеваниями приверженцев эксплуататорского строя — «погодить», потерпеть. Поэтому он придавал огромное значение революционной пропагандистской деятельности. «Говорят, — писал Шедрин в «Господах ташкентцах», — что излишние вопросы прибавляют излишнюю горечь в жизни, что отсутствие вопросов предохраняет от состояния бессменного страха, в котором очутился бы человек, если б он всегда видел вещи в их действительном, беспокровном виде. Это правда; но правда и то, что ведь вслед за страхом сама собою приходит и охота освободиться от него, а это уже выигрыш несомненный»¹. Сознательное желание освободиться от «призраков», подавляющих естественные человеческие стремления, имеет особенное значение, поскольку оно побуждает к участию в беззаветной борьбе с «ташкентцами», — борьбе, которая является неременным условием развития жизни, общественного прогресса. Вот почему «не примерами вроде синицы, собирающейся зажечь море, следует встречать политическую и общественную самоотверженность, а сознанием, что без этой самоотверженности история, быть может, остановила бы свое движение»². Вот почему «признать законность самоотвержения как фактора человеческой жизнедеятельности — это уже значит внести в жизнь элемент правды и человечности». Ибо тот, кто самоотверженно борется за освобождение эксплуатируемых масс, служит высшему идеалу — «идее общего блага», которая неотделима от «идеи о человечестве и ожидающих его перспективах»³.

Освободительное движение обращено к грядущему, является его предвестником. И хотя для достижения

¹ Н. Шедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., ГИХЛ, 1936, т. X, стр. 48. В дальнейшем ссылки на произведения Шедрина делаются по этому изданию с указанием автора, тома, страницы.

² Н. Шедрин (М. Е. Салтыков), т. VII, стр. 178.

³ Там же, т. XVI, стр. 343.

общественного идеала «надо переплыть через много морей, пройти через много гор», тем не менее «светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего», не изолированы от действительности. Они «представляют собой не отрицание прошлого и настоящего, а результат всего лучшего и человеческого, завещанного первым и вырабатывающегося в последнем». Тут есть только одно отличие: «создавая идеалы будущего, просветленная мысль отсекает все злые и темные стороны, под игом которых изнывало и изнывает человечество»¹.

Такое представление о человечности и человечестве озаряет творчество Щедрина внутренним светом непоколебимой веры в конечное торжество социалистического идеала. Эта проникновенная идейность и широта кругозора, обостряя художественную зоркость сатирика, выводили его на простор образного обобщения жизненных явлений, поражающего органическим сочетанием философской мысли с творческим прозрением в обыденных, примелькавшихся ситуациях того «положения минуты», в котором воплощалось самое основное, типичное, необходимое в ходе исторического процесса. Из этого же источника проистекал и могучий лиризм Щедрина, проникнутый непримиримой ненавистью ко всем формам эксплуатации человека человеком, глубокой, не остывающей, хотя и не безотчетной, любовью к народным массам, горьким чувством вины за свое бессилие изменить жестокую и постыдную действительность и страстным стремлением живым, выстрадавшим словом тронуть сердца, разбудить сознание угнетенных, униженных людей и вдохнуть в них волю к борьбе и победе над социальным злом.

III

Поглумившись над «высоким и прекрасным», «подпольный» человек, не называя объекта нападения, обрушился на роман Чернышевского «Что делать?». Свою полемическую аргументацию он обратил против основных положений, последовательно проведенных в этом романе, — против теории «разумного эгоизма», обусловлен-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XVII, стр. 99.

ности поведения человека данным общественным устройством и утверждения, что социалистический строй — «хрустальный дворец» — может быть установлен только на основах разума.

Эти положения, материалистически объяснявшие человеческую природу и поведение людей, заключали в себе революционное ядро.

Тот взгляд, что все поступки человека обуславливаются его стремлением к выгоде, различно понимаемой в зависимости от степени умственного развития и окружающих общественных условий, побуждал признать совершенным лишь такое социальное устройство, при котором эгоистические побуждения людей находили бы исход в удовлетворении потребностей коллектива — в их личных разумных интересах. Иначе говоря, здесь шла речь о гармоническом сочетании личного и общественного начала. Это признание ставило на очередь вопрос о свержении социального строя, основанного на эксплуатации человека человеком. Отрицание того, что причины зла коренятся в природе человека, приводило к отрицанию законности насилия, которое применялось господствовавшим классом помещиков при посредстве государственных карательных органов. Наконец, то положение, что социалистическое общество будет организовано на научных основаниях, утверждало могущество человеческого разума и тем самым безоговорочно отвергало мистические представления религиозного характера и метафизические концепции идеалистической философии.

Ни одного из этих положений человек из подполья не опровергнул, но зато он сознательно извратил их смысл. В его истолковании «разумный эгоизм» обратился в шкурную выгоду («одна капелька твоего собственного жира должна тебе быть дороже ста тысяч тебе подобных»), обусловленность человеческих поступков подменялась слепым, безвольным подчинением неизменным законам природы, обозначенным в смехотворно-фантастической «табличке», «хрустальный дворец» стал муравейником.

Совершив эти подмены, герой «Записок из подполья» торжествующе провозгласил, что «статистики, мудрецы и любители рода человеческого» в своих планах гармонического общественного устройства пропустили «самую выгодную выгоду». Этот пропуск объясняется тем, что они

оказались в плену у «логистики», согласно которой «только одно благоденствие человеку выгодно»; на самом деле человек «ровно настолько же любит страдание», а «иногда ужасно любит страдание, до страсти», и поэтому «от разрушения и хаоса никогда не откажется».

Что касается его, «подпольного» человека, то он «собственно не за страдание стоит и не за благоденствие», а за «свой каприз». Он требует гарантии принадлежащего ему права выбора между страданием и благоденствием, ибо его выгода, не предусмотренная табличкой, заключается в том, чтобы иметь «свое собственное, вольное и свободное хотенье... свою фантазию, раздраженную иногда хотя бы до сумасшествия». Вот эту свободу воли, равнозначную своеволию, стремятся отнять у него рационализаторы жизни (они же и строители «хрустального дворца»), логически «расчленив», разанатомировав хотенье по «законам природы и арифметики». Против такой угрозы яростно ополчается «подпольный» человек, заранее отказываясь «поступать так, как разум и науки указывают».

Разуму, рассудку герой Достоевского противопоставляет сознание, как иррациональное начало. В отличие от разума, утверждает он, «всякое сознание болезнь», которая тем именно и дорога личности, что не дает ей успокоиться в убеждении, что она «непреложное основание своему делу нашла». Рядовые, ограниченные люди способны к созиданию в силу такого убеждения, являющегося следствием того, что они «ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают». Но сознание и их побуждает «инстинктивно бояться достигнуть цели и довершать создаваемое здание», и этим объясняется, почему они так страстно разрушают то, что сами же построили. В таком ходе исторического процесса герой Достоевского усматривает проявление свободы воли человека, природой «присужденного стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и непрерывно дорогу себе прокладывать, хотя куда бы то ни было». Герой «Записок из подполья» принимает результаты творческого труда людей лишь как материал, который подвергается ими разрушению, и именно в этом разрушении он видит доказательство наличия в человеке сознания, неотделимого от страдания, ибо последнее является «единственной причиной» первого.

Но сам «подпольный» человек наделен таким усилен-

ным сознанием, что он ничего не в состоянии делать, кроме «упражнения в мышлении», которое сводится к выведению из «первоначальной причины... другой еще первоначальнее и так далее в бесконечность». Непрекращающиеся сомнение и отрицание, рефлексия и скепсис в сочетании с гаерством и юродством делают героя Достоевского неспособным к действию, к искренности в отношениях с людьми, естественности в поведении. Человек из подполья раздвоен, скрытен, до болезненности эгоцентричен, по-хамелеонски противоречив. Одна лишь черта выдается в нем очень резко: это — добровольный раб, бунтующий против свободы, которая отождествляется им с исчезновением страдания, вследствие устранения всех жизненных тревог и сомнений. Но, отвергая «хрустальный дворец» как конечный этап развития человеческой личности, протестуя против мнимой ликвидации жизненного процесса, сам герой Достоевского находит высшее наслаждение в том, чтобы «сладоострастно заметить в инерции».

Из этого основного противоречия проистекает ряд других.

Герой Достоевского ратует за сохранение индивидуальности, восстает против измышленных им покушений «любителей рода человеческого» обратить живую личность в автомат — «органный штифтик», лишенный своеговольного хотенья, которое порождается сознанием, и тут же вызывающе, с горделивой ужимкой заявляет, что «прямой, законный, непосредственный плод сознания — это... сознательное сложа-руки-сиденье», то есть опять-таки инерция.

Он отстаивает беспредельное развитие жизни и в то же время считает, что личное достоинство человека обусловлено его нежеланием «хлопотать о прекращении всемирной истории».

Апологет страдания, «подпольный» человек злобно отвергает страдания, связанные с борьбой за избавление закабаленного человечества от мук, которые порождаются социальным неравенством людей. В этом смысле он глумится над «разоблачением краеугольных камней» эксплуататорского строя жизни и революционным призывом к самопожертвованию для свержения господства кучки насильников.

Превыше всего «подпольный» человек ценит свободу

выбора между страданием и благоденствием, что не мешает ему проклинать благоденствие и издеваться над теми, кто избирает его как свой идеал.

Герой Достоевского неспособен к обдуманному, целеустремленному действию, а может выражать обуревающий его протест только невзначай, и притом так, что противник, «пожалуй, и не почешется». Сообразно с этим избираются им объекты возмущения — законы природы, которые «более всего всю жизнь его обижали», и несуществующие «новые экономические отношения, совсем уже готовые, вычисленные с математической точностью».

Человек из подполья фрондирует собственно против будущего, а в настоящем отвергает лишь то, в чем ревнивым глазом примечает ростки будущего, несущего отрицание страдания, как проявления рабской покорности или бунта на коленях. Говоря другими словами, его протест по сути дела направлен лишь против того, что заключает в себе угрозу существующему порядку вещей. Именно потому ему ненавистен «хрустальный дворец», именно эта угроза вызывает в нем, по горьковскому определению, «дикий взрыв визгливой и бессильной злобы», но такого признания он ни за что не сделает.

Создав в своем воображении призрак угасания жизни в форме окончательного решения всех вопросов, волнующих человечество и подвигающих его вперед, герой Достоевского противопоставляет «хрустальному дворцу» сознание, которое «бесконечно выше, чем дважды два». Однако при дальнейшем сравнении разницы между состоянием «подпольного» человека, одаренного усиленным сознанием, и тем положением, которое он предрекает обитателям «хрустального дворца», оказывается микроскопической. «После дважды двух, — пишет «подпольный» человек, — уж, разумеется, ничего не останется, не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это — заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну, а при сознании, хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но, по крайней мере, самого себя иногда можно посечь, а это все-таки подживляет».

Таким образом, умиранию «подпольный» человек противопоставляет не жизнь, не творческое начало, побеждающее смерть, а «подживание», которое доставляет ему лично «наслаждение от слишком яркого сознания своего

унижения». Это наслаждение, говорит он, становится жгучим, когда «уже очень сильно сознаешь безвыходность своего положения». Но и такое острое сознание половинчато в нем, и по-настоящему он страдает от «холодного, омерзительного полуотчаяния, полуверы» — душевного состояния, которое полностью выражает его постоянные колебания между отрицанием и приятием жизни. Не имея силы свести счеты со своим существованием, «подпольный» человек ищет успокоения в религии.

Неясный намек на такое разрешение бунта «подпольного» человека содержится в предпоследней, десятой, главе первой части его «Записок». Здесь он заявляет, что боится «хрустального дворца» единственно потому, что ему «нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать», но вслед за тем неожиданно добавляет, что, «может быть, на то и сердился, что такого здания, которому можно было бы и не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор не находится». Оказывается, «подпольный» человек мечтает жить не в подполье, а в хоромах. «Это мое хотение, это желание мое, — с горячностью заверяет он своих воображаемых противников. — Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желания мои. Ну, перемените, прельстите меня другим, дайте мне другой идеал. А покамест я уж не приму курятника за дворец. Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается, и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных, нерациональных привычек нашего поколения. Но какое мне дело, что его не полагается... Я не успокоюсь на компромиссе, на непрерывном периодическом нуле, потому только, что он существует по законам природы и существует *действительно*».

Как видим, в этом своем последнем слове «подпольный» человек остался на старых позициях непризнания законов природы, причем и под конец он загадочно умолчал, чем именно они его «обидели». «Подпольный» человек ничего не сказал и о том, что мысленно противопоставил он «хрустальному дворцу» в образе «хрустального здания».

Это выявил Щедрин в «драматической были» «Стрижи», полемически направленной против «Записок из подполья».

«Стрижи» вошли в состав публицистической статьи «Литературные мелочи», напечатанной в майской книге «Современника» за 1864 год. Спор с Достоевским и «Эпохой» Щедрин ведет здесь двояким образом: в «Литературных мелочах» он выступает от своего имени, а в «Стрижах» придает полемике форму драматизированного диалога. Действующими лицами «драматической были» являются члены редакции и ближайшие сотрудники «Эпохи», собравшиеся на совещание для обсуждения январско-февральского номера журнала, где должны появиться и «Записки из подполья».

В «Литературных мелочах» Щедрин прежде всего отвечает на глумливые выпады Достоевского против «высокого и прекрасного», как «гадчайшей, бесспорной дряни». Сатирик начинает статью с указания на то, что слово «дрянь» по недоразумению часто прилагается к людям злым и глупым, между тем как «имеется в природе еще особый вид «нехороших людей», которым оно должно быть совершенно к лицу». В разъяснение своего взгляда Щедрин набрасывает характеристику «подпольного» человека.

«Есть люди, — пишет он, — совершенно подобные тому козлу, о котором сложилась древняя русская поговорка: ни шерсти, ни молока. Это какие-то унылые недоноски, одинаково неспособные ни на добро, ни на зло, постоянно колеблющиеся между «да» и «нет», постоянно стремящиеся нечто выразить и никогда ничего не выражающие. Нет в них ничего яркого, выдающегося, ничего такого, за что можно было бы ухватиться и сказать: ну вот, наконец-то я тебя поймал!.. Вы можете целую жизнь прожить бок о бок с таким человеком и быть уверенным, что ни одна минута не выдаст вам секрета его мысли, его желаний и ожиданий. Его нельзя употребить ни на какое дело, не потому, что он его искоренит, а потому, что он ничего не сделает. Если такие люди соберутся и начнут по душе толковать, то разговор их может довести до мысли о самоубийстве, но если они (чего боже сохрани!) к тому же пожелают еще иметь свой литературный орган и начнут посредством его производить над публикой опыты фильтрации чепухи, то такое действие может угрожать даже государственной безопасности. Го-

сударство начнет зевать, постепенно прекратит всякую производительность и предастся размышлениям о суете и бренности сего мира. Таких людей невозможно назвать злыми, потому что в действиях их ничего положительно злого не усматривается; их нельзя назвать глупцами, потому что в действиях и речах их примечается только бесцветность, безвкусица и белиберда, а не глупость. Подобно дрянным ублюдкам, на первый взгляд обманывающим неопытного ценителя то красотой хвоста, то породистостью ушей, эти люди тоже обманывают его то взятою на прокат и на веру мыслью, то заимствованным выраженьем; но, само собою разумеется, как только этот человек повернется к вам всею своею физиономией (а это он сделает по необходимости в самом непродолжительном времени), то обаяние хвоста исчезнет немедленно, и слово «дрянь» само собою слетит с языка. Да, это «дрянь», это та действительная, настоящая «дрянь», которую просторечие так часто и так неосновательно смешивает с понятиями хотя и родственными, но, во всяком случае, существенно от нее отличающимися»¹.

Дав такой недвусмысленный отпор замаскированным враждебным выпадам в «Записках из подполья» против идеологии революционной демократии, Щедрин не менее резко и саркастически охарактеризовал далее направление нового «почвеннического» органа.

«Передо мной, — писал он, — две книги «Эпохи», и хотя я один в комнате, но очень явственно слышу, что вокруг меня раздаются какие-то рыдания... Рыдает Косица, рыдает Аполлон Григорьев, рыдает Федор Достоевский, рыдает Горский, рыдает Страхов... «Не роди ты меня, мать-сыра земля», — умиленно-унылыми голосами вопиют все эти бескорыстные труженики и в то же время присматривают, как бы им так приноровиться, чтоб всех прельстить смирением да «тихим, кротким поведением». Вижу, что они изо всех сил друг друга поощряют, чувствую целый ряд усилий и потуг, слышу хор голосов, вопиющих: «бодрей! смелей!», и все-таки остаюсь в совершенном недоумении. Что хотят совершить эти ужасные люди? намереваются ли они превзойти «Русский вестник», или же... замышляют только «удивить мир коварством»?»²

¹ «Современник», 1864, май, «Современное обозрение», стр. 4.

² Там же, стр. 17.

Почему так смущены и растеряны члены редакции и главные сотрудники «Эпохи», выясняется в «Стрижах»: их гнетет свежее воспоминание о незаслуженной каре — закрытии журнала «Время» по ложному доносу в катковской газете. «Стрижи» робко протестуют против несправедливой цензурной репрессии и страшатся новых неожиданностей. Жалобно-фрондирующее вопрошение: «За что они нас обидели?» — проходит лейтмотивом через всю сцену, завершаясь в финале — при внезапном появлении Каткова в подполье, где происходит редакционное совещание, — испуганным криком «стрижей»: «Виноваты!» В действительности же они вины за собой не чувствуют.

«...Что, в сущности, хотим мы сказать, спрашиваю я вас?» — недоуменно обращается председатель собрания «Стриж первый» (официальный редактор — М. Достоевский) к его участникам после обсуждения программы «Эпохи». Рассмотрение материала, предназначенного для первых двух книг журнала, не помогает выяснению этого вопроса. Никто, однако, не сомневается, что «Эпоху» выручит «Стриж четвертый, беллетрист унылый» (Ф. Достоевский), произведения которого, по свидетельству «Стрижа третьего, эстетика» (Аполлон Григорьев), «читаются с жадностью не только стрижами, но и всем вообще пернатым миром». «Стриж четвертый» берет слово и делает следующее сообщение:

«Новое произведение, которое я написал, носит название «Записки о бессмертии души». Для стрижей это вопрос первой важности, а так как нам надобно прежде всего показать, что журнал наш есть орган стрижей, что он издается стрижами и для стрижей, то весьма естественно, что я сообразовался с этим и при выборе сюжета. Записки ведутся от имени больного и злого стрижа. Сначала он говорит о разных пустяках: о том, что он больной и злой, о том, что все на свете коловратно, что у него поясницу ломит, что никто не может определить, будет ли настоящее лето изобильно грибами, о том, наконец, что всякий человек дрянь и до тех пор не делается хорошим человеком, пока не убедится, что он дрянь, и в заключение, разумеется, переходит к настоящему предмету своих размышлений. Свои доказательства он почерпает преимущественно из Фомы Аквинского, но так как об этом умалчивает, то читателю кажется, что эти мысли принадлежат собственно рассказчику. Затем

следует обстановка рассказа. На сцене ни темно, ни светло, а какой-то серенький колорит, живых голосов не слышно, а слышно сипение, живых образов не видно, а кажется, как будто в сумраке рассекают воздух летучие мыши. Это мир не фантастический, но и не живой, а как будто кисельный. Все плачут, и не об чем-нибудь, а просто потому, что у всех очень уж поясницу ломит...»¹

Сопоставляя со «Срижами» полемический ответ Достоевского под названием «Господин Щедрин, или раскол в нигилистах», Страхов писал: «Статья эта, подобно «Стрижам», представляет фантазию из литературного мира... Подобно «Стрижам», статья была карикатурой»². Такая характеристика «Стрижей» как будто не лишена известного основания. В самом деле, разве не фантастично заявление сатирика, что в «Записках из подполья» речь идет о бессмертии души? Ведь в исповеди «подпольного» человека не затрагиваются проблемы религиозного характера и ни разу не упоминается даже самое слово «душа». Затем, разве не грешит карикатурным преувеличением вопрос, внушенный сатириком «Стрижу первому» (официальному редактору «Эпохи») относительно направления журнала? Между тем сам автор, повидимому, не замечал в «Стрижах» такого рода преувеличения. Напротив, судя по сохранившемуся отрывку из его полемической статьи против Достоевского, можно заключить, что он был совершенно убежден в жизненном правдоподобии своего художественного вымысла. «Я... в особую себе заслугу вменяю это писание, — заявил он, — ибо в сем маленьком произведении искусным образом заключено все ваше мирозерцание... Отныне вам нельзя в зеркало посмотреться, чтобы не сказать: «в этом зеркале я вижу стрижа...»

Рассматриваемые полемические эпизоды замечательны тем, что в данном случае сатирический вымысел оказывается не только правдоподобным, но полностью соответствующим действительности.

Это мы устанавливаем прежде всего в отношении оценки направления «Эпохи», столь карикатурно, на первый взгляд, охарактеризованного Щедриным в форме недоумевающе-вопросительного обращения «Стрижа пер-

¹ «Современник», 1864, май, «Современное обозрение», стр. 24.

² «Заметки летописца», «Эпоха», 1864, октябрь.

вого» (М. Достоевский) к участникам редакционного совещания («Что, в сущности, хотим мы сказать?»). Этот полемический выпад в «Стрижах» перестает быть преувеличением после сопоставления с одним местом в письме Ф. Достоевского к брату. Вот что он писал М. Достоевскому по ознакомлении с январско-февральским номером «Эпохи»: «Если не эффект, то любопытство номер произведет наверно... Одно жаль, что никак не разберешь, какого мы направления и что именно мы хотим говорить»...¹

В этом же письме мы находим указание на то, что и щедринское истолкование идеи «Записок из подполья» не может быть отнесено к области фантастики или принято за карикатурное преувеличение. Сделав ряд критических замечаний относительно содержания и внешности «Эпохи», Достоевский писал брату о своей повести: «Пожалуюсь и за мою статью; опечатки ужасные, и уж лучше было совсем не печатать предпоследней главы (самой главной, где самая-то мысль и высказывается), чем печатать так, как оно есть, то есть с надерганными фразами и противоречия самой себе. Но что ж делать! Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал *для виду* — то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа — то запрещено. Да что они, цензора-то, в заговоре против правительства, что ли?»²

Достоевский говорит здесь о той главе «Записок из подполья», в которой «хрустальному дворцу» противопоставлено в качестве положительного идеала таинственное «хрустальное здание». Его разъяснение свидетельствует, что этот идеал представлялся ему в религиозно-мистическом плане. Именно такое направление мысли обнаружил Щедрин в «Записках из подполья». И обнаружил, как мы теперь знаем, не случайно: еще в 1863 году он предсказал Достоевскому, что им овладеет идея о бессмертии души. Вышеприведенное указание Достоевского помогает определить, где именно в «Записках из подполья» Щедрин нашел подтверждение своего прогноза. Такое заключение сатирик мог вывести из слов «подпольного» человека, что тот не успокоится «на непрерывном

¹ Ф. М. Достоевский, Письма, ГИЗ, 1928, т. I, стр. 353.

² Там же, Письмо от 26 марта 1864 г.

периодическом нуле, потому только, что он существует по законам природы...» Из этого «нуля», отождествленного с понятием смерти, сатирик мог вывести и ее антитезу — бессмертие души, как идею нового произведения Достоевского. Правильность такого истолкования данного места в «Записках из подполья» подтверждается позднейшей статьей Достоевского «Приговор», опубликованной в «Дневнике писателя». «...Я не могу быть счастливым, — читаем мы там в письме самоубийцы, — ...ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество — обратится в ничто, в прежний хаос... Я... не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля... по каким-то там всеильным, вечным и мертвым законам природы...»¹

В другой статье («Голословные утверждения»), написанной в развитие «Приговора», Достоевский заявляет, что «основная и самая высшая идея человеческого бытия — необходимость и неизбежность убеждения в бессмертии души человеческой» и что «любовь к человечеству — даже совсем немыслима, непонятна и *совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой*»². Касаясь далее того же вопроса в статье под названием «Кое-что о молодежи», Достоевский высказывает «таинственное убеждение», что «молодежь-то наша и страдает и тоскует у нас от отсутствия высших целей жизни», которых она не находит потому, что «в семьях наших о высших целях жизни почти и не упоминается, а об идее о бессмертии не только уж вовсе не думают, но даже слишком нередко относятся к ней сатирически...»³ Такое отношение к этой идее в завуалированной форме инкриминируется Щедрина, что видно из следующих за приведенной фразой слов: «Да семейства у нас вовсе нет», — заметил мне недавно, возражая мне, один из наших талантливейших писателей»⁴. В записной книжке Достоевского этот намек выражен яснее: «У нас нет семьи», — вспомнились мне слова одного из наших талантливейших сатириков, сказавшего мне это»⁵. Но именно

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 426.

² Там же, стр. 485 и 488. (Курсив Достоевского.)

³ Там же, стр. 490.

⁴ Там же.

⁵ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 16, стр. 170.

потому, продолжает Достоевский в «Дневнике писателя», что, вследствие «индифферентизма к высшим целям жизни, конечно, может быть, уже и расшаталась наша семья в известных слоях нации... юное поколение обречено само отыскивать себе идеалы и высший смысл жизни». Эти поиски остаются, однако, безрезультатными. «Наша молодежь так поставлена, что решительно нигде не находит никаких указаний на высший смысл жизни. От наших умных людей... она может заимствовать в наше время, повторяю это, скорее лишь взгляд сатирический». Такое руководство молодежью со стороны «высших критиков земли русской» приводит, на взгляд Достоевского, к пагубным последствиям. В виде примера он выставляет «молодежь шестого декабря на Казанской площади», то есть участников известной революционной демонстрации, состоявшейся 6 декабря 1876 года в центре Петербурга. Обзывая демонстрантов, со слов Каткова, «настеганным стадом», Достоевский указывает, что они выступили против правительства по мотивам «чего-то высшего и прекрасного... какого-то удивительного самопожертвования для величайших целей», а на деле получилась «дурь, злостная и безнравственная», потому что молодежь руководилась внушенным ей «уродливым идеалом»¹.

В этих рассуждениях Достоевского мы обнаруживаем публицистический комментарий к глумлению «подпольного» человека над «высоким и прекрасным». Как и в «Записках из подполья», Достоевский выступает здесь против «разоблачения краеугольных камней» (в передаче отзыва Щедрина относительно разрушения семьи и в словах о «высших критиках земли русской») и против революционного призыва к самоотверженной борьбе с самодержавием, который прозвучал у «художника, написавшего картину Ге». Кроме того, Достоевский намекает тут и на саркастическое отношение Щедрина к «высшему смыслу жизни», интерпретированному как идея о бессмертии души. Именно в этом плане он выставляет «голословное утверждение»: любовь к человечеству невозможна без веры в личное бессмертие людей, или, говоря другими словами: гуманизм отождествляется с религиозно-мистическим воззрением.

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 490 и 491.

Таким образом, вышеприведенные высказывания Достоевского в «Дневнике писателя» не оставляют сомнений в том, что прогноз Щедрина, сделанный еще в 1863 году, целиком оправдался. Но остается выяснить, прав ли был сатирик, когда он устанавливал, что идея о бессмертии души легла в основу «Записок из подполья».

Неопубликованная заметка, набросанная Достоевским во время работы над «Записками из подполья», окончательно подтверждает этот вывод Щедрина. Вместе с тем заметка эта дает понятие и о том, как представлял себе Достоевский таинственное «хрустальное здание», которое «подпольный» человек противопоставил «хрустальному дворцу».

Как мы знаем, свое отрицание «хрустального дворца» герой Достоевского обосновал путем подстановки на место понятия о беспредельности развития жизни — другого, противоположного ему, понятия. То обстоятельство, что он, «выставляя язык» «хрустальному дворцу», ратовал за бесконечное развитие и одновременно глумился над «хлопотами о прекращении всемирной истории», намекало на какую-то невысказанную мысль. В рассматриваемой обширной заметке Достоевского эта мысль выражена с достаточной полнотой.

По представлению автора «Записок из подполья», история человечества должна завершиться в тот момент, когда оно достигнет поставленной ему свыше цели. Цель же та, «чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего *я*, — это как бы уничтожить это *я*, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно... Таким образом закон *я* сливается с законом гуманизма, и в слитии оба, и *я* и *все* (повидимому, две крайние противоположности), взаимно уничтоженные друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо». По выполнении этой задачи человечеству «не надо будет развиваться, т. е. достигать, бороться, прозревать при всех падениях своих идеал и вечно стремиться к нему, стало быть не надо будет жить».

Придя к заключению о необходимости гибели человечества, Достоевский тут же пытается «спасти» людей от

этой трагической развязки их земного существования. Он пишет:

«Но достигать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении цели все угаснет и исчезнет, т. е. если не будет жизни у человека и по достижении цели.

Следственно есть будущая, райская жизнь».

Достоевскому кажется, что вышеприведенным рассуждением он доказал реальность бессмертия души. Между тем в действительности он лишь опроверг, как несостоятельное, свое исходное положение, гласившее, что по достижении полного единения, согласия между людьми человечество должно погибнуть. Но, поскольку Достоевский считал его истинным, он в дальнейшем должен был свести «райскую жизнь» к... небытию. Об этой жизни он писал:

«Какая она, где она, на какой планете, в каком центре, в окончательном ли центре, т. е. в лоне всеобщего синтеза, т. е. бога? — мы не знаем. Мы знаем только одну черту будущей природы будущего существа, которое вряд ли будет и называться человеком (след. и понятия мы не имеем, какими будем мы существами).

...Эта черта:

«Не женятся и не посягают, а живут, как ангелы божии».

Черта глубоко-знаменательная.

1) Не *женятся* и не *посягают*, — ибо не для чего; развиваться, достигать цели посредством смены поколений уже не надо...»¹.

Таков идеал бессмертия, который Достоевский противопоставлял в «Записках из подполья» устройству жизни человечества на основах разума, таков тот идеал, который он провозглашал в «Дневнике писателя» «высшей идеей человеческого существования», а веру в него — «источником живой жизни на земле, — жизни, здоровья, здоровых идей и здоровых выводов и заключений...» Мы видим, что эта «высшая идея человеческого существования» представлялась Достоевскому как конечное прекращение развития, человеческого рода и исчезновение сознания, а следовательно, человеческой личности.

¹ Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, I ²; стр. 41—46.

Щедрин чутко уловил это умонастроение Достоевского и гневно-саркастически отозвался на него в «Литературных мелочах» и «Стрижах» по поводу «Записок из подполья». Выступление сатирика чрезвычайно сильно задело Достоевского, что он засвидетельствовал своим ответом, сенсационно озаглавленным: «Господин Щедрин, или раскол в нигилистах».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Характер разногласий Щедрина с редакцией радикального журнала «Русское слово» свидетельствует о том, что определение «раскол в нигилистах», данное Достоевским знаменательной полемике, не вскрыло ее идейного содержания¹.

Но, судя по всему, Достоевский и не намеревался дать принципиальную оценку конфликта внутри демократического лагеря.

Своим вмешательством в спор Щедрина с Писаревым и Зайцевым он преследовал иную цель.

Враждебные выпады радикалов против публициста «Современника» Достоевский использовал для того, чтобы подвести итог собственной полемики с ним.

Такой план действий — вторжение в постороннюю дискуссию, как и некоторые полемические доводы, подсказывались Достоевскому статьями Зайцева и Благовсветлова — «Глуповцы, попавшие в «Современник» и «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист «Современника», и отчасти писаревскими «Цветами невинного юмора». Зайцев обвинил Щедрина в замаскированных нападках на революционную молодежь и заключенного в крепость Чернышевского.

Иначе говоря: против Щедрина радикалы выдвинули обвинение, которое он сам так настойчиво предъявлял Достоевскому.

¹ Полемика между Щедриным и «Русским словом» подробно рассмотрена нами в главе «Раскол в нигилистах», которая дана в приложении к настоящей книге.

Это обстоятельство должно было представляться последнему весьма благоприятным для продолжения полемики с публицистом «Современника». Затем немалое значение для Достоевского имел тот факт, что и Писарев и Зайцев полностью солидаризировались с ним в резко отрицательной характеристике щедринской сатиры. И в довершение всего, касаясь публицистической деятельности Щедрина в «Современнике» 1863 года, Зайцев еще особо выделил выступление последнего против Достоевского, поставив его в один ряд с позднейшими критическими замечаниями сатирика об элементах утопизма в романе Чернышевского «Что делать?».

«В прошедшем году, — писал Зайцев, — фельетонист в пылу гнева так распутился, что вздумал подтрунивать над «Мертвым домом»... Тогда насмешка над «Мертвым домом» казалась просто бестактностью и следствием привычки к повелительному наклонению. Но теперь фельетонист с успехом доказал, что это было не более, как следствие особенного пристрастия его к смеху, вызываемому не столько внешними предметами, сколько игривостью нрава. Вот теперь его разбирает смех по поводу романа «Что делать?»¹.

¹ «Русское слово», 1864, февраль, В. А. Зайцев, Избранные сочинения, т. I, стр. 210. На «бестактность» Щедрина, проектировавшего поместить в «Свистке» (юмористическое приложение к «Современнику») «поучительно-увеселительное исследование» о литературной зависимости произведения Достоевского от «французских источников», Зайцев резко отозвался еще в 1863 году, тотчас же по выходе апрельского номера «Современника». В статье «Перлы и алмазы нашей журналистики», напечатанной в апрельской книге «Русского слова», он заявил: «...смеяться над «Мертвым домом» — значит подвергать себя опасности получить замечание, что подобные произведения пишутся собственной кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола». Возможно, что этот личный выпад против Щедрина был вызван одной фразой в его рецензии, напечатанной в той же книжке «Современника», где появилось вышецитированное ироническое замечание о «Записках из мертвого дома». Мы имеем в виду следующее место в рецензии на брошюру М. Беницкого «Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С.-Петербурге»: «...если нынешние титулярные советники суть раскаявшиеся прогрессисты, то кто же мешает нынешним прогрессистам заключать в себе, как в зародыше, будущих титулярных советников?.. Никто». Об этом саркастическом утверждении Писарев отозвался в «Цветах невинного юмора», что Щедрин, «принимаясь за перо... не предлагает себе вопроса о том, куда хватит его обличительная стрела — в своих или чужих, в титулярных советни-

Таким образом, сложившаяся обстановка, казалось, должна была побудить Достоевского немедленно возобновить свою полемику с публицистом «Современника». И, однако, на спор Щедрина с «Русским словом» Достоевский отозвался не сразу. Весьма возможно, что он бы и вовсе не откликнулся на него, если бы в майской книге «Современника» за 1864 год не были опубликованы «Стрижи». В этом остром полемическом выступлении особенно сильно Достоевского задело саркастическое отношение Щедрина к столь проникательно угаданной им идее «Записок из подполья» — идее бессмертия души. Как нетерпимо уже тогда реагировал Достоевский на проявление атеистических взглядов, можно судить по следующим неопубликованным заметкам из его записной книжки 1864 года. Здесь мы читаем:

«Современник». Июнь. Статья о романе Проклятый. «Умственные способности Терезы плохи потому, что она ходила по монастырям»¹.

Так только слуги могут разговаривать о своих господях».

Эта запись дополняется другой заметкой на ту же тему: — «О монастырях (в Современнике разбор «Проклятого»). — Глупа потому — что религиозна. Ну, не дико ли это? Ну, разве неправду мы написали в условиях?»²

Тут уж отчетливо выступает основной мотив, который побудил Достоевского написать «сатирический роман» «Щедродаров», вошедший составной частью в статью «Господин Щедрин, или раскол в нигилистах» (подобно тому, как «Стрижи» были включены оппонентом в статью «Литературные мелочи»). Резюмирующее указание в последней заметке прямо относится ко второй главе этого «романа» — «Условия». Но ни в данной главе, ни в других главах «Щедродарова» нет и намека на то, что особенно возмутило Достоевского в «Стрижах».

ков или в нигилистов». Попутно укажем на не отмеченное еще в литературе о Щедрина и Зайцеве обстоятельство. Много лет спустя, уже будучи в эмиграции, Зайцев, не называя Щедрина, несколько раз полемизировал с ним в зарубежном русском журнале «Общее дело», настаивая на том, что его сатира *затемняет* общественное самосознание.

¹ Цитировано Достоевским по памяти, но мысль автора передана точно.

² Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, I ², стр. 6 и 83.

Повидимому, и в 1864 году, несмотря на резкое усиление правительственной и общественной реакции вследствие польского восстания, «ярое вольнодумство», то есть передовое общественное мнение, еще заставляло некоторых инакомыслящих попрежнему «приберегать до более удобного случая публичное выражение своих заветнейших убеждений». Больше того: по свидетельству Страхова, в первой половине шестидесятых годов Достоевский не делился своими религиозными настроениями даже с очень близкими ему людьми¹. Но именно потому, что Достоевский не мог коснуться вопроса, трактовка которого в «Стрижах» возбудила его особое негодование, он считал себя совершенно свободным в других отношениях, и прежде всего — в выборе средств для уничтожения противника. Это обстоятельство определило содержание и тон его ответа Щедрина.

II

«Сатирическому роману» Достоевский предпослал некоторые пояснения. Прежде всего он отметил, что изображенные в «Щедродарове» события непосредственно связаны с ожесточенной полемикой между «Русским словом» и «Современником». Виновником ее явился Щедрин, высказавший в «Современнике» такие убеждения, которые безусловно расходятся с направлением этого журнала. После того как он выступил против «каких-то вислоухих,

¹ «...Из наших частных разговоров, — замечает по этому поводу Страхов, — мне не припоминается почти ни одного случая, когда бы Федор Михайлович прямо высказывал то религиозное настроение, которое, повидимому, не угасало в нем ни в один период его жизни» (Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., 1883, т. I, стр. 257). Для характеристики умонастроения Достоевского укажем, что уже в первой половине шестидесятых годов его занимала религиозно-философская идея, которую впоследствии он усиленно пропагандировал в своих художественных и публицистических произведениях. Эта идея, впервые высказанная им в связи с усмирением польского восстания 1863 года, в неопубликованной записи сформулирована так:

«Польская война есть война двух христианств — это начало будущей войны православия с католичеством, другими словами — славянского гения с европейской цивилизацией. Итак, развитие у нас, и развитие не официальное (по голландской программе), а народное» (Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, I 7, стр. 151).

ничего не понимающих и все портящих», «Русское слово» обличило «Современник» в ретроградстве. Сознательно ли изменил «Современник» свое направление, или, лишившись своих главных деятелей — Добролюбова и Чернышевского, «сам теперь не знает, что творит», — неизвестно. И вот разъяснению занимающей всех «странной кутерьмы» может способствовать «Щедродаров», где воспроизведено «нечто аналогическое» тому, что имело место в действительности. За этим предисловием помещены четыре главы из «сатирического романа», поименованные интригующими заголовками: «Щедродаров¹ вступает в журнал «Своевременный» в качестве соредактора»; «Условия»; «Бунт Щедродарова»; «Трагедия в стакане воды».

Сугубо личный, подчеркнуто-оскорбительный характер полемики обнаженно выступает уже в первой главе, где излагаются мотивы привлечения Щедродарова к деятельному участию в журнале «Своевременный». По словам Достоевского, редакция остановила свой выбор на Щедродарове потому, что ей понадобилась «шавка лающая и кусающаяся»². В этом отношении может быть полезен Щедродаров, «известный наш юморист и сатирик», обладающий нужными качествами: «игра, перо, злость, тщеславие» соединяются у него с совершенной беспринципностью. Собравшиеся решают включить Щедродарова в

¹ Как видно из черновой рукописи, Достоевский первоначально выставил настоящие имена и названия (Щедродаров — Щедрин, Правдолюбов — Добролюбов, Скрибов — Писарев, Кроличков — Зайцев, «Своевременный» — «Современник», «Заграничное слово» — «Русское слово»), а затем зачеркнул их и заменил прозрачными псевдонимами.

² «Эпоха», 1864, май. Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., ГИЗ, т. XIII, стр. 325. Poleмический прием Достоевского впоследствии был применен Я. П. Полонским в стихотворении «Бульдог» (1871). Этот враждебный выпад явился ответом на отрицательный отзыв Щедрина о сборнике Полонского «Снопы» («Отечественные записки», 1871, февраль). Достоевскому же характеристика Щедродарова могла быть внушена ярким образом Филоверитова («Губернские очерки» — «Надорванные»), который по приказанию своего начальника «вливался когтями и зубами в ненавистного ему субъекта» и «грыз до тех пор, пока сам не падал от изнеможения и бешенства...» Это «заказное озлобление» Щедрин затем рельефно выделил как особенное психологическое состояние, характеризующее «ташкентца». Во второй главе нашей работы (стр. 77) мы уже отметили одну попытку Достоевского отождествить Щедрина с его персонажем (генерал Зубатов).

состав редакции, если он примет выработанные ею условия.

Щедродаров беспрекословно согласился с предъявленными ему требованиями. Тем самым он обязался: «почитать, прикрывать и защищать всех тех, которые заявляют себя прогрессистами», хотя бы они «из меры вон забезобразничались или заврались», усвоить ту истину, что «искусство — вздор, роскошь», следовательно, «сапоги во всяком случае лучше Пушкина», а Гомер хуже чем бесполезен, ибо у него «бездна предрассудков, есть привидения, и он верит в... богов»; прочитать несколько «умных книжек» и «сдать экзамен в прочитанном в присутствии всех членов редакции и главнейших сотрудников»; и, наконец, «проникнуться капитальнейшей мыслию» о том, что «для счастья всего человечества, равно как и отдельно для каждого человека, прежде всего и важнее всего должно быть — брюхо...»¹

Хотя Щедродаров покорно принял все условия, однако уже в самом начале у него является желание противоречить. Он «хотел было возразить, что, конечно, было бы очень полезно сначала обеспечить себе брюхо, а потом уже до всего дойти; но что с этойкой идеей можно, пожалуй, тысячу лет простоять на одной точке желаний и гнева, не достигнув ни малейшего практического результата, а, напротив, просмотрев жизнь и все перепортив»². Интересно, что в черновой рукописи «сатирического романа» эти возражения высказаны полнее, но Достоевский не решился оставить их, потому что они отчасти напоминали рассуждения человека из подполья. А такое развитие темы не вязалось с обликом Щедродарова, который смиренно заверял членов редакции, что у него «еще нет своих мыслей»³.

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 327—329.

² Там же, стр. 329.

³ В черновой рукописи «подпольный» мотив выражен следующим образом:

«Он хотел было сказать, что человечество ни за что не согласится плюнуть на все остальное и жить только для брюха, что человеку, вместе с пищей, хочется и свободы, калачика, пошалить, поиграть и пофантазировать, что жизнь дается однажды, что потому всякому хочется как можно больше на своей воле пожить, хотя бы и наглупить пришлось, а не в муравейнике. Одним словом, сытое брюхо, может быть, будет последний шаг человечества, а не

Свыше года в «отделе критики» Щедродаров «глумился и срамил самых честнейших и толковых людей», и его рвение настолько усыпило бдительность других членов редакции, что они не заметили постепенно происходившей в нем перемены. Между тем Щедродаровым с течением времени стало овладевать беспокойство, происхождение которого объясняется так: «Прочитывая по обязанности то, над чем ему предписано было смеяться, он невольно просвещался и невольно новый свет начал озарять его». Впрочем, как «натуре художественной», это не мешало ему издеваться над тем, с чем он внутренне соглашался. И «бунт Щедродарова» мотивирован другим обстоятельством, а именно: его завистью к фельетонисту Кроличкову. Чему он завидовал, автор не разъясняет, так что содержание психологического мотива, вызвавшего «трагедию в стакане воды», остается неосвещенным.

Мало того. Против всякого ожидания и самый «раскол в нигилистах» оказывался мнимым. В самом деле. В предисловии к «Щедродарову» Достоевский поставил себе задачу выяснить, изменил ли сознательно «Современник» свое направление, выступая против «Русского слова», или «сам теперь не знает, что творит». В первом случае полемические выступления «Современника» против «Русского слова», на взгляд Достоевского, были бы «расколом в нигилистах», поскольку он проводил ту мысль, что оба эти журнала придерживались одинаковых политических, философских и эстетических воззрений «нигилистического» характера. Во втором случае нашумевший спор пришлось бы признать лишь «странный кутерьмой», то есть ожесточенной журнальной перебранкой, лишенной принципиального содержания. Как решит эту дилемму автор «Раскола в нигилистах», казалось очевидным. Между тем развязка «сатирического романа» раскрывает авторский замысел в ином, неожиданном плане. В последней главе («Трагедия в стакане воды») описаны «трус и суматоха» в редакции «Своевременного», вызванные поведе-

первый шаг; что сытое брюхо, может быть, достигнется продуктом всех жизненных сил, а не параличом всех остальных способностей человека; что человек ни за что не захочет жить по книжке» (Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, I 3 $\frac{1}{2}$, стр. 9).

нием Щедродарова, который, воспользовавшись отсутствием надзора за ним, вероломно нарушил один из пунктов принятых им на себя обязательств. Оказывается, он «махнул в «Своевременном» знаменитые свои статьи о мальчишках» без ведома редакции и вопреки ее программным установкам, — иначе говоря, высказал свой личный взгляд, резко противоречивший направлению журнала, в котором он не играл руководящей роли.

Этот неожиданный финал сводил на нет постановку вопроса о принципиальном разрыве между «Современником» и «Русским словом», и «раскол в нигилистах» теперь уже мог относиться только к воображаемым разногласиям в самой редакции «Современника». И действительно, последняя глава «сатирического романа» посвящена не реальному конфликту между «Современником» и «Русским словом», а измышленному Достоевским бурному столкновению между Щедродаровым и другими членами редакции журнала «Своевременный».

IV

Выше мы отметили, что своим вмешательством в спор Щедрина с Писаревым и Зайцевым Достоевский стремился подвести итог собственной полемике против публициста «Современника». Это всего легче было сделать, повторив обвинения, брошенные по адресу Щедрина радикалами. Достоевский таким образом и поступил. Вначале он процитировал соответствующие места из писаревской статьи «Цветы невинного юмора», обличавшие сатирика в зубоскальстве, а затем использовал одно заявление редактора «Русского слова» — Благосветлова. Этот эффектный выпад Достоевский приберет для финала «сатирического романа» в качестве основного мотива бурного объяснения Щедродарова с членами редакции «Своевременного», которые встречают его появление негодующими возгласами:

«— Что вы сделали! что вы сделали, несчастный!..»
«— Мы за вами в последнее время не смотрели, а вы что тут напороли?..» «— Мы вас и брали с тем, чтобы у вас не было никаких своих мыслей, а чтоб вы только издавали звуки, а вы...» «— И откуда, откуда у вас теперь могли завестись свои мысли? *Вы взяли их из «Времени»!*

Смотрите, смотрите, читайте: вот «Заграничное слово». Тут выписана тирада из «Времени» 62-го года против мальчишек»¹.

Далее приводится известная нам цитата о «пустых, безмозглых крикунах, позорящих все, до чего они ни дотронутся», о «свистунах, свистящих из хлеба», — цитата, побудившая Щедрина начать полемику с Достоевским. Чтение этой выдержки вызывает новый взрыв ярости против Щедродарова.

«— Слышали? Знайте же, несчастный, что «Заграничное слово» прямо говорит, что вы это взяли из «Времени», что у вас разительное сходство во всем, даже в выражениях»².

И в доказательство тут же зачитывается то место из второй статьи Щедрина против радикалов, где говорится о «вислоухих и юродствующих», которые «с ухарскою развязностью прикомандируют себя к делу, делаемому молодым поколением», и «одним своим участием... делают неузнаваемым всякое дело, до которого прикасаются, подобно тому, как мухи летом в одну минуту засиживаются какую угодно вещь, хотя бы самую драгоценную»³.

На эту очную ставку цитат припертый к стене Щедродаров откликается неожиданным заявлением:

«— Ну что ж, что из «Времени»... Я, действительно, признаюсь, что я эту мысль заимствовал из «Времени», так же как и много других, потому что это хороший журнал, и вы напрасно заставляете меня издавать на него звуки. Но я не украл у «Времени», я только сошелся с ним мыслями...»⁴.

Достоевский, конечно, не мог не заметить, в какое странное положение он поставил себя, выводя своим единомышленником Щедродарова, но с этим неудобством приходилось мириться, поскольку через него нельзя было перешагнуть, идя к намеченной цели. К тому же он был занят поисками выхода из другой щекотливой ситуации, связанной с его рискованным признанием. Ведь, констатируя такое неожиданное единомыслие, по логике вещей приходилось принять *и на свой счет* обвинение, вы-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 332—333. (Курсив наш.— С. Б.)

² Там же, стр. 333.

³ Там же.

⁴ Там же.

двинутое радикалами против Щедрина. Иначе говоря: предстояло признать справедливость их утверждения, что Щедрин выступил в 1864 году против революционной демократии, подобно тому как двумя годами раньше это сделал сам Достоевский... Разумеется, что на этот путь редактор «Эпохи» и не помышлял вступить, поставив себе целью заявить как раз противоположное тому, что утверждали радикалы, хотя бы заодно пришлось, для собственной реабилитации, попутно взять под защиту самого Щедрина. Вот как представлен в «сатирическом романе» этот полемический пассаж. Обороняясь от яростных нападок своих коллег по редакции, Щедродаров восклицает:

« — Да что вы на меня, в самом деле!.. И что вы все про «Время» да про «Время»!.. *«Время» тогда только о плутах говорило, и справедливо...* Я же об вислоухих упомянул. Из этих хоть есть честные, да все перепортили»¹.

Так Достоевский без всякого усилия добился от Щедродарова признания того, в чем он тщетно старался убедить Щедрина... «Реабилитировав» же себя устами Щедродарова, Достоевский, не касаясь конкретных обвинений, брошенных в статье Зайцева по адресу Щедрина, присоединился к печатному указанию последнего, что в полемике с «Русским словом» он под «вислоухими» разумел не революционную молодежь, а людей, компрометирующих ее своим «юродством». Таким отрицанием одиозного характера в выступлениях Щедрина против «вислоухих» Достоевский отводил нежелательный для него вывод, о котором было сказано выше. Для чего ему понадобилось навязать Щедродарову роль своего последователя, отчасти уже разъяснилось из только что приведенной сцены. Но тут был и другой полемический умысел. Представить идейного противника повторяющим зады «Времени» оказалось удобным в двояком отношении: во-первых, в такой роли Щедродаров был сугубо жалок и смешон; во-вторых, как новоявленный последователь Достоевского, он мог и даже должен был с горячностью высказывать его мысли. Именно в этом плане и выступает Щедродаров против редакции «Своевременного».

« — Наплевать мне на ваше брюхо, довольно наслу-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 333—334. (Курсив наш. — С. Б.).

шался! — запальчиво отвечает Щедродаров на призыв одуматься, — не верю я теперь вашему брюху! Насытить брюхо ценою предварительного паралича всех членов и всех способностей организма — нелепость! А вы, напротив, в своем фанатизме к брюху дошли до того, что, в свою очередь, все члены и все способности организма, кроме брюха, считаете нелепостью. Так поступили вы с искусством, с нравственным идеалом, с историческим ходом вещей, со всею жизнью... Вы против жизни идете... Вы теоретики!.. Я не понимаю, как можно стоять на воздухе, не чувствуя под собою почвы... Из-под вас просвечивает...»¹

Собравшиеся единогласно решают, что эта тирада заимствована из «Времени». Оратор с вызывающим видом подтверждает это и еще раз лестно отзываясь о журнале Достоевского. Слушатели приходят в неистовство и окружают Щедродарова, обвиняя его в вольнодумстве. Тот отклоняет такую аттестацию и характеризует себя как «перепеченного нигилиста», тем самым признавая справедливость утверждения Достоевского, который в полемической статье 1863 года писал, что Щедрин к «Современнику» присоединился «не по убеждению, а из искусства для искусства» и что в редакции этого журнала его «из обыкновенного либерала тотчас же перепекли в нигилиста». Свой «обыкновенный либерализм» Щедродаров демонстрирует открытием, сделанным им после поездки в деревню. «Я вывел, — торжественно заявляет он, — что если вы в Москве нанимаете извозчика, то не торгуйтесь с мужиком, потому что он беден...» Непомерную претензию Щедродарова возвестить миру «новое экономическое отношение» члены редакции «Своевременного» встречают «гомерическим хохотом», и тщеславный неудачник, вконец посрамленный своими же коллегами, рыдает, «как маленькое дитя». Этой сценой и завершается «сатирический роман», посвященный «расколу в нигилистах».

У

За главами о Щедродарове помещено послесловие, в котором Достоевский их комментирует. Раньше всего он указывает, что это — «роман-карикатура», а «всякая ка-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 335.

рикатура, как известно, включает в себе преувеличение смешной стороны дела», но вместе с тем и «некоторое справедливое основание». Так, «есть некоторое сходство, например, в главе «об условиях». Последнее утверждение Достоевский, однако, ничем не подкрепляет, хотя ему, очевидно, важно было придать полемически описанным им «условиям» оттенок жизненного правдоподобия. «Что же касается до главы о суматохе в редакции, — продолжает он, — то, право, не знаем, есть ли тут верное основание». Дело в том, что о разногласиях в редакции «Современника» известно только по слухам, и в их справедливости Достоевский убежден единственно потому, что «г. Щедрин в последнее время сильно противоречил в своих последних статьях духу и направлению «Современника». Но опять-таки и это утверждение никак не аргументировано, хотя его обоснование представляло для Достоевского тоже не малую важность¹.

Не оказалось у Достоевского и фактического материала, долженствующего подвести «некоторое справедливое основание» под карикатурное изображение требований, предъявленных редакцией «Своевременного» и принятых к исполнению Щедродаровым².

¹ В данной связи уместно отметить, что в черновой рукописи «Щедродарова» он пытался дать такое обоснование, а именно: для иллюстрации «сильного противоречия» направлению «Современника» в писаниях Щедрина Достоевский наметнул на одно место в анонимной статье последнего о «Горькой судьбине» А. Писемского, напечатанной незадолго до его полемики с «Русским словом». В рукописи мы читаем: «Еще прежде того он вздумал цитовать из «Разъезда» Гоголя, что также прямо противоречило пункту об эстетике» (Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, I 3 $\frac{1}{2}$, л. 12). Но Достоевский вычеркнул этот пример, так как сам счел его неубедительным даже в романе-карикатуре, а более веского аргумента у него не нашлось.

² В одном из пунктов «условий» Щедродарову, например, внушается, что Гомер — «вздор», потому что у него «бездна предрассудков, есть привидения и он верит в чудеса и богов...» Можно подумать, что хоть что-нибудь напоминающее такое нелепое суждение о Гомере появилось на страницах «Современника». Между тем в первой же книге этого журнала за 1863 год (где Щедрин начал свою полемику с Достоевским) как раз *высмеивается* подобный взгляд на Гомера. И высмеивает его именно Щедрин, в произведениях которого в то время Достоевский не обнаруживает «сильного противоречия» духу и направлению «Современника», а, наоборот, видит полное соответствие его программным установкам. Мы имеем в виду анонимную рецензию на сборник «Гражданские мотивы», составленный А. Пятковским, в которой Щедрин писал:

Продолжая комментировать «Щедродарова», Достоевский замечает, что там изображено «может быть уж слишком яркими красками легкомыслие г. Щедрина». И тут же он корректирует эту оговорку таким дополнением: «Но, припоминая все случившееся действительно и даже *до нас коснувшееся*, не можем не признаться, что

«Воззрение г. Пятковского на литературу и искусство просты до наивности. «Было бы невозможно теперь явиться Гомеру с его младенческой верой в богов преисподней», — говорит он и затем очень тонко, в пяти строках, рисует, почему вместо Гомера явился сначала Дант, а потом Бакон и Спиноза, а потом Шиллер и Гёте. Из этого видно, что г. Пятковский чистосердечно думает, что Гомер не может явиться именно только потому, что имел «младенческую веру в богов преисподней» (может быть, дескать, и обретаются где-нибудь Гомеры, да имеют «младенческую веру в богов преисподней» — ну, и не смеют явиться!), да, быть может, еще и потому, что он был слепой (этого г. Пятковский не говорит, но, вероятно, скаже, когда издаст новый литературный сот)». (Н. Щ е д р и н (М. Е. Салтыков), т. V, стр. 282.)

З другом случае Достоевский интерпретирует высказывание Щедрина, ссылаясь при этом на источник. «Прочтите мой талантливый февральский фельетон в «Своевременном», — говорит Щедродаров, обращаясь к членам редакции, и далее разъясняет им основную идею открытого им «нового экономического отношения». Это объяснение, которое рисует Щедродарова как самого заурядного филантропа-обывателя, по-хлестаковски возманившего себя новатором-экономистом, может показаться полемической выдумкой Достоевского, а его ссылка на литературный источник — фиктивной справкой, имеющей целью усилить «преувеличение смешной стороны дела», свойственное карикатуре. В действительности же ни самый фельетон, ни даже совет его автора, Щедрина, не торговаться с извозчиком, а набавить ему лишний пятачок, памятуя, что мужик беден, не были измышлены Достоевским. Он только выдал *ироническое* замечание Щедрина за всерьез высказанное им утверждение. К такому выводу приводит то место в общественной хронике Щедрина, которое обратило на себя внимание Достоевского. Эта часть хроники рисует картину деревенского быта. Описание тяжелой жизни подмосковных крестьян, занятых в зимнее время извозным промыслом, публицист «Современника» заключил таким обращением к постоянным посетителям редакций славянофильской газеты «День» и катковских «Московских ведомостей»:

«И потому, о москвич! ты, который с Плющихи или из-под Новинского поспешаешь на кабалистико-чревоушательный вечер на Спиридовку или на юридическо-сикофантское утро на Страстной бульваре вспомни все изображенное выше и не торгуйся с ванькой, запрашивающим с тебя четвертак, не вынуждай его ехать с тобой за пятацкинный, но действуй щедрой рукой и даже прибавляй пятачок на водку!» («Наша общественная жизнь», «Современник», 1864, № 2, стр. 218. Это обращение относилось к «господам, которые позволили себе негодовать на то, что правительство будто бы излишне понизило норму орока, платимого крестьянами...»

основания нашего романиста несколько справедливы»¹. Достоевский имеет здесь в виду брошенное по его адресу Щедриным обвинение, которое было вызвано известным нам местом в программном объявлении журнала «Время» на 1863 год. Смысл этого намека раскрывается следующей затем фразой:

«Не утверждаем, что г. Щедрин действительно заучивал наизусть тирады из «Времени» и ими пользовался как для своих сочинений, так и в практической жизни. Нам кажется это даже некоторым преувеличением. Но, одна кож, не мы первые засвидетельствовали о том, что г. Щедрин заимствовал из «Времени» тираду о «подхлестывающих себя кнутиком рутинного либерализма..» Это засвидетельствовало «Русское слово» — орган нам противоположный и нас не жалующий»².

Достоевский полагал, что последний довод придаст немалый вес его изобличению Щедрина в легкомыслии. При этом аргументация, развернутая им только отчасти, в целом сводилась к следующему: коль скоро на факт заимствования первым указал не он, Достоевский, а орган ему враждебный, то есть не имеющий никаких оснований встать на его сторону в споре с Щедриным, стало быть, этот факт можно считать установленным вполне объективно. А раз дело обстоит таким образом, то не ясно ли, что Щедрин поступил легкомысленно в 1863 году, когда бросил ему политическое обвинение, придравшись к той самой фразе, которую он же теперь повторил в споре с «Русским словом», не вкладывая в нее одиозного содержания? Последний вывод, сделанный между строк, внушался тем немногим читателям, которые знали что имеет в виду Достоевский, изобличая Щедрина в легкомыслии. Эта аргументация, по внешности как будто убедительная, была несостоятельна в обоих своих выводах — высказанном и подразумеваемом³.

Но Достоевскому пришлось вернуться к действитель-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 336. (Курсив наш. — С. Б.)

² Там же, стр. 336—337.

³ Прежде всего свидетельство редакции «Русского слова» нельзя было признать объективным, поскольку она вела с Щедриным жесточенную полемику, в которой пункт о мнимом заимствовании играл немаловажную роль. Затем ведь «Русское слово» обвиняло Щедрина не в литературном плагиате, а в «изумительном сходстве» его выпада против «вислоухих» с формулировкой о «безмозглых криках» в

ности. Ему еще предстояло в *прямой*, публицистической форме отозваться на «драматическую быль» «Стрижи», включенную Щедриным в анонимную статью «Литературные мелочи». Этот переход в послесловии предварен таким замечанием:

«Нас уверяли, что статья «Литературные мелочи» в майском номере «Современника» принадлежит г. Щедрину, хотя и нет подписи. Мы, впрочем, и сами узнаем в этой статье «Молодое перо» — так уж мы привыкли к его игре»¹.

Затем, не цитируя самой «драматической были» и даже не упоминая о ней, Достоевский как бы мимоходом касается того места в *предисловии* к «Стрижам», где Щедрин высказал свое впечатление от содержания первого номера «Эпохи»².

«Кстати, — пишет Достоевский, — в этой статье есть неблагоприятная выходка против нас: намекается, что мы, начав издание «Эпохи», будто бы изменили в некотором пункте свои убеждения. За недостатком места мы не можем теперь распространиться об этом и опровергать автора. Но автор статьи, помещая свое показание об изменении наших убеждений, совершенно знал наперед, что мы не будем опровергать его. Знал он это вполне. Это верно и ясно как день. Теперь вопрос: стало быть,

программном заявлении журнала, общественное направление которого оно считало «безобразным». Говоря другими словами, радикалы вменяли публицисту «Современника» «легкомыслие», граничащее с политическим ренегатством. Поэтому апелляция Достоевского к свидетельству «Русского слова», намеренно ограниченная одним лишь формальным моментом (каким *само по себе* являлось констатирование факта заимствования), создавала только *видимость* «некоторого справедливого основания» считать легкомыслие Щедрина доказанным, но по сути дела была несостоятельной. Коснуться же возбужденного «Русским словом» вопроса не с формальной стороны Достоевский не мог по соображениям, о которых мы сказали выше, анализируя финал «Щедродарова». Poleмический выпад редактора «Русского слова» важен был автору «романа-карикуры» лишь в качестве повода, давшего ему возможность представить «раскол в нигилистах» с самым крайним «преувеличением смешной стороны дела», как «бунт Щедродарова»... на коленях перед Достоевским, и в таком смысле он этот эффектный выпад полностью использовал.

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 337.

² «Что хотя совершить эти ужасные люди? — иронически спрашивал Щедрин, — намереваются ли они превзойти «Русский вестник», или же... замышляют только «удивить мир коварством?»»

он прикрывался этим знанием? А если так, то чем же в сущности он себя обеспечивал?»¹

Как мы знаем, Щедрин не утверждал, что Достоевский изменил «в некотором пункте» свои прежние убеждения, «начав издание «Эпохи». Публицист «Современника» пришел к другому выводу, а именно к той мысли, что изменение политических убеждений Достоевского, уже ясно обнаружившееся для него, когда тот был идейным руководителем «Времени», еще отчетливее выявилось в «Эпохе». В такой мысли его утверждали опубликованные в первом номере этого журнала «Записки из подполья» Достоевского.

Не отвечая по существу на цитированный иронический вопрос автора «Стрижей», Достоевский парирует его ядовитую реплику встречным обвинением. Смысл заявления Достоевского сводится к тому, что Щедрин, приписывая ему и его ближайшим сотрудникам намерение «превзойти» «Русский вестник», наперед знает, что лица, обвиненные им в реакционных поползновениях, не могут публично высказать свой образ мыслей, неугодный правительству. Иначе говоря: в борьбе с направлением «Эпохи» его противник действует под прикрытием и защитой той самой власти, против которой он показным образом фрондирует на страницах «Современника»...

Такая постановка вопроса переключалась с обличением Зайцева, который писал, что Щедрин целый годрядился в костюм Добролюбова, тщательно припрятывая под маскарадным платьем «красивое золотое шитье своего сановнического мундира», пока, наконец, «явился... тем, чем он есть на самом деле»². Выше мы уже объяснили, почему в «Щедродарове» Достоевский не только не поддержал брошенного Зайцевым по адресу Щедрина обвинения в «литературном ренегатстве», но даже и не упомянул о нем. Правильность данного нами объяснения такой сдержанности Достоевского подтверждается тем, что в *другом плане*, отвечая на январскую общественную хронику 1863 года, он высказал то же самое, но уже лич-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 337.

В рукописи за словом «обеспечивал» добавлено: «и в чем искал протекции?» Это добавление подчеркивает направление мысли Достоевского.

² «Глуповцы, попавшие в «Современник». В. А. Зайцев, Избр. соч., т. I, стр. 207.

но от себя, как бы основываясь на собственном опыте своей полемики с публицистом «Современника».

Каково же в действительности было умонастроение членов редакции «Эпохи», пришедшей на смену запрещенному правительством «Времени»?

Анализируя «Стрижей», мы подвергли проверке полемические утверждения Щедрина и на основе высказываний самого Достоевского в частной переписке и в его позднейших литературных произведениях пришли к выводу, что эти утверждения, кажущиеся очевидными сатирическими преувеличениями, полностью соответствовали действительному положению вещей как со стороны фактической, так и принципиальной. Для освещения интересующего нас сейчас вопроса обращаемся опять-таки к показаниям лица, близкого к редакции «Времени» и «Эпохи», — мы имеем в виду известные воспоминания Страхова о Достоевском. Рассказав о том, как, вследствие обидного недоразумения, порожденного его статьей по польскому вопросу, весной 1863 года было закрыто «Время» и какое горькое чувство незаслуженной кары (лейтмотив «Стрижей»: «За что они нас обидели?») это запрещение вызвало в редакции, Страхов характеризует умонастроение «почвенников» следующим образом:

«В настоящем случае мы, то есть редакция «Времени», очень горевали особенно потому, что потеряна была возможность выразить наше патриотическое настроение. Если бы «Время» не было запрещено, мы бы подняли горячую полемику с московскими изданиями, стараясь *перещеголять* их в патриотизме...»¹

Какова была политическая окраска патриотизма «почвенников», выясняется из дальнейших слов Страхова. Отметив тот факт, что «в 1863 году совершился глубокий перелом общественного настроения», он затем так определяет сущность происшедшего.

«В этом году, — пишет Страхов, — простодушная публика в первый раз заметила, куда ее ведет известная партия литературы, и отшатнулась от этой партии... Герцен совершенно упал; «Московские ведомости», начавшие выходить с 1-го января под нынешнею редакцией (то

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., 1883, т. I, стр. 256. (Курсив наш. — С. Б.).

есть под редакцией Каткова. — С. Б.), скоро заявили то патриотическое и руководительное направление, которое так блистательно развивают до сих пор... В Петербурге значительно затихла та болтовня, те противуправительственные пересуды и затеи, которые составляют главную забаву многого множества...»¹

Редакция «Времени», разумеется, не была причастна к этим «забавам». Что же касается направления «Эпохи», то оно развивалось совершенно закономерно. Если во «Времени» «в конце 1862 года (в сентябрьской книжке) была еще помещена статья Щедрина, а в первой книжке 1863 года явилось стихотворение Некрасова «Смерть Прокла», то «Эпоха» уже не имела ничего общего с «Современником»... Разрыв с нигилистическим направлением был полный, и против него исключительно направлялась полемика...»²

Эти свидетельства Страхова удостоверяют в том, что Щедрин не погрешил против истины, высказав догадку о намерении «почвенников» превзойти «Русский вестник». Больше того: «преувеличение» сатирика, как мы видим, буквально совпадает с позднейшим показанием Страхова, которого никак нельзя заподозрить в желании встать на сторону Щедрина в его полемике с «Эпохой». Что это текстуальное совпадение полностью согласуется с разоблачительным смыслом реплики автора «Стрижей», опять-таки удостоверяет сам Страхов обстоятельным разъяснением того, *в чем именно* «почвенники» желали «перещеголять» «Русский вестник» и *как* они оценивали «руководительное направление» Каткова. Но это разъяснение свидетельствует также и о том, что Достоевский не был в состоянии доказательно опровергнуть Щедрина. И, следовательно, его обличительный жест в сторону публициста «Современника» фактически оказался у него единствен-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., 1883, т. I, стр. 270.

² Там же, стр. 275. В начале издания «Эпохи» Достоевский не имел намерения заходить так далеко, а предполагал попрежнему оставаться на той позиции, которую Щедрин охарактеризовал, как «сидение между двумя стульями». Об этом свидетельствует его план критического разбора «Что делать?» Чернышевского и антинигилистического романа Писемского «Взбаламученное море». «Разбор Чернышевского романа и Писемского произвел бы большой эффект и, главное, подходил бы к делу, — писал он брату Михаилу Михайловичу. — Две противоположные идеи, и обем по носу. Значит, правда» (Ф. М. Достоевский, Письма, т. I, стр. 341).

ным полемическим средством выйти из затруднительного положения. Таким образом, он смог, ничего не сказав по существу щекотливого вопроса, придать своему уклонению от спора характер умолчания, вызванного не зависящими от него внешними обстоятельствами.

Что Достоевский прибегнул к этому полемическому приему за неимением других средств опровергнуть брошенное «Эпохе» обвинение, удостоверяет и его склонность к самой детальной аргументации в тех случаях, когда он располагал данными, которые действительно доказывали неправоту противника. Так, в статье «Опять «Молодое перо» Достоевский уделил много места установлению того факта, что Щедрин, вопреки его словам, начал сотрудничать во «Времени» не после приостановки издания «Современника» летом 1862 года, а несколькими месяцами раньше. И в послесловии к «Щедродарову» он снова вернулся к данному вопросу, еще раз подчеркивая, что уличил Щедрина неопровержимыми доказательствами и посрамленный оппонент, ничего не имея ему возразить, оставил его разоблачение без ответа¹. Дважды останавливался Достоевский и на ироническом утверждении Щедрина, будто Тургенев «объявил в «Северной пчеле», что он так велик, что его даже во сне видит другой литератор». Касаясь этого эпизода², Достоевский подробно выяснил, что «не только буквально, но даже и смысла такого никак нельзя придать» заявлению Тургенева и что «слова эти и смысл этот» Щедрин «прибавил... сам от себя»³.

Короче говоря: для укрепления своих позиций в полемике с Щедриным Достоевский отнюдь не пренебрегал использованием фактического материала, а стремился извлечь необходимые ему аргументы, внимательно вчитываясь и в анонимные произведения сатирика. И за всем тем, как мы могли убедиться, он не нашел во всем этом разнообразном материале ни одной черты, которая

¹ Щедрин не отзывался на статью Достоевского во «Времени» — в частности, быть может, потому, что журнал «почвенников» вскоре был закрыт. На вторичное же упоминание Достоевским об этом факте (в послесловии к «Щедродарову») он ответил признанием допущенной им ошибки.

² Этот эпизод изложен на стр. 32.

³ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 317. (Курсив Достоевского.)

дала бы «некоторое справедливое основание» считать изображенное в «Щедродарове» хоть сколько-нибудь правдоподобным¹.

VI

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы.

Новое выступление Достоевского против Щедрина было вызвано «Стрижами». Но в самом ответе Достоевский не коснулся поставленных там вопросов и даже не упомянул о «драматической были», подобно тому, как в первой полемической статье («Молодое перо») он обошел молчанием исходный пункт спора, заключавшийся в общественной хронике Щедрина. Таким образом, тактика Достоевского в «Щедродарове» попрежнему сводится к игнорированию «трудных и щекотливых» вопросов, выдвигаемых его оппонентом.

Достоевский попрежнему стремится любыми средст-

¹ Это не помешало присяжному критику «Эпохи» поставить «Щедродарова» в один ряд со «Стрижами». «Статья эта, — писал Страхов, — подобно *Стрижам*, представляет фантазию из литературного мира, род произведений, в которых литературные отношения изображаются в лицах, в виде сцен между различными литераторами. Подобно *Стрижам*, статья была карикатурой. Подобно *Стрижам*, она заключала в себе намеки на чисто личные отношения» (Н. Стр а х о в, Из истории литературного нигилизма, стр. 515).

Эта сравнительная характеристика примечательна тем, что она наглядно показывает, как легко бывает критику формулировать не обоснованные им положения. Совсем иначе обстояло бы дело, если бы Страхову пришлось *доказывать* правомерность каждого своего утверждения. Взять хотя бы первый выдвинутый им тезис, что «Щедродаров», подобно «Стрижам», представляет фантазию из литературного мира. К «Стрижам» такое определение отчасти действительно приложимо, поскольку автор придал «драматической были» фантастический колорит. Но почему Страхов называет «Щедродарова» фантазией? Разве только на том основании, что здесь допущены фантастические преувеличения, впадающие в карикатуру. Однако этот момент отмечается им в отдельном пункте, который гласит, что статья Достоевского, «подобно *Стрижам*, была карикатурой». Такую мысль первым высказал сам Достоевский, но он же формулировал и непереносимое условие, при соблюдении которого только и можно отнести его статью к этому роду литературы. Страхов же не привел ни одного аргумента, убеждающего в том, что это необходимое условие было соблюдено в «Щедродарове». Столь же необоснованно, но в другом отношении, именует критик «драматическую былъ» карикатурой. Повидимому, он исходил из фантастической внешности изображенной в «Стрижах» обстановки и «преувеличения смешной сто-

вами очернить политического противника. Однако все его усилия изыскать хоть «некоторое справедливое основание» своим яростным нападкам остаются безуспешными.

Свою статью Достоевский озаглавил «Господин Щедрин, или раскол в нигилистах». Это определение — «раскол в нигилистах» — было подхвачено читателями, а позднее неоднократно цитировалось историками литературы как сжатая и меткая характеристика, данная Достоевским идейному конфликту внутри демократического лагеря, который представляли в журналистике шестидесятых годов «Современник» и «Русское слово». Между тем — и это оставалось незамеченным — сам Достоевский в «Щедродарове» придал словам «раскол в нигилистах» совершенно иной смысл. А именно: полемику между «Современником» и «Русским словом» он изобразил не как столкновение двух различных направлений демокра-

роны дела» в вымышленном Щедриным диалоге, который ведут члены редакции и ближайшие сотрудники «Эпохи». Но, во-первых, эти черты свойственны не только карикатуре, а во-вторых, адекватность действительности сатирического вымысла Щедрина засвидетельствовал не кто иной, как Достоевский. Да и не сам ли Страхов в вышецитированных воспоминаниях удостоверил справедливость одного из крайних «преувеличений» сатирика?

Неправильно также характеризует критик «Эпохи» полемические выступления Достоевского и Щедрина, указывая далее, что «Щедродаров», «подобно «Стрижам», заключал в себе намеки на чисто личные отношения». Это утверждение неверно потому, что в статье Достоевского взаимоотношения Щедродарова и редакции «Современного» представлены в совершенно обнаженном виде. Что же касается «Стрижей», то лишь в одном месте Страхов мог усмотреть в них подобного рода намеки. Мы имеем в виду вопрос «Стрижа первого», обращенный к «Стрижу второму»: «Ведь вы очистились?», и ответ последнего: «Принес покаяние и получил прощение». Каково было фактическое основание этих реплик, мы узнаем из позднейших воспоминаний Страхова. После закрытия «Времени» он обратился с письмом к Каткову, в котором разъяснил благонамеренный смысл своей статьи по полемическому вопросу. Вместе с тем он просил редактора «Московских ведомостей» снять с него обвинение в полонофильстве, неправильно приписанное ему сотрудником этой газеты. Катков выступил в другом своем органе — «Русском вестнике» — с «объяснением», сводившимся к тому, что им «решительно отвергались и опровергались все положения» статьи Страхова, «но вместе столь же решительно утверждалась и доказывалась ее невинность». В остальном «Стрижи» строго выдержаны в духе пародии на произведения, опубликованные в «Эпохе», причем злая меткость индивидуальных характеристик писателей-«почвенников» сочетается в этой литературной пародии с враждебно-отрицательным отношением к «почвенничеству» как идеологическому направлению.

тической общественной мысли, а как журнальную «катастрофу», разразившуюся единственно по вине Щедрина, который выступил против радикалов *наперекор* программным установкам «Современника» и *вопреки* желанию редакции этого журнала¹. Такое истолкование нашумевшего спора было акцентировано Достоевским и в самом заглавии статьи: «Господин Щедрин, или раскол в нигилистах». Но читатели и позднейшие комментаторы этого полемического выступления игнорировали интерпретацию Достоевского, не имевшую ничего общего, как это вскоре выяснилось на деле, с действительным положением вещей. Следовательно, в данном случае мы встречаемся с историческим примером, наглядно удостоверяющим, какую широкую известность может иногда получить литературная характеристика только потому, что ей придают совсем не тот смысл, который вложил в нее сам автор.

Благодаря своему истолкованию «раскола в нигилистах» Достоевский имел возможность изобразить «бунт» Щедродарова. А это привело к такому «преувеличению смешной стороны дела», которое соответствовало полемическому замыслу автора «романа-карикуры». Прежде всего Щедродаров признал, что он возвел на Достоевского напраслину и задним числом воздал хвалу журналу «почвенников» «Время». Затем он охарактеризовал себя и свою литературную деятельность в «Своевременном» теми же словами, которыми сам Достоевский обличал Щедрина. И, наконец, в «бунтарских» тирадах, адресованных «Своевременному», Щедродаров произнес то, что Достоевский думал сказать о направлении «Современника».

В последнем пункте редактор «Эпохи» пошел гораздо дальше заявленного им годом раньше, в статье «Опять «Молодое перо», помещенной во «Времени». Достоевский косвенным образом дал понять, что членов новой редакции «Современника» он причисляет к «хлебным свистунам», и пригрозил «поминутно разворачивать их муравейник». В «Щедродарове» же Достоевский открыто высказал свою глубокую антипатию к «Современ-

¹ Именно такой взгляд высказал Достоевский в следующей неопубликованной заметке, относящейся к полемике Щедрина с «Русским словом»: «Щедрин о вислоухих прислуживателях, но главное он не подозревал, что написал на Современник же» (ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 3, стр. 75).

нику», отрицая какие-либо положительные черты в его направлении. Как краеугольный камень этого направления он выставил «брюхопоклонничество», а в качестве следствий отсюда вывел презрение к искусству, к нравственным идеалам и пренебрежение историческим ходом вещей. «Обоснование» такой характеристики дано в записи Достоевского, которая здесь воспроизводится впервые:

«Человек, когда узнает свой интерес, перестанет и т. д. Прекрасная фраза. Но тут именно забыт ответ на ясно поставляющийся сам собою вопрос: что такое свой интерес и в чем он состоит.

Они разом решили: всеобщее материальное богатство. Этот пункт у них бесспорный и даже не требует разрешения. В Белой Арапии¹ это поставлено идеалом.

Для этого нужно бы всем смириться и согласиться жить в обществе, весьма похожем на муравейник. Но так как они предчувствовали, что им возразят: что человек не согласится столько пожертвовать — то они прямо ударились в нигилизм и стали отрицать человеческие чувства, душу, религиозность, искусство, свободу — все, отрицать, как мальчишки, не давая никаких решений и, следовательно, шиш в беспредельное пространство»².

Эти рассуждения Достоевского позволяют сделать такой вывод: он выступает в «Щедродарове» против новой редакции «Современника» потому, что она разделяет социалистические взгляды Чернышевского. Еще раз подчеркивают этот «подтекст» полемического выступления Достоевского его неопубликованные заметки, относящиеся к 1864 году. Среди них характерна, например, следующая запись:

«Белоараповцы не замечают, что социализм вовсе не обязательно общечеловечен, что идеал общечеловечия вовсе не тот (а христианск.), что социализм только есть органический продукт Западной жизни и всех противуречий ее. Учение белоараповцы принимают, а то, из чего

¹ Ироническое прозвище, данное Ап. Григорьевым роману Чернышевского «Что делать?» в статье «Отживающие в литературе явления» («Эпоха», 1864, июль).

² ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 3, стр. 74. Последние слова заимствованы из полемической статьи, помещенной в июньской книжке либеральных «Отечественных записок» 1864 года. Там сказано, что нигилист «свои незлобивые и отчасти даже милые шиши, посылаемые в беспредельное пространство, считает разрушительными граватами».

произвошло оно (т. е. почву, органическое начало этого учения), отвергают. Ведь только на Западе и только на одном Западе могло оно явиться. Форма социальных стремлений, форма рисующегося вдаль для России идеала должны быть не те, а наши, собственные наши, органический наш продукт. Хоть кол теши, не понимают. «Хоть бы кто из мертвых восстал, и того не послушают»¹.

И тут же, под впечатлением полемической схватки с публицистом «Современника», Достоевский формулирует вывод, который как лейтмотив позднее прозвучит в «Бесах»:

«Это и должно было тем кончиться, дальше уж им нечего говорить; они кончили, как кончили все барики, потому что это барики (*quelques gentilhommes, que se sont occupés de la littérature*). Белая Арапия барская затея. А с Белой Арапией все сказано; дальше некуда, — в безвоздушное пространство. Это остатки прежнего либерализма, имевшего свой исторический склад, но совершенно отжившего и присутствующего еще в огромной массе отживших людей, ходячих трупах, свободных от земли, отставших и никуда не приставших, которые представляют из себя вялое пошлое поколение наших шатающихся даром лишних людей»².

Эта характеристика поясняет смысл восторженного ответа Достоевского на отзыв А. Н. Майкова о первой части «Бесов». Вот что писал ему Достоевский 2(14) марта 1871 года из Дрездена:

«Вообразите, что я уже получил несколько писем из разных концов с поздравлениями за первую часть. Это ужасно, ужасно ободрило меня. Но без лести к Вам, прямо говорю: Ваш отзыв для меня больше всего стоит. Во-1-х) Вы уже не польстите мне, а во-вторых, у Вас, в отзыве Вашем, проскочило одно гениальное выражение: «*Это Тургеневские герои в старости*». Это гениально! Пиша, я сам грезил о чем-то в этом роде; но Вы тремя словами обозначили все, как формулой»³.

Так протягивается нить от записей Достоевского, вызванных его полемикой с Щедриным, к «грезам» автора «Бесов». Эта связь идей позволяет проследить общее на-

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 3, стр. 140.

² Там же; стр. 73.

³ Ф. М. Достоевский, Письма, т. II, стр. 333. (Курсив Достоевского.)

правление идеологической эволюции Достоевского и высказать одну частного свойства догадку. Не исключено, что самому памфлетичному заглавию «Бесы», которым Достоевский выразил идею своего романа, он придал не только широкое политическое значение, но и более узкий полемический смысл. Как мы помним, по поводу «Зимних заметок о летних впечатлениях» Щедрина саркастически отозвался, что автор писал их в состоянии «одержания бесами»... Эта же тема легла в основу полемического ответа сатирика на «Щедродарова».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

На «Раскол в нигилистах» Щедрин отзывался несколько раз, но по не зависящим от него причинам в свое время был опубликован только первый его ответ, и притом частично. При каких обстоятельствах произошло последнее, стало известно много десятилетий спустя, когда в печати появилось письмо секретаря редакции «Современника» А. Ф. Головачева, адресованное Некрасову.

«Из полученной уже, вероятно, Вами Июльской книжки Современника, — сообщал Головачев 25 августа 1864 года, — Вы увидите, что ответ «Эпохе» написан Антоновичем; ему принадлежат статьи «Литературные мелочи» и «Стрижам», — в последней только первая страница взята из статьи, присланной Салтыковым. Не знаю, как эти статьи Вам понравятся, — мне они положительно не нравятся; особенно должны они не нравиться тем, кто не читал нападков Эпохи на Щедрина; об этом я говорил Антоновичу»¹.

Тон и содержание этого сообщения позволяют думать, что Некрасов раньше был осведомлен Антоновичем о выработанном им плане похода против «Эпохи» и санкционировал его. Но из письма Головачева нельзя заключить, как отнесся Щедрин к вмешательству Антоновича в его спор с Достоевским. Однако, судя по отзыву сатирика о позднейшей полемике того же Антоновича с

¹ «Архив села Карабихи», М. 1916, стр. 95.

«Русским словом», можно не сомневаться, что это отношение было отрицательным. По его ироническому замечанию, Антонович «отправным пунктом полемики между «Современником» и «Русским словом» поставил то положение, что г. Благовестлов имеет обыкновение спать в лакейских на барских шубах»¹. Разумеется, Щедрина коробило не от резкости тона Антоновича, — когда этого требовала принципиальная постановка вопроса, он сам был чрезвычайно резок в своих суждениях и характеристиках; его неприятно поражало другое — явный недостаток внутреннего такта, что сильно огрубляло приемы ведения спора и наносило заметный ущерб защите правого дела. Антонович же, напротив того, полагал, что ограничение Щедриным его спора с Достоевским строго принципиальными рамками является потачкой и поощрением противнику, что автор «Щедродарова» должен «попробовать на собственной спине прелесть своих полемических приемов».

«Известна та несомненная истина, — писал Антонович в статье «Стрижам», — что в полемике очень выгодно закрывать свое лицо... но еще выгоднее притянуть противника к спору лично; в то время, когда он поражает какую-то неопределенную, безличную личность, его самого бить прямо по лицу, осыпать остротами его собственное имя. Эту истину понял, к удивлению, и г. Достоевский... Понял и всегда построил на ней свою полемику... Ему не отвечают его манерою, потому что не хотят, а он воображает — потому что не могут, и еще сильнее укрепляется в своей манере... Мне кажется, пора же, наконец, положить этому предел, показав стрижам, что их полемические приемы... обоюдоострое оружие, которым уже давно можно было бы побить всех стрижей, если б у кого-нибудь достало духу постоянно разить их этим оружием»².

С целью выставить Достоевского перед читателями «Современника» в особо смешном виде Антонович тут же заявил, что его яростные личные нападки в «Щедродарове» направлены не по адресу, так как «драматическую быль» «Стрижи» писал не Щедрин, а он — «Посторонний сатирик». Эта мистификация наряду с прямыми обвинениями в измене прежним взглядам, в «вилянии»

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VIII, стр. 355.

² «Современник», 1864, июль, стр. 155.

перед Катковым и злорадстве над «беспорядками» в редакции «Современника», возникшими вследствие смерти Добролюбова и ареста Чернышевского, смутила и взволновала Достоевского. В первый момент ему показалось, что статью «Стрижам» писал сам Щедрин, для отвода глаз прикрывшись псевдонимом «Посторонний сатирик». Такое подозрение высказано Достоевским в следующих неопубликованных записях:

«Современнику

Ведь он опять солгал. Если когда-нибудь окажется, что это он написал *Стрижей*, значит он опять солгал. А лгать подло. Оставляю его при его совести. В положение это вы поставили себя и навек себя замарали, Музовкина, у вас враги и все личные, у вас нет литературных врагов, у вас все личные»¹.

И далее:

«Современнику

...И до чего вы дошли: две статьи разом, в одном номере *двумя* авторами! Даже скрыть не умели, как вы раздражены!»²

Однако в своем печатном ответе «Современнику»³ Достоевский отозвался о «Постороннем сатирике», что не знает, «кто он именно», но, кроме того, заметил, что «чрезвычайные статьи», опубликованные в июльском номере некрасовского журнала, появились, «очевидно, в отместку» за его последнее выступление против Щедрина. Этим указанием Достоевский признал «Щедродарова» своим произведением (ответив таким образом на разоблачение его анонима Антоновичем) и вместе с тем, может быть, невольно навел читателей на мысль, что июльские статьи в «Современнике» написаны «в отместку» самим Щедриным. Такая версия, повидимому, получила известное признание; по крайней мере даже тридцать лет спустя А. Волынский в книге «Русские критики» утверждал, что автором всех полемических статей против Достоевского в «Современнике» был не кто иной, как Щедрин. Исходя из этого ложного взгляда, Волынский поставил ему в вину, что он унизился до насмешек над падучей

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 4, стр. 144. Музовкина — персонаж из «Губернских очерков» Щедрина, тип кляузницы.

² Там же, стр. 146. (Курсив наш. — С. Б.)

³ Федор Достоевский, Необходимое заявление, «Эпоха», 1864, июль.

болезнью Достоевского, нажитой им на каторге, и позволил себе ряд других непристойных выходок, вплоть до площадной ругани по адресу своего оппонента.

На «полемических красотах» Антоновича остановился в печатном ответе, озаглавленном «Необходимое заявление», и Достоевский, дав им в спокойном тоне суровую оценку. Но этим собственно он и ограничился, отказавшись высказаться по существу обвинений, которые были предъявлены ему в «Литературных мелочах» и в статье «Стрижам». «Лично же против меня употреблено столько сплетен,— писал Достоевский, касаясь данного вопроса,— что отвечать на это мне нет уже никакой возможности»¹.

Характеризуя «Необходимое заявление», автор книги «Русские критики» подчеркнул, что Достоевский в нем «не проронил... ни единого резкого слова, ни одной сатирической колкости». И далее он так объяснил причину необычной сдержанности Достоевского в полемическом выступлении: «Пережитое им в это время потрясение,— писал А. Волынский,— почти неожиданная смерть брата — произвело на его мучительно взбудораженную душу потрясающее и вместе с тем просветляющее действие». И теперь он уже «не горячится, не хлещет прежними бичами», а «шлет своим противникам ответ, озаренный грустной улыбкой»².

Неопубликованные записи Достоевского, однако, показывают, что его душевное состояние в тот момент, когда он подготавливал свой ответ «Современнику», было меньше всего проникнуто чувством умиротворенности. И совершенно иное впечатление, произведенное его печатным ответом, объясняется только одним: он ни словом не обмолвился в нем — отчасти по цензурным условиям — о том, что его чрезвычайно тогда волновало. Мы уже выше сказали, какие обвинения принципиального характера были выдвинуты лично против Достоевского в июльских статьях «Современника». Отвести эти обвинения, доказав их несостоятельность, и ставил себе целью Достоевский в первоначальных набросках своего ответа.

Один из таких набросков посвящен Добролюбову и Чернышевскому. Здесь мы читаем:

«А вы и рады». Мне жаль их как людей и литераторов. Про это мы и говорить не будем. В этом отношении

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 344.

² А. Волынский, Русские критики, стр. 417.

меня знают хорошо другие люди, люди *честные*, М. Г., и мне говорить с *вами* об этом, значит унижать себя»¹.

К этой же теме Достоевский возвращается и в следующем отрывке:

«Вам нельзя со мною об этом говорить. Да и я не буду с вами об этом говорить. Об этом другие могут свидетельствовать.

Вы хотите говорить обо мне лично. Вы проиграете.

Я жалею о безвременно умершем Добролюбове и о других — и лично и как о писателях. Но из этого сожаления не скажу, чтоб они не вдали»².

Другой обвинительный пункт касался отношения Достоевского к реакционному лагерю, и этому вопросу он уделяет особое внимание. Тревожное состояние его духа раскрывается в приподнятом тоне нижеследующей записи:

«Во мне много есть недостатков и много пороков. Я оплакиваю их, особенно некоторые, и желал бы, чтоб на совести моей было легче. Но чтоб я вилял, чтоб я, Федор Достоевский, сделал что-нибудь из выгоды или из самолюбия — никогда вы этого не докажете и факта такого не представите. Вы меня вынудили сказать это. Вы лично меня называли, вы лично напали на меня. Не перед вами я это говорю, я бы не стал унижаться, а перед печатью. С гордостью повторяю это, не стану защищать себя фактами. Об этом другие за меня засвидетельствуют, что я не предал — за выгоду, на это есть фактические доказательства, и желаю, чтоб вы о себе то же могли представить. А между тем неизвестно даже, кто вы такой? А между тем вы своим изменяли (когда на нас клеветали, что мы просили прощения). Ведь чем тогда вы маскировались?»³

Последние слова, направленные против вышеприведенного намека в «драматической были» «Стрижи»⁴,

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 4, стр. 141. (Подчеркнуто в подлиннике.)

² Там же, стр. 144.

³ Там же, стр. 141.

⁴ В июльских статьях «Современника» этот намек на оправдательное письмо Страхова к Каткову (связанный с известным нам ироническим вопросом Щедрина, адресованным редакции «Эпохи») фигурировал уже как прямое обвинение против Достоевского лично. Словом «тогда» и собирательным обозначением «на нас клеветали» Достоевский дал понять, что имел в виду более ранний полемический выпад против «почвенников» — в «драматической были» «Стрижи».

показывают, что в пору написания этой заметки Достоевский продолжал считать Щедрина одним из авторов, обрушившихся на него в июльском номере «Современника», и обращался в ней к нему (хотя, как и в печатном ответе, указал, что ему неизвестно, кто он такой). Заслуживает также быть отмеченным то обстоятельство, что полемический намек Щедрина в «Стрижах» Достоевский квалифицировал как «измену своим», тем самым подчеркнув, что «почвенники», несмотря на принципиальные разногласия с «Современником», считают «Эпоху» не менее передовым органом, чем Некрасовский журнал.

В другой заметке на ту же тему мы читаем:

«Вы подкрепляете свои свидетельства тем, что меня знаете. Если это не ложь, призовемте третейский суд и тогда явитесь на него; и докажете, что вы во-1-х) меня видели в смешном положении, что я вилял когда-нибудь из выгод, чтоб я писал о честности, будучи вором, и будучи вором спекулировал бы на либерализм и на народные слезы, что я брал на прокат псевдонимы, и наконец что на меня можно кому-нибудь плюнуть. Вспомните Кречинского. Он именно говорит о плевках. Чтоб с вами того не случилось. Докажете, что я не честный литератор, и посмотрим, что скажет третейский суд»¹.

Намерение Достоевского сделать свой спор с «Современником» предметом третейского разбирательства, до сих пор остававшееся неизвестным, свидетельствует о чрезвычайно сильном впечатлении, которое произвели на него июльские статьи в Некрасовском журнале. В этом возбужденном состоянии выдвинутые против него обвинения представлялись ему в крайне преувеличенном виде. Так, никто не заподозревал его, что он «предал из выгоды» или «вилял» из корыстных побуждений, равно как в полемических статьях «Современника» не содержится и намек на то, будто он «писал о честности, будучи вором, и, будучи вором, спекулировал... на либерализм». В этой части опровержения звучат скорее как встречные обвинения, адресованные оппоненту. Но в цитированной заметке уже чувствуется неуверенность Достоевского, что статью «Стрижам» писал Щедрин. Неуверенность эта выражена в его сомнении, действительно ли лицо, скрывшееся под

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 4, стр. 143.

псевдонимом «Посторонний сатирик», знакомо с ним,— в отношении Щедрина такое сомнение не могло бы у него возникнуть¹. Что затем он окончательно разубедился в справедливости своего первоначального подозрения, видно из следующей записи, обращенной к «Постороннему сатирику»:

«— Только Стрижей не вы писали, в Стрижах есть веселость. А что, если вы солгали?»²

II

Сообщение Головачева Некрасову, что в «послании» Антоновича «первая страница взята из статьи, присланной Салтыковым», объясняет, почему Достоевский мог заподозрить принадлежность этого «послания» сатирику. В целом статья Щедрина не дошла до нас; сделанное же из нее извлечение выдержано в полемическом тоне, не предвещающем последующих личных нападок Антоновича на Достоевского. В своем ответе на «Раскол в нигилистах» Щедрин обращается к членам редакции «Эпохи», никого из них не выделяя в частности.

«Я понимаю ваше огорчение,— пишет он.— До сих пор вы жили довольно покойно; хотя читатель и видел, что в вас есть что-то уморительное, что вы пропагандируете отчасти розовую магию, отчасти столоверчение, но как назвать это уморительное, какое имя присвоить его усердным производителям, не знал или затруднялся. Вас называли *почвой*, но это было слишком много и серьезно для вас, потому что вы не стоили и такого названия; затем называли вас «птицами», сидящими в роще и мирно толкующими, но это было слишком неопределенно, потому

¹ В записной книжке Достоевского рядом с вышецитированной заметкой помещен отрывок, в котором впервые упомянуто имя Антоновича:

«О Тургеневе.

Но ведь то, что написал г. Антонович, было слишком глупо, даже и для г-на Антоновича».

Достоевский имеет здесь в виду критическую статью Антоновича об «Отцах и детях» Тургенева. Во втором выступлении против «Современника» («Чтобы кончить», «Эпоха», 1864, сентябрь) Достоевский упомянул об этой статье в таком контексте, из которого можно было заключить, что теперь он уже знает, кто затеял с ним личную полемику.

² ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 4, стр. 140.

что птицы бывают разные, даже умные и полезные, к коим вас, конечно, нельзя причислить. Весь мир затруднялся, какое имя дать вам; я вывел его из затруднения: «это стрижи», сказал я, и все стало ясно. Ясно не только для читателя, но и для вас самих. Теперь ни один из вас по улице не может пройти, чтоб не услышать кругом досадного возгласа: «а это вот стриж идет». Теперь ни одному из вас нельзя посмотретья в зеркало, чтоб не сказать себе: «в этом зеркале я вижу стрижа». Сознаюсь, это положение горькое, и хоть кого, даже каменного человека, оно может подвинуть на кровную месть тому, кто поставил его в такое положение, — и вы решились отомстить»¹.

На этой фразе, по указанию Головачева, заканчивается текст Щедрина в статье «Стрижам». Тема же места «стрижей» развивается в другом, позднейшем его ответе, который лишь сравнительно недавно стал известен, — в рукописном отрывке, начинающемся словами: «Но если уж пошла речь об стихах...» В нем уже содержится и отклик на «Необходимое заявление» Достоевского, где последний признал себя автором «Щедродарова». И по тому, как реагирует Щедрин на это признание, видно, насколько неприемлемой для себя он считает личную полемику даже в том случае, когда противник настойчиво вызывает на нее. Упомянув, что в последнее время им «много занимались стрижи», Щедрин затем говорит: «Один из них (впоследствии он назвал себя, но я все-таки не хочу повторять здесь его имя, до того презрителен и недостоин названия его поступок) написал даже целый роман, в котором пошлым и клеветническим образом изобразил мои отношения к редакции «Современника»². Этой короткой репликой Щедрин исчерпывает свои объяснения с автором «Щедродарова», и, касаясь «сатирического романа» в дальнейшем, он обращается уже ко всей редакции «Эпохи»:

«Что же вы сделали, чтоб отомстить за причиненную вам обиду? Вы позаимствовались комками грязи, кинутыми в меня «Русским словом», вы разузнавали бог весть каким путем (а всего вероятнее, через служителей) о том, что происходит в редакции «Современника», и из всего

¹ «Современник», 1864, июль, стр. 154.

² Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VI, стр. 480.

этого устроили целую лохань помоев, которыми облили — верьте, не меня, а своих читателей»¹.

Причины обиды или огорчения редакции «Эпохи» изложены здесь более полно, нежели в цитированном выше фрагменте.

«Вы обиделись, во-первых, тем,— пишет Шедрин,— что я в кратких словах изобразил всю вашу сущность... и, во-вторых, тем, что я никак-таки не хочу разговаривать с вами серьезно».

«Я очень хорошо понимаю, чего вам от меня хочется. Вам хочется, чтоб я по душе с вами потолковал, чтоб я всякую вашу нелепость посмаковал, взвесил и обсудил... Но это невозможно... Я несколько раз принимался за вас, с целью ежели не определить, то, по крайней мере, угадать, о чем вы толкуете, но усилия мои постоянно оставались без успеха. Не думайте, чтоб это происходило оттого, чтобы я не мог понимать то, что действительно понятно, а знайте, что причина такого явления заключается в совершенной сумбурности вашего щебетания... Повидимому, вы хотите усвоить себе славянофильские воззрения, но усваиваете только помои этого воззрения, и ни один славянофил, конечно, не взглянет на вас без сожаления. Вы суетитесь, хлопочете, топчетесь, желаете что-то учинить, но в результате оказывается лишь крошечная литературная погадка. Виноват, оказывается и еще нечто — это хорошее, кроткое ваше поведение, засидетельствованное «Московскими ведомостями». Так знаете ли вы теперь, почему я не могу по душе потолковать с вами? Потому, что не о чем толковать»².

В своем ответе Шедрин раскрывает мистификацию Антоновича, из чего можно заключить, что он не одобрял ее и не желал быть заподозренным как соучастник в ней. Это высказано им в следующем полемическом заявлении:

«Современник» вас обманул, стрижи! Статью «Стрижи, драматическое представление» писал действительно я, хроникер «Современника», а не «Посторонний сатирик». Я не только не имею желания скрывать от вас этого (впрочем, и скрывать было бы бесполезно, потому что вы слишком исправных имеете вестовщиков, от подслушиваний и подглядываний которых никаким манером не

¹ Н. Шедрин (М. Е. Салтыков), т. VI, стр. 483.

² Там же, стр. 481—482.

убережешься), но даже в особую себе заслугу вменяю это писание, ибо в сем маленьком произведении искусным образом заключено все ваше мирозозерцание»¹.

Можно думать, что это заявление явилось причиной того, что второй ответ Щедрина не был напечатан в «Современнике»². В полемике с «Эпохой» Антонович зашел так далеко, что раскрыть его мистификацию редакция, очевидно, не решилась из опасения ослабить занятую им позицию. Вероятно, по этой же причине не появилась в «Современнике» и статья Щедрина, озаглавленная «Гг. «Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха»»³. Она стала известна читателям лишь в 1908 году, когда Антонович опубликовал ее в журнале «Минувшие годы». Статья эта как раз и начинается с указания Щедрина на то обстоятельство, что он «до сих пор не отвечал ни одним словом» на «Щедродарова» и что в продолжение своей работы в «Современнике» выступал против «почвенников» «всего два раза» (то есть в «Тревогах «Времени» и в «Стрижах»). Детальным уточнением этого вопроса Щедрин преследовал ту же цель, какую имел в виду достигнуть цитированным выше заявлением, — он стремился опровергнуть полемический вымысел Антоновича и рассеять подозрение, что статья, подписанная псевдонимом «Посторонний сатирик», принадлежит ему, автору «Стрижей». Вслед за тем Щедрин определяет характер своей полемики с «почвенниками» и квалифицирует последний ответ Достоевского в таком противопоставлении:

«Я отнесся к вам в художественной форме; я заставил вас говорить самих за себя... И, заметьте, я ни одним словом не оскорбил ни всех вас в совокупности, ни кого-либо из вас в частности... я просто имел в виду наглядно и безразлично изобразить вашу журнальную сущность, ваше журнальное мирозозерцание... Однако вы оскорбились... вы выпустили на мой личный счет целую эпопею

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VI, стр. 481.

² Наше предположение косвенно подтверждается тем фактом, что полемическая статья Щедрина «Журнальный ад», не содержащая подобного заявления, была принята к напечатанию редакцией «Современника». Статья эта не появилась в журнале вследствие цензурного запрета.

³ Такое обращение объясняется тем, что после смерти М. М. Достоевского на обложке «Эпохи» печаталось: «Журнал, издаваемый семейством М. Достоевского».

под названием «Щедродаров, или раскол в нигилистах»... Говорю, положив руку на сердце, упражнение это нимало не оскорбило меня. Прочитавши его, я ощутил только чувство глубочайшего омерзения к перу, излившему заразу такую массу непристойной лжи, и в то же время мне показалось, что я наступил на что-то очень ехидное и гадкое*. Столько лжи, клевет и самых недостойных сплетен, пущенных в упор, в виде ответа на оценку, быть может и резкую, но все-таки чисто литературного свойства,—воля ваша, а это уж слишком игриво!»¹

Резкость этого отзыва подчеркивается сдержанностью тона, в котором он написан. Однако было бы ошибочным отсюда заключить, что Щедрин равнодушно отнесся к личным нападкам на него в «Щедродарове». То, что он не откликнулся в печати на выступление Достоевского, как мы знаем теперь, произошло вопреки его намерениям. Можно только констатировать, поскольку нам известно содержание его ответов, что он не касался в них личности своего идейного врага. Но чем строже воздерживался Щедрин от личных выпадов в прямых полемических высказываниях, тем острее он оттачивал испытанное «оружие смеха», чтобы выразить свое непримиримое отношение к идеологии Достоевского, раскрывая характеры героев его произведений в образной форме литературной пародии. В этом жанре сатирик создал портрет «Девушкина, сидящего в сатанах», который вдумчивый исследователь Щедрина, покойный В. В. Гиппиус, по достоинству оценил, как «блестящий художественный образ, один из замечательных примеров салтыковского образно-словесного творчества»².

Замысел сатирика представить автора «Бедных людей» и «Записок из подполья» в образе «Девушкина, сидящего в сатанах», наметился уже в «драматической были» «Стрижи». Пародируя там литературную манеру критика «Эпохи» Аполлона Григорьева, Щедрин вложил

* Прошу многоуважаемого Ф. М. Достоевского (так как он впоследствии сознался, что статья эта написана им) извинить резкость моих выражений; я полагаю, он сам поймет, что статья его не заслуживает и не может заслуживать иного отзыва. (*Прим. Салтыкова.*)

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VI, стр. 484—485.

² В. В. Гиппиус, Новые материалы по журнальной полемике Щедрина с «Русским словом» и «Эпохой» 1864 г. — «Литературное наследство», № 11—12, стр. 106.

в уста «Стрижа третьего» такую взволнованную, полную неожиданных сопоставлений тираду по поводу «Записок о бессмертии души» (то есть «Записок из подполья»): «Это... это, так сказать, албинизм мысли... тут что-то седое... да! С одной стороны, потрясающее *fugioso*, с другой — сладостное *cantabile*. С одной стороны, демоны увлекают Дон Жуана в ад; с другой стороны — за сценой раздаётся «По улице мостовой»... страшно, страшно!» Эти причудливые контрастные ассоциации, окрашенные полумистической восторженностью, Щедрин переводит в новой пародии из плана комического в сатирический. Неясные ощущения уступают место резко очерченной обстановке и яркому образу. Эта обстановка — «журнальный ад» — изображается так:

«В нем горят неугасимые огни, которые никогда никого не опалили; в нем бегает из угла в угол комолая и бесхвостые черти, которые никогда никого не уязвили...»

«В нем нет обязательного лизания раскаленных сковород, но есть толчение воды, в нем нет железных клещей, вынимающих ребра, но есть витие из песку веревок, в нем нет огненных орлов, прилетающих клевать сердца грешников, но есть бестолковая птица стриж, которая может в одну минуту напакостить столько, сколько во всю жизнь не напакостить самому расстроенному желудком орлу...»¹

На фоне «журнального ада», обрисованного в таких же тонах, как в «Стрижах» изображена обстановка «Записок из подполья» («мир не фантастический, но и не живой, а как будто кисельный»), возникает образ его владыки — «слепенького, пыжащегося сатаненка»: «Представьте себе Девушкина, сидящего в сатанах! Вместо пламени, из глаз его лезет гной; вместо змсиной короны, на голове у него колтун; вместо яда, уста источают поmoi. «Матинька вы моя! Простите вы меня, что я так кровожаден. Матинька вы моя! Я ведь не кровожаден, а должен только показывать, что жажда убийства не чужда душе моей, матинька вы моя! Я бедный сатана, я жалкий сатана, я дрянной сатана, матинька вы моя!..» Так непрерывно вопиет этот прокаженный вельзевул, и, несмотря на свои немощи, несмотря на то, что весь так и пропитан попрошайством и лизоблюдничеством, все-таки

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VI, стр. 471 и 479.

лезет в драку: я, дескать, исправляю должность сатаны»¹.

Две черты характеризуют «Девушкина, сидящего в сатанах»: безропотная покорность судьбе, доходящая до самоуничтожения, и бессильная злость, подстрекающая к бесплодному протесту, «бунту на коленях». В комментариях к «Журнальному аду» В. В. Гиппиус уже отчасти выяснил, какие места в «Бедных людях» и «Записках из подполья» мог использовать Щедрин, пародируя «общий смысл и стиль характерных реплик героев Достоевского»². Макар Алексеевич Девушкин писал Вареньке: «Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смиренный человек, потому что я маленький человек»³. В другой раз он охарактеризовал себя так: «Маточка моя, я не зол и не жестокосерден; а для того, чтобы растерзать сердечко ваше, голубка моя, нужно быть не более, не менее как кровожадным тигром, ну, а у меня сердце овечье, и я, как вам известно, не имею позова к кровожадности»⁴. Герой «Записок из подполья» говорит о себе вызывающе: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек». Но тут же он делает следующее характерное признание: «Да в том-то и состояла вся штука, в том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуты самой сильнейшей жолчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу»⁵.

Сравнением этих отрывков с «Журнальным адом» устанавливается, по какому признаку Щедрин сочетал в пародийном образе контрастные характеры смиренного Макара Девушкина и ожесточенно-желчного человека из подполья. Но это сравнение не объясняет, почему он изобразил «подпольного» человека «слепеньким, пыжащимся сатаненком», иначе говоря, не раскрывает самой сущности сатирического замысла. Между тем такой замысел возник у Щедрина не произвольно, а явился

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VI, стр. 471.

² «Литературное наследство», № 11—12, стр. 140.

³ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. I, стр. 40.

⁴ Там же, стр. 77—78.

⁵ Там же, т. IV, стр. 109, 110.

образным выражением его критической оценки знаменитого *credo* «подпольного» человека. Мы имеем в виду наиболее патетическое место в монологе героя «Записок из подполья», где он восстает против социалистов-утопистов, «любителей рода человеческого», желающих устроить жизнь людей на разумных, выгодных для них основаниях. Подобную жизнь он объявляет противной человеческой природе, утверждая, что «человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать не так, как повелевали ему разум и выгода», а вопреки им, и тем самым утверждал свободу собственной воли, которая исключает «хотенье по табличке», превращающее индивидуальность в «органный штифтик». Ибо, «что же такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале?» — в вопрошающей форме поясняет свою мысль герой Достоевского. Вот почему, победоносно провозглашает он, человек, которому всего дороже «свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия», решительно отвергнет жизнь без страданий, «экономическое довольство» и «нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент». В этом месте речь героя Достоевского становится исступленно-угрожающей. Он говорит:

«А в том случае, если средств у него не окажется,— выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем! Проклятие пустит по свету... Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так что уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свое,— так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем! Я верю в это, я отвечаю за это, потому что все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством, да доказывал»¹.

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. IV, стр. 128.

Эти рассуждения героя Достоевского, забившегося в нору и оттуда проклинавшего разум, а самой возможности разумной, счастливой жизни на земле угрожавшего разрушением и хаосом во имя страдания, якобы необходимого человеку для сохранения его свободной личности, и охарактеризовал Щедрин, как жалкую и смешную выходку «слепенького, пыжащегося сатаненка», который возомнил, что он «исправляет должность сатаны».

Но, помимо образной характеристики человека из подполья, сатирик дал еще — что до сих пор тоже не было отмечено в литературе — публицистическую оценку его позиции. Такая оценка, без упоминания о повести Достоевского, содержится в одной из общественных хроник Щедрина, как и «Журнальный ад», запрещенной цензурой в 1864 году и впервые опубликованной семьдесят лет спустя.

«Протестовать своими боками, — писал Щедрин в этой хронике, — дело очень нетрудное, но в то же время и совершенно невыгодное... Это простое наследие или рабства, или дикости, или такой цивилизации, которая растлена в самых своих источниках...

Протесты такого рода с особенной силою сказываются в такие моменты жизни обществ, когда эти последние находятся под влиянием напряженного возбуждения... Одни протестуют во имя воспоминаний прошлого, другие — во имя предчувствий будущего... И в том и в другом случае источник протеста — упразднение известных жизненных форм, которые долгое время безраздельно царили над обществом, которым одна часть этого последнего бессознательно покорялась и из которых другая часть извлекала немаловажные выгоды.

В первом случае протест идет из среды людей, для которых упраздненные формы жизни были выгодны. Люди эти очень хорошо понимают, что время обладает способностью беспощадно и безвозвратно затягивать архивную пылью все, что однажды отмечено жизнью клеймом негодности, и что протестами своими они никому и ничему, кроме самих себя, ущерба учинить не могут, но тем не менее протестуют, потому что сердца своего унять не в силах... «Господи! уж хоть бы разорвало, что ли, меня поскорее!» — вопит человек, и в этих невинных воплях находит для себя утешение. Но если б он знал, какой веселый смех возбуждают они в окружающих!

Если бы он знал, что даже окрестность, неодоушевленная окрестность — и та улыбается, взирая на то, как он в порыве нелепой и бесплодной мести раздирает свои собственные внутренности!»¹

Как видим, Щедрин останавливается здесь лишь на *форме* протеста героя Достоевского. Анализируя на первый взгляд крайне вызывающее, бунтарское заявление последнего, что человек никогда не перестанет «хоть боками своими, хоть троглодитством» доказывать, что он не «органный штифтик», не бездушный автомат, а свободная личность, для которой всего важнее исполнение собственных желаний, будь то даже «самый дикий каприз», Щедрин обнаруживает во внешнем максимализме этого манифеста всего лишь бездейственный, пассивный протест. В данном случае его занимает эта тема потому, что цитированная статья целиком посвящена вопросу о необходимости активного участия в общественной жизни. Здесь он выступает против индифферентизма радикалов писаревской школы, которые устами Зайцева заявили, что в условиях правительственной и общественной реакции им «нечего больше делать», как «впадать в рефлексию и, сидя в трущобе, решать судьбы мира, который они видят в щелку». Сравнивая это заявление с позицией человека из подполья, Щедрин делает тот вывод, что писаревцы, в противоположность герою Достоевского, воодушевленные не «воспоминаниями прошлого», а «предчувствиями будущего», так же, как и он, ограничиваются «протестом своими боками», совершенно безвредным для ненавистного им порядка вещей, и «троглодитством»².

Что же касается идеологии героя Достоевского, выраженной в его враждебных социализму и материализму рассуждениях о человеческой природе, разуме и сознании, свободе воли и автоматизме, то Щедрин отнесся к ней не только отрицательно, но и с самым пристальным

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VI, стр. 348—351.

² Слово «троглодит» означает: дикий, «пещерный» человек и человекообразная обезьяна. Имея в виду второе значение этого слова, Щедрин в полемике с радикалами-писаревцами дал им прозвище «человекообразные». Выясненное нами применение этого прозвища у Щедрина опровергает высказанную в литературе ошибочную догадку, будто в нем заключался намек на пропаганду дарвинизма в «Русском слове». Несостоятельность такой догадки подтверждается тем, что кличку «человекообразные» сатирик применял и к представителям консервативного лагеря, далеким от пропаганды дарвинизма.

вниманием. Его интерес к «Запискам из подполья» еще резче подчеркивается тем фактом, что в шестидесятых годах это произведение Достоевского прошло не замеченным критикой. Во второй главе нашей работы показано, какую исключительную проницательность обнаружил Щедрин в определении подосновы хода мыслей «подпольного» человека, охарактеризовав повесть Достоевского, как «Записки о бессмертии души». Проникновенность этой характеристики, данной в «Стрижах», становится очевидной, если учесть, что к такому же выводу пришли исследователи творчества Достоевского только через тридцать лет после опубликования «Записок из подполья», когда литературное наследие знаменитого романиста можно было изучить уже во всем его объеме. Но еще до написания «Стрижей», сейчас же по напечатании в «Эпохе» первой части повести Достоевского, публицист «Современника» отозвался на нее в рассмотренной сейчас общественной хронике, а затем, после появления «Щедродарова», в статье «Журнальный ад».

Что образ «Девушкина, сидящего в сатанах», проникнутый гневной страстностью, был ответом на «роман-карикатуру» Достоевского, в этом не приходится сомневаться. Но неоднократное обращение Щедрина к «Запискам из подполья» было бы неправильно объяснять только узко полемическими мотивами. Такое истолкование опровергается тем, что и пять лет спустя, когда негодование Щедрина, возбужденное выступлением Достоевского, совершенно улеглось, он вернулся к занимавшей его идеологии «подпольного» человека. Как интерпретировал сатирик ее основные черты, мы стараемся выяснить во второй части нашего исследования путем анализа образа «Органчика» в «Истории одного города» и «дикого помещика» в одноименной сказке. Пока же остановимся на заключительных эпизодах первого этапа полемики Щедрина с Достоевским, ограниченного периодом 1863—1864 годов.

Обращаясь в статье «Журнальный ад» к литературной деятельности «почвенников», Щедрин писал:

«Надо сказать правду, стрижи первые сделали попытку, чтобы доказать, что можно мыслить без головы, с помощью одних крыльев. Здесь найдете вы и хныканье, и злобство, и сплетни, сплетни без конца; одного не найдете — дела. Стриж забывает самого себя; сию минуту он

говорил нечто, говорил изобильно, хотя и не резонно; через мгновение он все забыл,— забыл не только то, об чем говорил (этого-то, собственно, и упомнить нельзя), но и то, говорил ли он, или молчал. Он безразлично подбирает все негодные объедки, выбрасываемые из прочих журналов, и, не входя в разбирательство, могут ли они стоять рядом или не могут, пичкает ими свой безобразный винегрет. Причина такого безразличного пичканья заключается в совершенном отсутствии памяти и известном последствии этого отсутствия — невозможности делать сравнения, сопоставления и выводы. Стриж всему изумляется, по поводу всего раскрывает рот, ибо факты представляются ему изолированными и потому всегда новыми... Собственно, это даже и не литературная деятельность, а просто словесные упражнения, без подлежащего, сказуемого и связки...»¹

Эта характеристика интересна тем, что с ней перекликается один мотив в очерке-«романсе» Щедрина «Она еще едва умеет лепетать» из цикла «Помпадуры и помпадурши». В названном очерке, написанном почти одновременно с «Журнальным адом», выведен помпадур Феденька Кротиков², самовлюбленный, упивающийся звуками собственного голоса болтун, который угнетает своих подчиненных «языконеистовством». Основную особенность речей Феденьки Кротикина определил правитель его канцелярии, как речей «без подлежащего, без сказуемого и без связки». Рассказчик же от себя добавил: «С своей стороны, хотя я и согласен с мнением правителя канцелярии, но нахожу, что такого рода красноречие составляет истинное благополучие и положительный ресурс при нашей бедности. С помощью его можно администрировать, можно издавать журналы, можно даже написать целый ученый трактат». В сохранившейся рукописи очерка ясно выражена полемическая направленность этого замечания. После слова «журналы» там прибавлено: «Пример: стрижи, которые в течение трех лет издавали журнал, не произнеся ни одного подлежащего, ни одного сказуемого, ни одной связки», а вместо слов: «целый уче-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VI, стр. 475—476.

² Так именуется этот персонаж только в журнальном тексте, в отдельном же издании «Помпадуры и помпадурш» он фигурирует под новым именем — Митеньки Козелкова.

ный трактат» — сказано: «целый трактат о бессмертии души»¹.

Кроме того, в вышеприведенной характеристике из «Журнального ада» явственно выступают черты, которыми впоследствии (в «Господах ташкентцах») Шедрин наделил Митрофана, перенеся героя комедии Фонвизина в обстановку пореформенной России. На выяснении этих черт, значительно усложнивших образ фонвизинского недоросля, мы остановимся в своем месте особо. Здесь же ограничимся указанием на родственность характеров и умонастроений Феденьки Кротикова и шедринского Митрофана, в частности на присущие им обоим хлестаковские черты.

Чтобы закончить исследование первого периода полемики Шедрина с Достоевским, рассмотрим еще произведение сатирика, которое в своем первоначальном виде до сих пор неизвестно читателям. Это произведение — «Наяда и рыбак». В 1864 году оно было изъято цензурой из «Современника», а в 1868 году появилось на страницах «Отечественных записок» в сильно урезанном и измененном виде². Первая (неопубликованная доселе) часть сатиры написана в форме рецензии на постановку балета «Наяда и рыбак» сочинения Перро. Затем следует программа «балета» самого Шедрина, озаглавленная «Мнимые враги, или ври и не опасайся».

О балете Шедрин писал уже раньше — в «Московских письмах», напечатанных в «Современнике» 1863 года. Его рассуждения на эту тему могут служить образчиком того, с какой исключительной изобретательностью он изыскивал самые невинные, на первый взгляд, поводы для выражения воззрений, которые в иной форме не могли бы быть высказаны в подцензурной прессе. Так, коснувшись в упомянутых «письмах» на шумевшего инцилента между главным машинистом московских театров

¹ «Литературное наследство», № 11—12, стр. 142.

² В «Отечественных записках» шедринская сатира озаглавлена «Золотая рыбка»: ее первая часть написана в форме рецензии на одноименный балет Сен-Леона. В отдельное издание «Признаков времени» она вошла под названием «Проект современного балета». В фонте А. Н. Пыпина мы нашли еще один вариант этого произведения Шедрина: здесь вступительная часть написана в форме отзыва на балет Сен-Леона «Фиаметта». Как нами установлено, цензура запретила опубликование сатиры и в таком виде, изъяв ее из январской книжки «Современника» за 1866 год.

Вальцем и балериной Богдановой, публицист «Современника» дает «балетной полемике», разгоревшейся в печати вокруг этого инцидента, совершенно неожиданный оборот. А именно — он привлекает к участию в ней одного из «столпов» идеологической реакции, ярого врага Чернышевского, профессора философии в Киевской духовной академии П. Юркевича. Напомнив, что в ходе полемики сотрудники московских газет «всеусерднейше доказывали почтеннейшей публике, что духи совсем не летают, цветы совсем не распускаются, но что это все производит г. Вальц», публицист «Современника» затем обратился к Юркевичу.

«Не знаю,— писал он,— посещает ли г. Юркевич балеты и следит ли он за полемикой, возникшей по поводу самовластных распоряжений г. Вальца, но если он посещает балеты и следил за полемикой, то открытия, сделанные гг. Пановским и Арновским, должны были задать ему трудную задачу.

Подтверждают ли балеты его философскую систему, или опровергают ее? Может ли он сослаться на них во время публичных лекций о философии, которые предполагает прочесть в течение великого поста?

С одной стороны, подтверждают, потому что в философской этой системе, точно так же, как и в балете, есть свое подпольное царство, в котором сидит своего рода Вальц и приводит в движение всю эту механику.

С другой стороны, опровергают, потому что Вальц балетный есть существо конкретное и, стало быть, осязаемое, а Вальц г. Юркевича есть существо, которое он сам уловить до сих пор не успел.

Но во всяком случае, г. Юркевич должен убедиться, что посредством Вальца всякие балетные упражнения объясняются с легкостью изумительною¹.

Можно не сомневаться, что в «Московских письмах» публицист «Современника» заговорил о «балетной полемике» только для того, чтобы, воспользовавшись ею как поводом, нанести меткий удар по мракобесию в области идеологии, не отделимому от политической реакции. Эту же цель он, несомненно, преследовал, вернувшись в 1864 году к ранее затронутой теме.

По сравнению с полемической интерпретацией «балет-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. V, стр. 136—137.

ного» мотива в «Московских письмах», тематика в сатире «Наяда и рыбак» расширяется. Во вступительной части ставится вопрос о реализме в искусстве, в программе «балета» «Мнимые враги» предстает общественно-политическая тема, и острая, обнаженная постановка ее едва прикрыта балетными костюмами, сшитыми, согласно неожиданной авторской ремарке, «тем самым портным, который, взамен полистной оплаты, одевает сотрудников «Эпохи»... Что же касается идеалистической философии и религиозного учения, то — применительно к балетной терминологии — они именуются здесь «духами долин», «наядами», «метеорами» и «прочю нечистою силой», в «бессмысленных появлениях и исчезновениях» которых не в состоянии разобраться «ни один из заматерелых философов, кроме, быть может, г. Юркевича». И тут же Щедрин пускает сатирическую стрелу во враждебный «почвеннический» лагерь: «Все это до такой степени противно и нестерпимо,— замечает он,— что положение балетного посетителя можно сравнить разве с положением человека, вынужденного читать журнал «Эпоха» и следить за полетом «стрижей»...¹ «Разнуданные спиритуалистическо-трансцендентальные фантазии» с особой назойливостью, «с непостижимым нахальством», выступают вперед на балетной сцене, но ими же проникнуты писания «стрижей», «философские упражнения г. Юркевича и бездонное словоизвержение «Московских ведомостей», руководимых Катковым. И все это, подчеркивает Щедрин, «есть некоторого рода «средство», которое предназначено «засорять наше и без того засоренное воображение», — «в видах отвлечения» внимания от реальной действительности, от «наших существенных интересов». Чьи именно интересы он выражает, ополчаясь против всех разновидностей реакционных «балетных упражнений» — в политике, в искусстве, в философии,— на это публицист «Современника» указывает в первой (запрещенной цензурой) части сатиры «Наяда и рыбак», где им ставится вопрос о реализме в искусстве.

«Нет сомнения,— пишет Щедрин,— что самую характеристическую черту современного искусства составляет стремление его к реализму. Искусство начинает сознавать, что, отрешенное от жизни, гадливо взирающее на

¹ ЦГЛА, Фонд М. Е. Салтыкова-Щедрина, опись 1, № 101.

ее потребности (как на что-то деловое, прозаическое и, следовательно, не входящее в область поэзии), оно не может обстоятельно выполнить даже ту задачу, выполнение которой издревле считалось первейшею и священнейшею его обязанностью: *не может возбуждать благородных чувств*. Значение и характер «благородных чувств» странным образом изменились. По мнению Павла и Николая Кирсановых (да простит мне г. Тургенев, что я, быть может, слишком часто ссылаюсь на этих милых, но выдохшихся старичков), благородство чувств заключается в рыцарски вежливом обращении с дамами; по мнению Базарова, «благородство чувств» ни в чем не заключается... И таким образом выходит, что для того, чтобы выказать себя «благородными», Кирсановы играют на виолончели... купаются в душистых ваннах и вообще предъявляют «благородные манеры», очень наивно принимая их за «благородные чувства»; для этой же цели Базаров режет лягушек... Но, во всяком случае, ни те, ни другие... не суть люди, лишенные прав состояния, а потому имеют право пользоваться своими понятиями о «благородстве чувств» по усмотрению и без всякого со стороны начальства помешательства.

Но искусство не частный человек, и потому на задачи свои смотреть «по усмотрению» не может, под опасением действительного лишения за это прав состояния. Оно и радо бы, например, век свой идти рядышком с братьями Кирсановыми, но не смеет, ибо знает, что эти чистенькие, но выжившие из ума старички не поддержат его. Пискнет искусство по старой привычке, в лице какого-нибудь запоздалого путника-поэта, песенку о вежливом отношении к природе, к Аглаям и Хлоям, ее населяющим, да так и останется при своем пiske: никто не ответит на него, даже Кирсановы застыдятся. А какая причина такого явления? А причина та, что ниву человеческую со всех сторон загромодили мужики, а братья Кирсановы так-таки и затонули в этом мужицком приливе. Мужики говорят искусству: смотри! стань на эту точку, да на этой линии и вертись! и братья Кирсановы молчат и только изредка презрительно улыбаются, но до того уж исподтишка, что никто, даже само искусство, этих их презрительных улыбок не замечает.

Впрочем, на первых порах искусство еще возражает. «Позвольте, господа! — говорит оно мужикам. — Я соглас-

но стать на почву реальную (еще бы!), но ведь я все-таки искусство, и потому моими реальными основами могут быть лишь основы общечеловеческие!» И затем начинает доказывать, что «благородные чувства» хотя и не имеют права отрываться от действительности, тем не менее все-таки должны носить характер общечеловеческий и в этом смысле оставаться до некоторой степени безразличными. Одним словом, что «благородство чувств» все-таки должно быть «благородством чувств» и ничем более. Но мужики, несмотря на свое невежество, очень сообразительны. Они говорят искусству: «Погоди! хотя ты и правду говоришь, но ты врешь! Это правда, что искусство, как и всякая другая истина, должно опираться на общечеловеческие основы. Но ведь эти общечеловеческие основы надобно еще отыскать, а для того, чтобы их отыскать, нужно, между прочим, принять в счет и нас, мужиков,— потому что только тогда эта основа будет невыдуманная и только тогда ты, искусство, не впадешь в то бесстыдное вранье, которому ты до сего времени предавался!»¹

Этот единственный в своем роде диалог между «мужиком» и искусством лучше всего разъясняет, от чьего имени выступал Щедрин в литературе, за чьи интересы он боролся, проникнутый боевым духом шестидесятых годов. Крайне характерен для Щедрина как идеолога революционной демократии высказанный им вслед за приведенным диалогом взгляд, что борющиеся народные массы оказывают решительное воздействие на формирование демократического направления в искусстве, которое вследствие этого и приобретает подлинно национальный характер. Эти мысли Щедрин формулирует в следующих словах:

«...Мужики ответили искусству точь-в-точь то же самое, что они же в свое время отвечали ловким политико-экономам и администраторам, которые предлагали им готовые, свежее испеченные экономические и административные теории... *pour leur bien*»². А так как мужики все-таки сила, то искусство послушаться их не осмелилось и приступило к «возбуждению благородных чувств» совсем на другой манер, нежели прежде. Оно обуздало

¹ ЦГЛА. Фонд М. Е. Салтыкова-Щедрина, опись 1, № 101.

² Для их блага.

себя, временно ограничило свои цели, специализировалось и перестало действовать подобно тем детям-сочинителям, которые преимущественно стремятся к изображению таких впечатлений и чувств, о коих даже приблизительного понятия не имеют. Не теряя из вида основ общечеловеческих (без всякого спора, составляющих конечную его цель), искусство приняло характер национальный, обратило свое исключительное внимание на воспроизведение той особенной жизни, которая ближе всего находится у него под руками.

Один балет благополучно избежал этого общего переворота...»¹

В подтверждение своих слов Щедрин излагает содержание балета «Наяда и рыбак» и дает ему уничтожающую характеристику. Затем он иронически предлагает «представителям Санкт-Петербургских искусств» поставить на сцене «с великолепием, вполне соответствующим его достоинству», балет собственного сочинения под названием «Мнимые враги, или ври и не опасайся».

Главные действующие лица щедринского «балета» — «Консервативная сила, скрывающаяся под именем Ивана Ивановича Давилова», и «Либерализм, скрывающийся под именем Ивана Александровича Хлестакова»². Хлестаков — пасынок Давилова. За свободомыслие он был «оторван жестоким вотчимом от чрева любимой матери» и много лет томился в изгнании. После возвращения на родину Хлестаков, как можно заключить из его слов, «сделался руководителем по части отечественной благонамеренности», но тут-то с ним приключилось нечто такое, о чем он не в состоянии вспомнить без сильного волнения. Что именно произошло, этого Хлестаков не договаривает. И можно только догадываться о каком-то крайне враждебном его столкновении с неизвестным противником — по одной вырвавшейся у Хлестакова фразе: «до тех пор не успокоюсь, покуда не переломлю ему все

¹ ЦГЛА. Фонд М. Е. Салтыкова-Щедрина, опись 1. № 101.

² Как мы знаем, этот гоголевский персонаж уже раньше фигурировал в полемике Щедрина с Достоевским. Здесь не лишне будет также указать и на тот любопытный факт, что много лет спустя сатирик снова вспомнил о нем в «Помпадурках и помпадуршах» (очерк «Помпадур борьбы, или проказы будущего», 1873 г.): в связи с отречением Феленьки Кротикова от либерализма и переходом его в консервативный лагерь, он отметил, что «одновременно с Кротиковым стезю свободомыслия покинул Иван Хлестаков».

ребрал!» В печатном тексте этот намек ослаблен тем, что слово «ему» там опущено...

По прошествии некоторого времени Давилов, убедившись в том, что Хлестаков оставил свои былые заблуждения, встречается с ним по-родственному в «секретной хижине», просит простить суровое обхождение («— Ведь я думал, что ты либерал! — восклицает он.— «Как «либерал»? Но теперь, в сию минуту, разве я не либерал?» — возражает Хлестаков) и предлагает ему заключить тайный союз. Тут же они и подписывают «взаимный оборонительно-наступательный трактат». В следующем действии Хлестаков и Давилов шествуют в «храм славы» и, дойдя до порога его, «как бы волшебством каким», сливаются «в одно нераздельное целое и принимают двойную фамилию Хлестакова-Давилова». Затем следует апофеоз и в самом конце — авторская ремарка, которой нет в печатном тексте: «Вдали, в костюме слесарши Пошлепкиной, просит прощения¹ аллегорическая фигура «Эпохино Семейство», окруженная стрижами». Эта «аллегорическая фигура» и «стрижи» в первоначальной редакции «балета» значатся в списке действующих лиц, в печатном же тексте «Эпохино Семейство» вовсе отсутствует, а «стрижи» заменены анонимными «публицистами», что затушевывает полемическую направленность сатиры против Достоевского и его окружения. Наконец,— и это, пожалуй, главное, — нет в печатном тексте ремарки, уже в самом начале уясняющей авторский замысел: в запрещенной цензурой редакции вслед за названием «балета» и указанием на то, что он «сочинен хроникером «Современника», обозначено: «Машины и полеты гг. Юркевича, Косицы² и Ф. М. Достоевского». Такой ремаркой, открывающей «балет», и «аллегорической фигурой», его заключающей, публицист «Современника» дал понять, что «балет» направлен против катковского лагеря и «почвенников». Этой ремаркой Щедрин подчеркнул и то, что слияние политической и идеологической реакции «в одно нераздельное целое» лишь на балетной сцене совершается «как бы волшебством каким», а в действительности оно происходит без всякого содействия «Вальца г. Юркевича», но зато при деятельном участии «Вальцев конкретных,

¹ Подразумевается: у Каткова (см. стр. 127).

² К о с и ц а — литературный псевдоним Н. Н. Страхова.

осязаемых». «Вальц г. Юркевича» и «разнузданные спиритуалистическо-трансцендентальные фантазии» «почвенников» только отвлекают внимание от реальной, неприкрашенной действительности, где происходит тайный сговор реакционеров и либералов, направленный против кровных интересов народных масс. И публицист «Современника» срывает пред зрителями завесу, в своем «балете» заставляя «приводить в движение всю эту механику» катковского ставленника Юркевича и идейных руководителей «Эпохи», которые не переставали твердить, что в журналистике они занимают совершенно независимую и самую передовую общественно-политическую позицию.

Таким образом, в своем первоначальном, запрещенном цензурой, виде «Проект современного балета» завершал полемику Щедрина с Достоевским в шестидесятые годы. Некоторыми мотивами он связан с «драматической былью» «Стрижи» и «Журнальным адом». Так, из одного полемического штриха в «Стрижах» возникает аллегорическая фигура «Эпохино Семейство», в костюме слесарши Пошлепкиной, просящая прощения у Каткова. «Стрижи», поджидающие возле «секретной хижины» своего покровителя Хлестакова и уныло насвистывающие «Сироты ли мы, ах, сиротушки», в иной форме воспроизводят лейтмотив «драматической были»: «За что они нас обидели?» Дальнейшее развитие получила в «Проекте современного балета» характеристика «журнального ада». В качестве самой существенной черты «журнального ада» сатирик выделил то, что все в нем ложно, мнимо, эфемерно. В «Проекте современного балета» эта характеристика дается в развернутом виде и служит острому разоблачению фальшивой сущности либерализма. Исполняя в щедринском балете «большой танец либерализма», Хлестаков так передает его содержание: «Что такое либерализм? Это нечто тонкое, легкое, неуловимое, как то па, которое я выделяваю. Это шалунья-нимфа, на которую можно смотреть издали, как она купается в струях журчащего ручейка, но изловить которую невозможно. Это волшебный букет цветов, который удаляется от вашего носа по мере того, как вы приближаетесь, чтобы понюхать его. Это милая мечта, которая сулит впереди множество самых разнообразных яств, в действительности же кормит одною постепенностью. Это

тот самый кукиш, которого присутствие вы чувствуете между вторым и третьим пальцами вашей руки, но который уловить ни под каким видом не можете!.. Жгучий и пламенный с виду, он не жжет никого, но многим позволяет греть около себя руки. Грозный с виду, он никого не устрашает, но многим подает утешение. Всякий ждет, всякий заранее проливает слезы умиления и никто ничего не получает. И опять все-таки ждет и опять проливает слезы умиления, ибо ждать и проливать слезы есть удел человека в сей юдоли плача!»

Очерк-«романс» «Она еще едва умеет лепетать», «драматическая быль» «Стрижи», «Журнальный ад» и обнаруженный нами первоначальный текст «Проекта современного балета» удостоверяют в том, что уже в 1864 году спор с Достоевским стал занимать Щедрина не только как публициста, но и как художника.

Такая качественная перемена отношения к полемике обогащала ее внутренне и вместе с тем видоизменяла самый характер ее проявления: она стала скрытой, потаенной. Для читателей спор между Щедриным и Достоевским оборвался на «Стрижах» и «Щедродарове», если они, подобно А. Волынскому, не приписывали сатирику статей Антоновича. Историки литературы даже шестьдесят лет спустя заключительным эпизодом этого спора считали статью Щедрина «Гг.«Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха». Об этом свидетельствует итоговый обзор конфликта, данный в книге эпистолярных документов «Из архива Достоевского» (1923). Причину «яростной полемики» Достоевского с Щедриным в шестидесятых годах автор обзора усматривал в том, что редактор «Времени» и «Эпохи» по недоразумению причислял тогда публициста «Современника» к «правоверным социалистам». «Но прошли года. Позиция Салтыкова прояснилась и для Достоевского, и он успокоился. Забыл горечь его полемики и Салтыков». В 1875 году «Отечественные записки», где одним из соредкторов был Щедрин, напечатали роман Достоевского «Подросток». В 1877 году Щедрин обратился с письменной просьбой к автору «Подростка» дать рассказ для «Отечественных записок», и на этот раз сотрудничество не состоялось потому, что Достоевский «сам тогда издавал «Дневник писателя». Но добрые литературные отношения не прекращались», о чем свидетельствует пригла-

шение Щедрина, обращенное к Достоевскому, выступить на вечере Литературного фонда. Суммируя все эти данные, автор заключает: «Так были забыты былые «полемические бури», и осталось ровное взаимное уважение»¹.

С тех пор, как были написаны эти строки, прошло свыше трех десятилетий. За истекший период изучение литературного наследия Щедрина и Достоевского значительно подвинулось вперед. Но до сего времени остаются неисследованными их взаимоотношения в семидесятих годах как представителей разных общественных лагерей и литературных направлений. Разумеется, и тридцать лет тому назад не было оснований безоговорочно утверждать, что «полемические бури» шестидесятих годов пронесли для обоих писателей бесследно. На такое утверждение в особенности набрасывало тень одно обстоятельство, не учтенное автором цитированной выше статьи. Мы имеем в виду враждебный выпад против Щедрина в «Братьях Карамазовых», на который сатирик отвечал в «Круглом годе» блистательной полемической характеристикой Карамазова-отца. Но как ни знаменателен сам по себе этот эпизод, он стоит одиноко, особняком, без посредствующих звеньев. И можно было только догадываться, что возник он не случайно, а как следствие ряда столкновений, скрытых от постороннего взора.

Мы решили продолжить наши разыскания, чтобы выяснить, какие спорные проблемы разделяли идейных антагонистов в новых общественных условиях, как ставили и разрешали они их в процессе воплощения своих творческих замыслов.

Этой теме и посвящена вторая часть настоящей книги.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

В 1866 году правительство навсегда закрыло «Современник», и с тех пор до перехода к Некрасову журнала «Отечественные записки» Щедрин ничего не печатал. В обновленных «Отечественных записках» он начал

¹ «Из архива Достоевского», ГИЗ, 1923, стр. 102—103.

деятельно сотрудничать с первой книжки журнала, вышедшей в январе 1868 года; осенью 1868 года Щедрин вернулся в Петербург из провинции, где он прожил свыше трех лет, и вошел в состав редакции.

Еще раньше, чем Щедрин, лишился своего печатного органа Достоевский; вследствие материальных затруднений издание «Эпохи» прекратилось на февральской книжке 1865 года. Это вынудило Достоевского искать пристанища в чужом журнале, и в начале 1866 года он стал печатать «Преступление и наказание» в «Русском вестнике». В 1867 году Достоевский уехал за границу и провел там четыре года с лишним. За границей он написал роман «Идиот», повесть «Вечный муж» и частично «Бесы».

На чужбине Достоевский с особым вниманием следил за русской журналистикой. Кроме того, о литературных новостях он узнавал из писем своих постоянных корреспондентов — А. Н. Майкова и Н. Н. Страхова. В начале 1868 года Майков уведомил его, что вскоре «готова высыпать целая ватага из молчавшего лагеря». Сообщая эту новость, Майков тут же добавил: «Злые языки говорят даже, что их выпускают для поражения Аксакова и Каткова и русской партии»¹. Под «молчавшим лагерем» подразумевались здесь сотрудники запрещенного «Современника», и прежде всего Некрасов, Щедрин и Елисеев; какие слухи распространяли на их счет «злые языки», объяснится ниже.

Своими впечатлениями от нового некрасовского журнала делился с Достоевским и Страхов. В неизданном письме к нему от 25 ноября 1868 года Страхов сообщал:

«Отеч. Зап.» под Некрасовым — и пали донельзя. Целый год нечего было читать, Щедрин стал писать такие вещи, что ничего понять нельзя...»²

Упоминание о Щедрине содержится и в неопубликованном письме Страхова к Достоевскому, которое было написано раньше, весной 1868 года. Здесь мы читаем: «...то направление, которое Вами было дано «Времени» и «Эпохе», наша борьба с «Современником». Ведь не пропадет же это все. Напр. Щедрин теперь стремится

¹ «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы», под ред. А. С. Долинина, сборник второй, Л. 1924, стр. 344.

² Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, II $\frac{9}{19}$.

блистать; но мне смешно, когда подумаю, что ведь ему подписан нерушимый приговор, подписан Вами и отчасти мною, — а он только не догадывается»¹.

Если Страхов склонен был утешать себя такими успокоительными мыслями, то его корреспондент отнюдь не считал свою борьбу с Щедриным завершённой, поскольку последний, вернувшись к литературной работе, продолжал вести ее в духе «преданий» «Современника», не помышляя о том, что ему кем-то подписан «нерушимый приговор»... Как оценил Достоевский начавшуюся деятельность сатирика в «Отечественных записках», выясняется из его письма к Майкову, датированного 18 февраля — 1 марта 1868 года.

«А что Салтыков на земство нападает,— писал Достоевский, имея в виду очерк Щедрина «Новый Нарцисс, или влюбленный в себя», напечатанный в январской книге «Отечественных записок» 1868 года,— то так и должно. Наш либерал не может не быть в то же самое время закоренелым врагом России и сознательным. Пусть хоть что-нибудь удастся в России или в чем-нибудь ей выгода — и в нем уж яд разливается... Наша крайняя либеральная партия в высшей степени стакнулася с «Вестью» и не может быть иначе»².

Этими проникнутыми политической враждебностью измышлениями Достоевский приблизился к оценке, которая прозвучала в клеветнической кампании против преобразованных «Отечественных записок» в 1868 году. Так, еще до выхода в свет первой книжки «Отечественных записок» под новой редакцией внутренний обозреватель петербургского журнала «Всемирный труд» М. Загуляев писал, что «оживление партии «Современника» — результат глубоких расчетов со стороны какой-то группы влиятельных лиц, которой не по сердцу единодушное сочувствие общества к чисто-русской политике, одержавшей верх со времени польского мятежа 1863 г.». Эту группу сановной бюрократии представляют «ясновельможные паны и потомки ливонских меченосцев, вступившие в союз и дружбу с русскими крепостниками». Утверждая далее, что «мудреного... нет решительно ничего» в том, что

¹ Фонд Ф. М. Достоевского, II $\frac{9}{19}$.

² Ф. М. Достоевский, Письма, т. II, стр. 79. Политическое направление газеты «Весть» было крайне реакционным, крепостническим.

«крайние оппозиции *правой* и *левой* сторон... составят между собою коалицию против большинства», автор обозрения заранее объявлял «Отечественные записки» под редакцией Некрасова «оружием в руках реакции»¹. В следующей, февральской, книжке «Всемирного труда» тот же обозреватель ополчился против «Нового Нарцисса» Щедрина. Характеризуя эту сатиру как «преувеличенную до невозможности карикатуру» на земские собрания, он разъяснял читателям, что Щедрин «относится так враждебно к земству за... его *несочувствие к бюрократии*», и отсюда заключал: «Это хотя бы и «Вести» так в пору»².

Эту инсинуацию против некрасовского журнала и сатирической деятельности Щедрина в следующем, 1869 году пропагандировал Катков, напечатавший в «Русском вестнике» обширную статью либерального экономиста академика В. П. Безобразова под названием «Наши охранители и наши прогрессисты». С целью сделать выступление Безобразова широко известным и придать ему характер литературно-политического события, Катков в передовой «Московских ведомостей» от 9 ноября 1869 года оповестил читателей о напечатании «замечательной статьи в вышедшей сегодня книжке «Русского вестника». Разъясняя тут же основную мысль статьи Безобразова, Катков указывал, что ее автор «обнаруживает поразительное тождество во мнениях и стремлениях между нашими белыми и нашими красными, одинаковую ненависть обеих партий к 19-му февраля и к прочим реформам, положившим начало новой эры в истории России».

На выступление Безобразова Щедрин отозвался редакционной, анонимной, статьей «Человек, который смеется». В своем ответе он дал решительный отпор «шикарной и пикантной» попытке «заставить две противоположные партии исповедовать одни и те же убеждения», указав, что к подобным аналогиям «прибегают публицисты, которые в исследованиях своих не идут далее внешних признаков явления и которые с ребяческим, а быть может, и с недобросовестным изумлением останавливаются на том, что люди разных убеждений могут говорить

¹ «Всемирный труд», 1868, январь, стр. 216 и 219. (Курсив автора.)

² Там же, февраль, стр. 134. (Курсив автора.)

на одном и том же языке, употреблять одни и те же выражения и быть недовольными одним и тем же фактом»¹.

II

Из всего вышесказанного можно заключить, что Достоевский, не будучи причастным к клеветнической кампании, которая велась в 1868 — 1869 годах против «Отечественных записок» и Щедрина, в идейном плане должен был воспринять ее как выступление людей, солидарных с ним в существенном для него вопросе, и такое единомыслие могло только утвердить его в занятой им позиции. И действительно: на своих взглядах, высказанных в цитированном письме к Майкову, он продолжал настаивать и несколько лет спустя. Этот мотив мы обнаруживаем в «Бесах» в разговоре Шатова с рассказчиком о «русском атеизме». Сказав, что «русский атеизм никогда дальше каламбура не заходил», что атеистических взглядов придерживаются «люди из бумажки; от лакейства мысли все это», — Шатов затем дает такую характеристику «крайней либеральной партии»:

« — Ненависть тоже тут есть, — произнес он, помолчав с минуту, — они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм вьезшаяся... И никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету!» «Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить»².

Эти рассуждения Шатова воспроизводят известные уже нам высказывания Достоевского в письме к Майкову. Тут опущено только обвинение «крайней либеральной партии», и в частности Щедрина, в «стачке» с бюрократическими верхами. Но в черновых записях к «Бесам» предъявлено и это обвинение, причем формулировка его не оставляет сомнений, что фразой об отсутствии «неви-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VIII, стр. 183.

² Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VII, стр. 114.

димых миру слез» в «видимом смехе» Достоевский метил в сатиру Щедрина, как не вызывает сомнений и то, что слова о ненависти и издевательстве относились также к нему. В черновой записи, характеризующей умонастроение Шатова, мы читаем:

«Ш. говорит: мы (Русские) не хотим уже больше, чтоб нас дурачили, и за это нас наши либералы считают ретроgrадами. И кого только либералишки-то наши поддерживают и Ташкентцов выдумывают: тех, кто чины и деньги дает, от кого *получить* можно. Но не все Ташкентцов выдумывают, есть и просто глупые. Те-то, те-то в каком комическом положении: поддерживают именно деспотизм и обиду и не знают этого, искренно считают себя либералами!»¹

Хотя эта запись не была использована автором «Бесов», сказанного Шатовым в романе оказалось для Щедрина достаточным, чтобы он понял, против кого направлена полемическая выходка Достоевского, и в дальнейшем мы покажем, как сатирик реагировал на нее. Самый же факт враждебного выпада в «Бесах» не должен был показаться Щедрину неожиданным, поскольку в художественных произведениях Достоевского, опубликованных ранее, в 1866—1870 годах, ему уже попадались неприязненные реплики. Так, в «Преступлении и наказании» прозвучал запоздалый отклик на «птичий», «стрижиный» мотив его былой полемики с Достоевским. Мы имеем в виду ту сцену в романе, когда Разумихин возбужденно объясняет Пульхерии Александровне и Дуне — матери и сестре Раскольникова, почему он «так нахлестался» у себя на новоселье:

«А оттого, что в спор ввели, проклятые!.. Такую чушь говорят! Чуть не подрался!.. Ну, верите ли: полной безличности требуют, и в этом самый смак находят! Как бы только самим собой не быть, как бы всего менее на себя походить! Это-то у них самым высочайшим прогрессом и считается. И хоть бы ввали-то они по-своему, а то...

— Послушайте, — робко перебила Пульхерия Александровна, но это только поддало жару.

— Да вы что думаете? — кричал Разумихин, еще более возвышая голос, — вы думаете, я за то, что они врут? Вздор! Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная

¹ «Записные тетради Ф. М. Достоевского», подготовка к печати Е. Н. Коншиной, комментарии Н. И. Игнатовой и Е. Н. Коншиной, «Academia», 1935, стр. 146. (Курсив Достоевского.)

человеческая привилегия перед всеми организмами. Соврешь — до правды дойдешь! Потому я и человек, что вру... ну, а мы и соврать-то своим умом не умеем! Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему ведь это почти лучше, чем правда по одному по-чужому; в первом случае ты человек, а во втором ты только что птица!.. Ну, что мы теперь? Все-то мы, все без исключения, по части науки, развития, мышления, изобретений, идеалов, желаний, либерализма, рассудка, опыта и всего, всего, всего, всего, всего еще в первом предуготовительном классе гимназии сидим! Понравилось чужим умом пробавляться, — вьелись!»¹

Взволнованная речь Разумихина была вариацией на излюбленную в публицистике Достоевского тему о насущной потребности в «новом слове» и самостоятельном взгляде на жизнь не по «французским книжкам», а на свой, особый образец. Но здесь эти мысли по форме выражения близки и к высказываниям героя «Записок из подполья» о примате иррационального сознания над разумом, который «знает только то, что успел узнать», между тем как «натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет», сохраняя «самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность...» В данном случае Разумихин, подобно человеку из подполья и Шатову, являлся рупором Достоевского, проводником его полемических идей, а «птица» в речи Разумихина поясняла, кто именно саркастически обличался в том, что «полную безличность» возвел на пьедестал «самого высочайшего прогресса». Дальше мы увидим, что Щедрин запомнил не только это место, но всю приведенную тираду Разумихина, напоминавшую «отрицательную диалектику» человека из подполья, и затем связал ее с «конструктивными» воззрениями Достоевского, высказанными им в «Идиоте» устами князя Мышкина.

III

На вечере у Епанчиных князь Мышкин развивает перед смущенными слушателями свое «личное и давнишнее убеждение» в том, что римский католицизм — антихристо-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. V, стр. 164—165.

во учение, породившее атеизм. На замечание одного из гостей, что этот вопрос «принадлежит богословию» и, следовательно, его неуместно возбуждать в светском обществе, князь Мышкин горячо возражает:

«— О, нет, о, нет... Это гораздо ближе касается нас, чем вы думаете... Ведь и социализм порождение католичества и католической сущности!.. И не думайте, чтоб это было все так невинно и бесстрашно для нас; о, нам нужен отпор, и скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали! Не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать пред ними...»¹

Эту мысль Достоевский вскоре высказал уже от себя, характеризуя в письме к Страхову сущность русского призвания как «разоблачение перед миром русского Христа, миру неведомого». «По-моему, — писал он Страхову, — в этом вся сущность нашего будущего цивилизаторства и воскрешения хотя бы всей Европы и вся сущность нашего могучего будущего бытия»².

Как откликнулся Щедрин на идею «цивилизаторства» в интерпретации Достоевского, мы увидим, разбирая «Господ ташкентцев», которые не случайно вызвали у Шатова такое сильное негодование.

Чтобы исчерпать вопрос о том, что еще могло привлечь внимание Щедрина в «Идиоте», обратимся к рассуждениям о цивилизации другого персонажа этого романа — Лебедева.

Лебедев, подчас рисовавшийся Достоевскому (как это видно из черновых записей к «Идиоту») «гениальной фигурой», любит философствовать и заниматься толкованием апокалипсиса. В такой роли он является в сцене шумного празднования дня рождения князя Мышкина, завершившейся исповедью Ипполита и его неудачной попыткой самоубийства при восходе солнца. Это выступление Лебедева имеет иносказательный смысл и нуждается в пояснении. Речи его, а также некоторые реплики оппонентов, являют собою любопытный пример использования Достоевским в художественном произведении печатного источника.

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VI, стр. 480.

² Ф. М. Достоевский, Письма, т. II, стр. 181.

Знакомство с этим источником, вероятнее всего, произошло при следующих обстоятельствах. Летом 1862 года Достоевский ездил за границу, побывал в Лондоне, где посещал Герцена. В «Полярной звезде» на 1861 год Герцен опубликовал свои воспоминания о встрече с В. С. Печериным, который в тридцатых годах бежал за границу, оставив кафедру в Московском университете. На Запад Печерина влекло желание стать участником революционных событий. Но, разочаровавшись в революционных чаяниях, он, по его собственному определению, кинулся в «пучину поэзии и религии, куда раньше бросались все пылкие и обманутые души, которых мир не мог удовлетворить...» Печерин принял католичество, стал монахом и прославился как знаменитый проповедник. Герцен посетил его в 1853 году в монастыре, расположенном в одном из лондонских предместий. Печерин, радушно принявший соотечественника, в заключение беседы высказал желание ознакомиться с его последними печатными работами. Герцен послал ему свои книги, и они обменялись письмами, в которых отчетливо выявилось весьма существенное различие в их мировоззрении.

Основное расхождение обнаружилось в их воззрениях на то, что «призвано обновить настоящее общество». Усмотрев в печатных высказываниях Герцена стремление «опереться исключительно на философию и изящную словесность», Печерин возражал против такого взгляда, утверждая, что «одна религия служила всегда основой государств». В ответном письме Герцен разъяснял, что он превратно понят Печериным: не философия и литература, а наука, по его убеждению, несет освобождение массам. «Невежество, *одно невежество*, — подчеркивал Герцен, — причина пауперизма и рабства. Массы были оставлены *своими воспитателями* в животном состоянии. Наука, одна наука может теперь поправить это и дать им кусок хлеба и кров. Не пропагандой, а химией, а механикой, технологией, железными дорогами она может поправить мозг, который веками сжимали физически и нравственно»¹.

Это объяснение, направленное против религиозной пропаганды, вызвало у Печерина страстный протест.

¹ А. И. Герцен, Былое и думы, Гослитиздат, М. 1932, т. III, стр. 74. (Курсив Герцена.)

«Признаюсь вам откровенно, — отвечал он Герцену, — ваше последнее письмо навело на меня ужас, и ужас очень эгоистический, признаюсь и в этом.

Что будет с нами, когда *ваше* образование одержит победу?.. Химия, механика, технология, пар, электричество, великая наука пить и есть... Если *эта* наука восторжествует, горе нам! Во времена гонений римских императоров христиане имели, по крайней мере, возможность бегства в степи Египта... А куда бежать от тиранства вашей материальной цивилизации? Она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги... Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтоб их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища и там спросят: «Зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной индустрии. Идите витийствовать на площади, идите проповедовать политическую экономию, обсуживать падение и возвышение курса, идите работать на наши фабрики — направлять пар и электричество. Идите председательствовать на наших пирах: рай здесь, на земле, — будем есть и пить, ведь мы завтра умрем!»... Но мы, верующие в бессмертную душу и в будущий мир, какое нам дело в этой цивилизации настоящей минуты?»¹

В заключительном ответном письме Герцен указал своему корреспонденту, что слову «наука» тот придал значение, которого он не имел в виду, когда подчеркивал, что «совокупность всех побед над природой и всего развития» ставится им безусловно «вне беллетристики и отвлеченной философии». Что же касается «страха о будущности людей, любящих созерцательную жизнь», то «наука... не может сделаться ни правительством, ни указом, ни гонением», ибо она не «религиозное учение или доктрина», и такие люди «пусть ищут... тихого места», вместо того чтобы «несправедливо бояться улучшения жизни масс, потому что производство этого улучшения *может* обеспокоить слух лиц, не желающих слышать ничего внешнего». «И чего же бояться? — спрашивал Герцен. — Неужели шума колес, подвозящих хлеб насыщенный толпе

¹ А. И. Герцен, Былое и думы, Гослитиздат, М. 1932, т. III, стр. 76. (Курсив Печерина.)

голодной и полуодетой? Не запрещают же у нас, для того чтобы не беспокоить лирическую негу, молотить хлеб»¹.

Эта переписка должна была произвести на Достоевского сильное впечатление — так выпукло обрисовались в ней противоположные взгляды двух замечательных представителей русской интеллигенции на «материальную цивилизацию», которая открылась ему в «страшных углах» Лондона, как «какое-то пророчество из апокалипсиса, в очию совершающееся»². Взгляд верившего «в бессмертную душу и в будущий мир» Печерина был созвучен собственным мыслям Достоевского, и это сказалось на характере его отрицания буржуазной цивилизации в «Зимних заметках о летних впечатлениях». Вот почему Щедрин так резко охарактеризовал умонастроение их автора в известном нам саркастическом замечании³. Позднее сатирик вернулся к затронутой Достоевским теме, и в дальнейшем мы выясним, как он ответил на основные вопросы, поставленные в «Зимних заметках о летних впечатлениях», а сейчас рассмотрим интересующую нас сцену в романе «Идиот», где главным действующим лицом выступает толкователь апокалипсиса Лебедев.

IV

Князь Мышкин, вернувшись после скандального происшествия с Настасьей Филипповной в Павловском увеселительном саду к себе на дачу, застал там шумную компанию незваных гостей и среди них — «сального шу-та» Фердыщенко и Бурдовского, которых менее всего ожидал встретить. Гости были навеселе — Лебедев поил их шампанским, чтобы «прославить и поздравить» князя, но в хозяйственных хлопотах не забывал подливать и себе, а главное — упивался «ученым спором на современную тему». Ипполит, готовившийся «красноречиво умереть», как только «солнце покажется и «зазвучит» на небе», в болезненном возбуждении сыпал вопросами, обращаясь сразу к нескольким лицам:

¹ А. И. Герцен, Былое и думы, Гослитиздат, М. 1932, т. III, стр. 77.

² Ф. М. Достоевский, «Зимние заметки о летних впечатлениях», Полн. собр. худ. произведений, т. IV, стр. 76.

³ См. стр. 74.

« — Лебедев! Солнце ведь источник жизни? Что значит «источники жизни» в апокалипсисе? Вы слышали о «звезде Полюнь», князь?»

Мышкин ответил:

« — Я слышал, что Лебедев признает эту «звезду Полюнь» сетью железных дорог, распространившихся по Европе».

Это замечание вызвало общий смех и подзадоривающие реплики.

« — Так что же после этого, — горячился в другом углу Ганя, — выходит, по-вашему, что железные дороги прокляты, что они гибель человечеству, что они язва, упавшая на землю, чтобы замутить «источники жизни»?»

« — Не железные дороги, нет-с! — возражал Лебедев, в одно и то же время и выходявший из себя и ощущавший непомерное наслаждение: — собственно одни железные дороги не замутят источников жизни, а все это в целом-с проклято, все это настроение наших последних веков, в его общем целом, научном и практическом, может быть, и действительно проклято-с.

— Наверно проклято, или только может быть? Это ведь важно в этом случае, — справился Евгений Павлович.

— Проклято, проклято, наверно проклято! — с азартом подтвердил Лебедев».

И тут же он поставил перед «всеми атеистами» вызывающий вопрос:

« — Чем вы спасете мир и нормальную дорогу ему в чем отыскиали, — вы, люди науки, промышленности, ассоциаций, платы заработной и прочего? Чем? Кредитом? Что такое кредит? К чему приведет вас кредит?»

Как бы обрадовавшись ответу Птицына — «процентной души», что кредит приведет «ко всеобщей солидарности и равновесию интересов», Лебедев настойчиво допытывается:

« — И только, только! Не принимая никакого нравственного основания, кроме удовлетворения личного эгоизма и материальной необходимости? Всеобщий мир, всеобщее счастье — из необходимости! Так ли-с, если смею спросить, понимаю я вас, милостивый мой государь?»

Этот довод парирует другой оппонент толкователя апокалипсиса:

«— Да ведь всеобщая необходимость жить, пить и есть, а полнейшее, научное, наконец, убеждение в том, что вы не удовлетворите этой необходимости без всеобщей ассоциации и солидарности интересов, есть, кажется, достаточно крепкая мысль, чтобы послужить опорной точкой и «источником жизни» для будущих веков человечества,— заметил уже серьезно разгорячившийся Ганя».

Лебедев отвергает и этот аргумент, включающий в себя ироническое замечание Печерина о «великой науке пить и есть», которую якобы превозносил Герцен вместе с апологетами буржуазной цивилизации, и лассалевскую идею разрешения социального вопроса посредством учреждения производительных ассоциаций рабочих с государственным кредитом. Указанию же оппонента на то, что необходимость пить и есть, иначе говоря, чувство самосохранения — «нормальный закон человечества», Лебедев с торжеством противопоставляет «насмешливую мысль», уже высказанную героем «Записок из подполья»: «Закон саморазрушения и закон самосохранения одинаково сильны в человечестве!» И вслед за тем, вернувшись к вопросу, не ослабели ли «источники жизни» с усилением «всего того направления, которому железные дороги могут послужить, так сказать, картиной, выражением художественным», он следующим образом пародирует спор Печерина и Герцена:

«Слишком шумно и промышленно становится в человечестве, мало спокойствия духовного», жалуется один удалившийся мыслитель. «Пусть, но стук телег, подвозящих хлеб голодному человечеству, может быть, лучше спокойствия духовного», отвечает тому победительно другой, разъезжающий повсеместно мыслитель, и уходит от него с тщеславием».

Свое отношение к этому спору толкователь апокалипсиса высказывает по существу совершенно недвусмысленно, но с характерной для него гаерской ужимкой. Он говорит:

«Не верю я, гнусный Лебедев, телегам, подвозящим хлеб человечеству! Ибо телеги, подвозящие хлеб всему человечеству, без нравственного основания поступку, могут прехладнокровно исключить из наслаждения подвозимым значительную часть человечества, что уже и было...

— Это телеги-то могут прехладнокровно исключить? — подхватил кто-то.

— Что уже и было,— подтвердил Лебедев, не удостоивая вниманием вопроса,— уже был Мальтус, друг человечества. Но друг человечества с шатостью нравственных оснований есть людоед человечества, не говоря о его тщеславии; ибо оскорбите тщеславие которого-нибудь из сих бесчисленных друзей человечества, и он тотчас же готов зажечь мир с четырех концов из мелкого мщения,— впрочем, так же точно, как и всякий из нас...¹.

Лебедев, говоря о «нравственных основаниях», недосказывает, что он имеет в виду религию. Но для Щедрина, который уже раньше обнаружил идею «Записок из подполья», смысл его речи должен был быть ясен, если даже предположить, что он не знал литературного источника рассмотренной пародии. Такое предположение, однако, мало правдоподобно. В начале шестидесятых годов «Колокол» и «Полярная звезда» находили в России широкое распространение, а статья Герцена о Печерине могла надолго запомниться, так как выдающаяся личность профессора-эмигранта и его необычная судьба возбуждали повышенный интерес. Щедрин должен был обратить внимание и на то, что Достоевский сблизил «друзей человечества», и в частности Герцена, с автором «Опыта о законе народонаселения» Мальтусом, лженаучная теория которого служила оправданию капитализма. И действительно, как мы дальше увидим, в своей оценке романа «Идиот» он косвенно отозвался и на этот выпад Достоевского. Больше того: рассуждения толкователя апокалипсиса в целом сатирически преломились в «Истории одного города», когда Щедрин создавал образ правителя «Голодного города», «фантастического путешественника» Фердыщенко, названного им по имени персонажа в «Идиоте», некоторыми чертами характера похожего на «гнусного Лебедева».

Речь последнего обращает на себя внимание еще в одном отношении. В заключительной части своего «научного спора на современную тему» Лебедев рассказывает «анекдот» о случае антропофагии в XII веке, перекликающийся по своим мотивам с аллегорическими

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VI, стр. 328—331.

кошмарными снами Раскольникова в эпилоге «Преступления и наказания». Полемический характер этой аллегории тем более должен был привлечь внимание Щедрина, что в ней заключался ответ Достоевского на сатирическую оценку «Зимних заметок о летних впечатлениях» как произведения, написанного автором в состоянии «одержания бесами». Раскольникову «грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу... Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими». Этот полемический отклик представляет интерес еще и потому, что в нем заключено зерно замысла «Бесов». В кошмарных снах Раскольникова воплощена идея, занимавшая автора не только в «Преступлении и наказании», но и в других его произведениях. Это — «коварная и насмешливая мысль» о том, что саморазрушение является столь же нормальным законом для человечества, как и самосохранение. В болезненных видениях Раскольникова она выражена таким образом:

«Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла... остановилось земледелие... Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало»¹.

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений т. V, стр. 444—445.

В следующей главе, к которой мы сейчас переходим, будет рассмотрена щедринская интерпретация идеи Достоевского, воплощенной в этой картине саморазрушения, причем следует отметить, что сатириком были учтены и аналогичные высказывания Достоевского в «Зимних заметках о летних впечатлениях», в «Записках из подполья» и в «Идиоте».

Такая интерпретация представляет особый интерес, поскольку она позволяет проследить, какое художественное воплощение получили идеи, зародившиеся в страстном общественно-политическом споре.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

В 1869 году Щедрин начал печатать в «Отечественных записках» «Историю одного города», «Господа ташкентцы» и сказочный цикл. В новых произведениях сатирика разрабатывались и ранее затронутые им темы. Так, в сказке «Дикий помещик» нашла дальнейшее развитие тема, намеченная в рассказе «Деревенская тишь» (1863). Герой этого рассказа, Кондратий Трифоныч, «огорченный помещик», после отмены крепостного права предавался мечтам разбогатеть с помощью машины, которая «и дрова таскать будет, и пахать будет, и воду носить будет», так что «работников... совсем не надо». Слоняясь по целым дням из комнаты в комнату, он мысленно спорил с бывшими своими крепостными, а ныне «временно-обязанными» людьми, которые, на его взгляд, стали втайне грубить ему на каждом шагу, и изыскивал хитроумные способы изобличить их перед станovým в «антагонизме». Болезненная подозрительность выросла в ненависть. Отсюда — мечты прогнать с глаз опостылевших «людишек», заменив их чудодейственной машиной... Но мягкотелого Кондратия Трифоныча эти мечтания не могли побудить к какому-либо действию, и он сам сознавал их совершенную никчемность.

По-новому осмысливается тема «Деревенской тиши» в выше рассмотренной публицистической статье Щедрина 1864 года (см. стр. 145), где он охарактеризовал

бунтарскую позицию человека из подполья как «протест своими боками во имя воспоминаний прошлого». В пояснение этой характеристики там рассказан анекдот о беременной барыне, которая в порыве гнева угрожала своему «временно-обязанному» лакею: «Погоди ты у меня, вот я от твоей грубости выкину, так тебя сошлют, мерзавца, в Сибирь!» И говорила эта барыня искренно, и желала, ох, желала она выкинуть, чтобы потом иметь право написать, что «от огорчения, причиненного ей грубостью подлеца Ваньки, изныл внутри у нее ребенок!» Таким образом, анекдотическая барыня в тяжбе с «новыми временами» идет дальше Кондратия Трифоныча — она «не щадит, так сказать, своего живота...» Именно этого рода «протест», настолько же ожесточенный, насколько и бесплодный, сатирик запечатлел в сказке «Дикий помещик».

Помещик живет в холе и довольстве, одно только не дает ему покоя: «очень уж много развелось в нашем царстве мужика». И им овладевает превознесенная человеком из подполья «фантазия, раздраженная до сумасшествия», которая толкает его «нарочно пожелать самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы», лишь бы избавиться от «холопского духа». Желание его исполняется. «Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь, и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки»¹.

Надышавшись «чистым-пречистым» воздухом в опустевшем поместье, герой сказки начинает испытывать материальные лишения, связанные с новой обстановкой, в которой он очутился. Но это не колеблет его решимости настоять на своем. «Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души!»² И действительно, он, опять-таки как бы по внушению героя повести Достоевского, «хоть своими боками, да доказывает», что для него превыше всего «собственное хотенье». Доказывает, хотя соседи его «чествуют дураком», а капитан-исправник вразумляет, что с исчезновением мужика «остановились и подати и регалии, и не стало возможности достать

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XVI, стр. 56.

² Там же, стр. 57.

на базаре ни фунта муки, ни куска мяса». А как только ослабеет в нем решимость, он «сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!»¹

И в своем крайнем выражении «помещичья непреклонность» героя сказки совпадает с троглодитством, которым человек из подполья обещал отстаивать «свой собственный, хотя бы самый дикий, каприз». Помещик одичал. «Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исава, а ногти у него сделались, как железные. Сморгаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рывканьем. Но хвоста еще не приобрел»².

Таков новый щедринский вариант темы «Журнального ада», направленного против «Записок из подполья». Заменяя «сатанинскую» символику условно-волшебной бытовой ситуацией, сатирик в реалистическом плане представил угрозу «джентльмена с ретроградной физиономией» развеять «положительное благоразумие» счастливой жизни на земле «пагубным фантастическим элементом», как «протест своими боками во имя воспоминаний прошлого». Такое раскрытие темы бунта «подпольного» человека, — бунта, мотивированного стремлением сохранить личность и ее «свободное хотенье», — завершается в финале сказки «Дикий помещик».

Встревоженное поведением «зачинщика смуты», начальство решило ему «наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил». Задача выдалась нелегкая: предстояло водворить в имение мужиков и поймать в лесу одичавшего помещика. Первому делу помог счастливый случай. «Как нарочно, в это время через губернский город летел отроившийся рой мужиков и

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XVI, стр. 59—60.

² Там же, стр. 60.

осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд»¹. Что же до помещика, то «хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал»².

Завершается же сказка о «диком помещике» таким образом: «Он жив и доньне. Раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит»³.

В этой скупой и колоритной концовке замечательно то, что герой сказки, несмотря на принуждение, попрежнему сохраняет «истинную твердость души» в отстаивании своих принципов. И если, в противовес «Запискам из подполья», сказка о «диком помещике» завершается «простым как мычание» душевным состоянием щедринского «бунтаря», то это происходит потому, что упорное цепляние за отжившие формы общественного строя приводит к утере человеческого образа.

II

Эта идея с особой силой и трагической выразительностью выступает в щедринском изображении «тех потрясающих «кукольных комедий», в которых живая кукла попирает своей пятой живого человека».

К теме живой куклы Щедрин подошел в очерке-романсе «Она еще едва умеет лепетать» (1864). Как мы отметили, анализируя одновременно написанную полемическую статью Щедрина «Журнальный ад»⁴, административное красноречие героя названного очерка, помпадур Феденьки Кротикова, сатирик сблизил с «литературными упражнениями стрижей», сотрудников «Эпохи», отозвавшись при этом, что с помощью такого рода красноречия «можно даже написать целый трактат о бессмертии души». Последнее ироническое замечание относилось

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XVI, стр. 61.

² Там же.

³ Там же.

⁴ См. стр. 148.

к «Запискам из подполья», фигурировавшим в шедринской драматической сценке «Стрижи» как «Записки о бессмертии души». Безудержная болтовня Феденьки Кротикова, которой он повседневно угнетал своих подчиненных, впоследствии пашла у Щедрина совершенное художественное выражение в словоблудии Иудушки Головлева. Но, кроме того, Феденька Кротиков связан и с одним из самых свирепых глуповских правителей — градоначальником Брудастым, представшим в «Истории одного города» в фантастическом образе «Органчика». Связь эта, однако, возникла именно вследствие того, что либеральное пустословие Феденьки Кротикова в упомянутом очерке внезапно пресеклось. Доведенный собственным беспощадным красноречием до горячего состояния, помпадур и в бреду продолжал внушать воображаемым обязательным слушателям, что его либеральная программа имсет в виду процветание промышленности, тщательное удобрение полей, но — при всем том — безусловное сохранение общественного порядка. «И вдруг, среди самого, повидимому, мирного настроения мысли, он вскопичил как озаренный и не своим голосом закричал: «Раззорю!»

«Раззорю!» и «не потерплю!» — только эти две «нетрудные музыкальные пьесы» исполнял органчик, помещавшийся в порожней голове градоначальника Брудастого. «Нетрудной музыкальной пьесой» была и финальная реплика Феденьки Кротикова, выведенного в очерке, которому Щедрин дал название популярного романса. Повидимому, замысел «Органчика» начал созревать у сатирика задолго до его окончательного воплощения. На это указывает и одно место в статье «Журнальный ад», некоторыми полемическими мотивами перекликавшейся с названным очерком. «Надо сказать правду, — писал там Щедрин, — стрижи первые сделали попытку, чтобы доказать, что можно мыслить без головы, с помощью одних крыльев». Иносказание это, повидимому, метило в героя «Записок из подполья», ополчившегося против разума во имя «свободного хотенья» человека, назначение которого «в том только и состоит, чтобы он поминутно доказывал себе», что его нельзя превратить в «органный штифтик». Можно полагать, что выраженную в этом иносказании идею сатирик позднее связал с «органным штифтиком» и «музыкальной пьесой» Феденьки Кроти-

кова. И тогда, претерпев частичное изменение, она воплотилась в образе «Органчика».

В «Органчике» — олицетворении деспотического произвола — «свободное хотенье» не противостоит нивелирующему, обезличивающему началу, а естественно уживается с ним. Притом, градоначальник Брудастый не только сам действует, как «живая кукла», но и подвластных ему людей превращает в «оловянных солдатиков». В этом явлении сатирик видел «иго безумия», то есть произвол и дикость самодержавной власти. Герой Достоевского, полемизировавший с будущим, не замечал и не желал замечать, что истинный объект его язвительного протеста — «фанатический нивелятор» — действует с «помещичьей непреклонностью» в реальной действительности. В таком плане «Органчик» является лишь вариацией образа Угрюм-Бурчеева. Его «свободное хотенье» «всеобщего равенства перед шпицрутеном» и искоренения разума — этого «злейшего врага, опутывающего человека сетью обольщений и привередничеств», ведь также выражалось в «непреклонности, действующей с регулярностью самого отчетливого механизма»...

III

Иные черты глуповского правителя воплощены в образе косноязычного бригадира Фердыщенко, героя «Голодного города». Этот градоначальник с младенческих лет усвоил те «нравственные основания», отсутствие которых у «друзей человечества» возбуждало опасения толкователя апокалипсиса в «Идиоте». Особой премудростью бригадир, однако, свыше наделен не был, в горних не парил (не в пример его затейливому предшественнику, маркизу де Санглот, летавшему в городском саду по воздуху) и звезд с неба не хватал. К звездам он имел лишь то касательство, что однажды, по свидетельству летописца, пытался сосчитать их, насчитал сотню и на этом остановился после разъяснений денщика, что «звезд на небе видимо-невидимо». Такое простодушие сказывалось и на обхождении бригадира с подначальным ему населением. На глуповцев он не «цыркал», а по душе калякал с ними.

«— А ну, братик-сударик, ложись! — говорил он провинившемуся обывателю.

Или:

— А ведь корову-то, братик-сударик, у тебя продать надо! потому, братик-сударик, что недоимка — это святое дело!»¹

Целых шесть лет правил престарелый бригадир без «утеснения», и глуповцы не могли им нахвалиться.

«— Нужды нет, что он парадов не делает, да с полками на нас не ходит, — говорили они, — зато мы при нем, батюшке, свет узрили. Теперича, вышел ты за ворота: хошь — на месте сиди, хошь — куда хошь иди! А прежде, сколько одних порядков было — и не приведи бог!»²

Но не успели обыватели освоиться со своим новым положением, как их градоначальника попутал бес любопытствия и тщеславия. Приглянувшись ему красавица Аленка, жена посадского ямщика, не чаявшая души в своем молодом и пригожем муже. Не долго думая, «гунявый» бригадир предложил ей с ним «в любви жить», на что та ответила «нехорошими словами». После того и считал разгневанный начальник звезды на небе, — чтобы «по душе» определить, какое число «шелепов» надо назначить послушникам его воли — Аленке и ее мужу Дмитрию. Кончилось же дело тем, что ямщик, обвиненный в поджоге бригадирова дома, «был бит на площади кнутом и, по наложении клейм, сослан в Сибирь», а бригадир стал «с мужней женой уводом жить».

Но этот конец, благоприятный для того, кто на склоне лет нашел «сладкую утеху», оказался началом бед, подстерегавших жителей города Глупова.

Прежде всего бригадир «из добродушного и несколько ленивого правителя вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности». В полной форме он «каждое утро бегал по лавкам и все тащил, все тащил». Помогала ему в этом Аленка. Смирившись перед его «шелепами», она вместе с тем преисполнилась гордыни и «стала требовать, чтобы ее признавали не за ямщичиху, а за поповскую дочь».

Затем глуповцы подверглись гораздо более горькому испытанию, которое они также связывали с грехопадением своего градоначальника. За всю весну на их поля

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 314.

² Там же, стр. 315.

не выпало ни одного дождя, и, после того как припасы были съедены, начался голод, а вместе с тем явилась настоящая потребность найти виновника бедствия. Когда в правление Брудастого обнаружилось особенное устройство его головы, то это необыкновенное происшествие глуповцы сочли следствием злонамеренной деятельности «лондонских агитаторов». В данном же случае так далеко заходить не было нужды, ибо на виду у всех мелькала Аленка. Ее и заподозрили в том, что это она «навела сухость» на поля. И обыватели все настойчивее стали указывать бригадир, что им больше не в состоянии терпеть за его грехи. Бригадир же, хотя и сам сознавал, что Аленка «всему злу заводчица», расстаться с ней не мог. «Потерпите, братики, всего вдоволь будет!» — смиренно отвечал он на суровые обличения и обещал хлопотать перед высшим начальством о срочной помощи погибающим «людншкам». И действительно: он писал много просьб во все присутственные места, но не только о хлебе, а заодно и о другом. «Рапортовал так: коли хлеба не имеется, так, по крайности, пускай хоть команда прибавит». Подобная крайность вначале представлялась ему лишь в предвидении отдаленной возможности наступления решительной минуты, когда «всякие резоны и ухищрения оказываются бесполезными». Но с течением времени мысль о воинской команде начала занимать его все сильнее и чаще. Тревога его возрастала по мере того, как ожесточались сердца обывателей, а между тем отчаяние уже овладевало и самыми законопослушными. Голод пожирал все больше жертв, и смута усиливалась непрерывно. «Женщины выли, церкви переполнились гробами, трупы же людей худородных валялись по улицам неприбранные. Трудно было дышать в зараженном воздухе; стали опасаться, чтоб к голоду не присоединилась еще чума...» Все это наводило на раздумье о близкой развязке.

«— Да; убеждениями с этим народом ничего не поделаешь! — рассуждал бригадир: — тут не убеждения требуются, а одно из двух: либо хлеб, либо... команда!

Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием; но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего.

Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку и все прислушивается, не раздастся ли откуда: туру-туру?..

— Нет! не слышать!

— Словно и бог-то наш край позабыл! — молвит бригадир»¹.

Наконец, настал час, когда к дому его подступила разъяренная толпа, требовавшая выдачи Аленки. Тогда бригадир понял, что «дело зашло слишком далеко и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив». За ним бросилась и Аленка, но «случаю угодно было, чтоб дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог... Замок щелкнул, и Аленка осталась снаружи с простертыми врозь руками». Здесь настигли ее обезумевшие люди, поволокли на колокольню и вмиг покончили с ней. Когда «совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали, по дороге, вдруг поднялось густое облако пыли.

— Хлеб идет! — вскрикнули глуповцы, внезапно переходя от ярости к радости».

Но вместо стука телег с хлебом —

«— Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренних пыльного облака...»²

Опасения градоначальника оказались напрасными, — его край не был забыт.

Еще не оправившись глуповцы после голодного года, как подверглись они новому испытанию. Их бригадира вторично попутал бес. Обуреваемый любострастным вожделением, он силком отбил в Стрелецкой слободе бабу-«сахарницу», бесстыжую Домашку. Молодые стрельцы, разозленные самоуправством бригадира и насмешками их старинных недругов-пушкарей, подожгли Пушкарскую слободу, а после того занялся огнем и самый город Глупов. Когда пламя пожара начало полыхать у собора, обыватели не вытерпели и, науськиваемые стрельцами, толпой явились для объяснения с градоначальником.

«— Долго ли нам гореть будет? — спросили они его, когда он, после некоторых колебаний, появился на крыльце».

Не удовлетворенные уклончивыми словами бригадира, что ему «с богом спорить не приходится», собравшиеся потребовали более вразумительного ответа, и перспу-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 320.

² Там же, стр. 325—326.

ганный Фердыщенко поспешил покаяться перед толпой. Кланяясь миру в ноги, он клятвенно обещал «оставить свою дурость на веки вечные» и в подтверждение искренности этих слов вернул ликующим стрельцам Домашку. Великодушная речь вселила в сердца глуповцев «радость и бодренье великое», им казалось, что «отныне ничего другого не остается, как благоденствовать». Предводительствуемые градоначальником, они бросились тушить пожар, и их усилия увенчались успехом.

Возвратившись после радостного примирения с согражданами в градоначальнический дом, Фердыщенко, не теряя времени, стал строчить рапорты, в которых изъяснил, что в Глупове по случаю пожара произошел «великий бунт». Описав, как бунтовщики пытались его «на коленки становить», а он «без страха от сего уклонился», бригадир просил начальство не оставить виновных без наказания, высказывая опасение, что «ежели таковому их бездельничеству потворство сделать, да и впредь потрафлять», то как бы возмущение не повторилось с новой силой.

До поры до времени глуповцы ни о чем не подозревали, тем более что Фердыщенко «был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками.

— Миленькие вы, миленькие! — говорил он им: — ну чего вы, глупенькие, на меня рассердились! Ну, взял бог — ну, и опять даст бог! У него, у царя небесного, милостей много! Так-то, братики-сударики!

По временам, однакож, на лице его показывалась какая-то сомнительная улыбка, которая не предвещала ничего доброго...»¹

Что означала улыбка бригадира и его простодушное каляканье, об этом глуповцы догадались только тогда, когда услышали приближавшиеся к городу трубные звуки, которые возвещали о новой военной экзекуции...

Бурная жизнь градоначальника Фердыщенко завершилась в мирной, почти идиллической обстановке — во время его трехдневного путешествия по городскому выгону. Исколесив из конца в конец захламленный пустырь, «фантастический путешественник» в сопровождении свиты — денщика и двух инвалидных солдат — направился

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 336.

в середину выгона, где его ожидала торжественная встреча. Тут в котлах варилось и жарилось огромное количество поросят, гусей и другой живности: глуповцы не пожалели яств и питий для угощения бригадира. Фердыщенко, всегда выказывавший особенное пристрастие к жирной пище, на радостях превзошел самого себя, не остерегшись, кроме того, и от неумеренного потребления спиртных напитков. Все это вместе взятое пресекло его административную карьеру.

«После второй перемены (был поросенок в сметане) ему сделалось дурно; однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустою. После этого ему перекошило рот.

Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка, дрожала-дрожала и вдруг замерла...»¹

Бригадир скончался своей, естественной смертью: он умер от объедения.

Так в образе щедринского героя нашли живое воплощение те черты, которые толкователь апокалипсиса приписал «друзьям человечества». Иудушкина сущность — лицемерие и склонность к предательству, скрытая под покровом патриархальной простоты, сочетается в характере Фердыщенко с тщеславием и ревностной приверженностью к «великой науке пить и есть», а «удовлетворение личного эгоизма» бригадира, его сластолюбия, приводит к губительным последствиям, которые предвосхитил толкователь апокалипсиса, — к истреблению людей голодом и стихией огня. Между тем в том краю, где все это происходит, «нравственные основания» стоят незыблемо, а «материальная цивилизация» находится в зачаточном состоянии и восполняется... «начальственной цивилизацией». Последней теме Щедрин посвятил особый этюд «Ташкентцы-цивилизаторы», который первоначально был напечатан под названием «Господа ташкентцы», впоследствии ставшим заглавием всего цикла.

IV

Этот первый очерк «Господ ташкентцев» написан в форме «воспоминаний одного просветителя». Рассказ носит характер исповеди, что сближает его с «Записками

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 340.

из подполья». Но, в отличие от героя Достоевского, щедринский «ташкентец» раскрывает свою сущность без недомолвок и оговорок, хотя по натуре он такой же хамелеон и столь же подвержен рефлексии, как человек из подполья.

«Лучшее из качеств, которым я обладаю,— говорит он,— есть нечто вроде Сократовского: я знаю, что ничего не знаю. Несмотря на свою незамысловатость, это свойство значительно помогло мне в жизни, так как оно делало из меня во всякое время и на всяком месте лихого исполнителя. Я никогда не изобрету пороха (даже если мне формально *прикажут* изобрести — я и тогда как-нибудь отшучусь), но если его изобретут другие — я очень рад. Палить я тоже готов во всякое время, и ежели не встречу слишком серьезных препятствий, то могу выказать храбрость несомненную». «Зная, что я ничего не знаю, я обязываюсь чем-нибудь заменить эту пустоту и замещаю ее готовностью. Поэтому я переимчив, вертляв, дерзок на услугу и ни перед какой профессией не задумываюсь... Я публицист, метафизик, реалист, моралист, финансист, экономист, администратор. По нужде, я могу быть даже другом народа»¹.

Этот представитель «цивилизационной гвардии» (возвысившийся над массой рядовых «кровопускателей» благодаря покровительству своего старого школьного товарища, который сделался «главным двигателем по части ташкентской цивилизации») готов стать «другом народа» из тех же побуждений, что и «друг человечества» градоначальник Фердыщенко. Ведь именно последнему во время его «фантастического путешествия», ознаменовавшегося особенно щедрыми приношениями глуповцев, пришла на ум мысль, что «любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное»...² И действительно: основной стимул всех устремлений «ташкентца» тот же, что у адепта «великой науки пить и есть», умершего от объедения. Рассказывая о своем участии в подавлении польских повстанцев на окраине империи и крестьянских бунтов внутри страны, он говорит:

«Я бросался и на запад и внутрь, все в надежде что-нибудь зацепить, что-нибудь ущемить... Тщетно! Я чувст-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 70 и 71.

² Там же, т. IX, стр. 339.

вовал, что во мне сидит что-то такое, чему нет имени... или нет! Это ужасное имя есть, и называется оно — разоренье!.. все вздор, все обольщение и прах! Ничего у меня не осталось, кроме ужасного аппетита!

Жрррраты!!»¹

«Ташкентская цивилизация» в конечном счете всей тяжестью обрушивается на «человека, питающегося лебедой». Именно он, этот со всех сторон незащищенный субъект, является предметом вожделения ненасытных appetitov «ташкентцев». Исходя из этого важнейшего для жизни народных масс, но далеко не всеми замечаемого факта, Щедрин во втором очерке, озаглавленном «Что такое «ташкентцы»?», выдвигает вопрос о методе наблюдения действительности.

Толкователь апокалипсиса в «Идиоте», парируя негодующее возражение генерала Иволгина, который утверждал, что рассказанный его другом «анекдот» о случае антропофагии в XII веке совершенно неправдоподобен, отвечал, что «всякая почти действительность хотя и имеет непреложные законы свои, но почти всегда и невероятна, и неправдоподобна. И чем даже действительнее, тем иногда и неправдоподобнее»². Нисколько не отрицая эту излюбленную мысль самого Достоевского, Щедрин, однако, подчеркивает, что не исключительные случаи, а обыкновенные факты общественной жизни должны быть в первую очередь предметом пристального наблюдения художника, который стремится познать действительность в ее потаенных основах. Он пишет:

«Смотрите внимательнее — и, наверное, вы сделаете такие открытия, которые непременно принесут пользу. От вас не ускользнут ни судорожные подергиванья рук, ни блудящие огоньки, которыми по временам искрятся мутные глаза, ни мгновенные перекаты голоса; одним словом, ничего из того, что вы до сей минуты считали мелочью. Этого достаточно будет, чтоб обогатить ваш ум познаниями и раскрыть сущность явления, дотоле загадочного. Вы приучитесь наблюдать за собою, вы не дадите подкупить себя простодушною обыденностью. В вашу душу проникнет страх, но... это здоровый страх, потому что он

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 66.

² Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VI, стр. 332.

приводит за собой решимость во что бы ни стало освободиться от него.

Нет ничего опаснее обыденности, именно потому, что она примелькивается нашему взору. Мотается перед нами дрянной человечешко, и мы не спрашиваем даже себя: кого-то он оборвал? кого-то заживо освежевал? кого-то проглотил? Мы ждем, чтоб нам объявили об этом с церемонией, то есть чтоб тут был и приговор суда, и эшафот, и заплочный мастер...

Но теперь — разве мы можем... указать наверное, где начинаются границы нашего Ташкента и где они кончаются? Не живут ли господа ташкентцы посреди нас? Не рыскают ли стадами по весям и градам нашим?

И ведь никто-то, никто не признает их за ташкентцев, а все видят лишь добродушных малых, которым до смерти хочется есть...»¹

Эти мысли о художественном раскрытии сущности явлений повседневной действительности сатирик впоследствии развил в очерке «Помпадур борьбы, или проказы будущего». Здесь же, в «Господах ташкентцах», Щедрин намечает и другую тему, которая найдет затем законченное выражение в его образе Молчалина — образе, произведенном на Достоевского, по собственному признанию последнего, впечатление творческого откровения, о чем подробнее будет сказано дальше. Специфическая же разработка темы Молчалина — двойного существования человека, не сознающего в себе самом «двоегласия», порожденного «простодушной обыденностью», — тем «порядком вещей», которому он служит бессознательным орудием, — повидимому, связана с одним эпизодом в «Идиоте».

На упоминавшемся вечере у Епанчиных князь Мышкин произносит речь, из которой мы выше привели его призыв к «цивилизаторству». Этот призыв он закончил словами: «Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег «Нового Света», откройте русскому человеку русский «Свет», дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским богом и Христом, и увидите, какой

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 49—50.

исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий, вырастет перед изумленным миром...»¹ Помимо того, Мышкин обратился к светскому обществу, собравшемуся в гостиной Епанчиных, с выражением горячей признательности за сердечный прием, оказанный ему, и при этом высказал свою веру в жизнеспособность и руководящую роль русского дворянства.

«— Я вошел сюда с мукой в сердце,— продолжал князь все с каким-то возраставшим смятением, все быстрее и быстрее, все чуднее и одушевленное,— я... я боялся вас, боялся и себя. Всего более себя. Возвращаясь сюда, в Петербург, я дал себе слово непременно увидеть наших первых людей, старших, исконных, к которым сам принадлежу, между которыми сам из первых по роду. Ведь я теперь с такими же князьями, как сам, сижу, ведь так? Я хотел вас узнать, и это было надо; очень, очень надо!.. Я всегда слышал про вас слишком много дурного, больше чем хорошего, о мелочности и исключительности ваших интересов, об отсталости, о мелкой образованности, о смешных привычках,— о, ведь так много о вас пишут и говорят! Я с любопытством шел сюда сегодня, со смятением: мне надо было видеть самому и лично убедиться: действительно ли весь этот верхний слой русских людей уж никуда не годится, отжил свое время, иссяк исконною жизнью и только способен умереть, но все еще в мелкой завистливой борьбе с людьми... будущими, мешая им, не замечая, что сам умирает?» — «И что ж? Я увидел людей изящных, простодушных, умных; я увидел старца, который ласкает и выслушивает мальчика, как я; вижу людей, способных понимать и прощать... Я слышал, как давеча рассказывал князь N., разве это не простодушный, не вдохновенный юмор, разве это не истинное добродушие?»²

Это место в болезненно-восторженной речи Мышкина должно было привлечь особое внимание Шедрина как автора незавершенной «Книги об умирающих», где также ставился вопрос о будущем дворянства. В новую книгу, задуманную после окончания «Губернских очерков», сатирик намеревался включить и рассказ «Гегемониев». Тема этого рассказа, посвященного характеристике

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VI, стр. 481.

² Там же, стр. 485—486.

бюрократии, получила дальнейшее развитие в «Истории одного города». Поскольку же бюрократия преимущественно выходила из среды дворянства, последнее должно было занять самое видное место и в «Господах ташкентцах». Вот почему в очерке «Что такое «ташкентцы»?» Щедрин обратил внимание читателей на это характерное обстоятельство.

«Нет ничего легче,— писал он,— как составить краткое известие о родопроисхождении любого «ташкентца».

В большинстве случаев это дворянский сын, не потому, чтобы в дворянстве фаталистически скоплялись элементы всевозможного ташкентства, а потому, что словосочетание это до сих пор было единым действующим и, следовательно, невольно представляло собой рассадник всего, что так или иначе имело возможность проявлять себя. Кроме пороков, тут были, конечно, и добродетели»¹.

Эта скупая констатация факта дополняется более пространственной характеристикой «ташкентских» добродетелей, из которой впоследствии выросла тема «Господ Молчалиных» в знаменитом щедринском цикле «В среде умеренности и аккуратности». Приглашая читателей взглянуть на самодовольные фигуры «ташкентцев из разряда простодушных», спешащих в клуб обедать после разговоров о четвертовании и ссылке на необитаемый остров, сатирик писал:

«Меня нередко занимает вопрос: может ли палач обедать? может ли он быть отцом семейства? какую картину должен представлять его семейный быт? ласкает ли он жену свою? гладит ли по голове ребенка? Помнит ли он? то есть, помнит ли, что он заплечный мастер?

Признаюсь, я долгое время не мог даже представить себе, чтоб палач имел надобность насыщаться; мне казалось, что он должен быть всегда сыт. Но с тех пор, как я увидел ташкентцев, которые, посулив кому-то четвертование и голодную смерть на необитаемом острове, тут же сряду устремлялись обедать,— мои сомнения сразу покончились. Да, сказал я себе,— это верно; палач может обедать, может иметь семейство, ласкать жену, гладить по голове ребенка! Что нужды, что он сегодня же утром гладил кого-то по спине? — был час, и было дело; настал другой час — настало другое дело; в таком-то часу он

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 58.

запечный мастер, в таком-то — отец семейства, в таком-то — полезный гражданин...»¹

Наблюдения над «простодушной обыденностью» уясняют, почему герой «Идиота», попавший в незнакомое светское общество к известному «часу», должен был вынести из кратковременного общения с ним именно то впечатление, которое он высказал со свойственной ему искренностью и исключительной непосредственностью восприятия.

Этому яркому, но очевидно одностороннему впечатлению, отмеченному характерными конкретными определениями, противостоит щедринская разработка трагической темы — *простодушия* бессознательного палача, — являющей собой такой разительный контраст с представлением, вынесенным Мышкиным из встречи с «людьми изящными, простодушными», с сановным старцем, который «ласкал его, как мальчика», и князем, который покори́л его своим «простодушным юмором».

Характерно, что и это последнее определение впоследствии вспомнилось Щедри́ну в связи с занимавшей его темой о двойном существовании Молчалина. Указывая на то, что мрачные факты прошлого в журнале «Русская старина» часто излагаются как забавные анекдоты, он с горечью писал:

«Не трагизмом, а юмором полны все эти предания... Чем не юморист был, например, Степан Иванович Шешковский, который в качестве начальника тайной экспедиции всегда начинал допрос с того, «что допрашиваемое лицо хватит палкой под самый подбородок, так что зубы затрещат, а иногда и повыскакают», и который в то же время был столь набожен, что «каждый день в обедню вынимали для него три просфоры»?.. Но этого мало, что Шешковский был юморист; оказывается, что он вместе с тем был человек застенчивый и стыдливый. Когда Потемкин в один из своих приемных дней «спросил его при всех: много ли он персон из своих рук пересек?», то он, «устыдясь, благодарил уклончиво за такую милостивую насмешку»... Очевидно, что тут было все: и битье и набожность, и сечение и стыдливость, — все, кроме сознательности»².

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 53.

² Там же, т. VIII, стр. 413—414.

В третьем — по времени написания — очерке, «Митрофаны», ставшем затем вводной главой «Господ ташкентцев», уясняется и то, какие последствия в реальной действительности мог бы вызвать патетический призыв князя Мышкина «открыть жаждающим и воспаленным Колумбовым спутникам берег «Нового Света», — призыв, обращенный к «верхнему слою», в котором герой Достоевского видел «материал... для будущего, для надежд». В воображении сатирика возникает ситуация, вырастающая из наблюдаемой им «простодушной обыденности», которая скрыта от взора героя Достоевского, восторженно устремленного вдаль.

«Представьте себе, — пишет Щедрин, — такой случай: директор департамента призывает к себе столоначальника и говорит ему: «Любезный друг! я желал бы, чтоб вы открыли Америку».

Я не берусь утверждать, чтоб столоначальник осмелился возразить, но он все-таки поймет, что открытие Америки совсем не его ума дело. Поэтому, всего вероятнее, он поступит так: разошлет во все места запросы и затем постарается кончить это дело измором.

Но пускай тот же директор тому же столоначальнику скажет: «Любезный друг! я желал бы, чтоб вы всех этих Колумбов привели к одному знаменателю!»

Вы не успеете оглянуться, как Колумбы подлинно будут обузданы, а Америка так и останется неоткрытою»¹.

Дальше мы увидим, как полемически видоизменил смысл этого щедринского иносказания автор «Бесов» в известной сцене бурного объяснения Петра Степановича Верховенского с «Иваном-царевичем» — Ставрогиным, причем не только тема «обуздания», как явления типичного для «ташкентской цивилизации», глубоко задела Достоевского, но и сатирическая характеристика в «Митрофанах» почвеннически-славянофильского «нового слова», провозглашенного устами героя «Идиота», который призвал дать «отпор Западу», европейскому социализму. Этой характеристике главным образом и посвящена вводная глава ко всему циклу, а его первая часть — «Ташкентцы приговорительного класса» — как бы отвечала живыми образами на вопрос Разумихина в «Преступлении и наказании»: «Ну, что мы теперь?» — и

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 37.

подвергала критической проверке его безоговорочное утверждение: «Все-то мы... по части науки, развития, мышления, изобретений, идеалов, желаний, либерализма, рассудка, опыта и всего... еще в предуготовительном классе гимназии сидим», потому что «понравилось чужим умом пробавляться,— въелись!» Публицистическую оценку этого вывода Щедрин дает в развернутой характеристике Митрофана.

Указав на то, что Митрофаны «клянутся голыми руками потушить пылающий костер», сатирик далее поясняет, почему все их помыслы обращены к «обузданию». «Вселенная, — говорит он, — кажется им наполненной соровоспламеняющимися элементами, состоящими из козней, крамол и измены. Со всем этим надо, конечно, покончить»¹. К какому лагерю относились эти слова, видно из обращения «К читателю» в «Благонамеренных речах», где Щедрин подчеркивал, что «обуздание» совсем не равносильно тому, что на местном жаргоне известно под именем «подтягивания», ибо «действительное значение этого выражения гораздо обширнее и универсальнее. Стоит только припомнить сказки о «почве», со всюю свитою условных форм общежития, союзов и проч., чтобы понять, что вся наша бедная жизнь замкнута тут, в бесчисленных и перепутанных разветвлениях принципа обуздания...»²

Эти «сказки о «почве» и твердит щедринский Митрофан, угрожая вселенной «новым словом».

Характеристика Митрофана полемически заостряется приданием ему таких черт, которыми в общественной хронике 1863 года и в статье «Журнальный ад» сатирик наделил «стрижей», сотрудников «Времени» и «Эпохи». В общественной хронике он писал, что благонамеренное направление «Времени» сказывается в «благородстве чувств», которое «никогда не усматривает связи между явлениями, никогда не группирует их, никогда не размышляет о том, в каком отношении находится частный факт к целой системе», и потому способно питать только «куриную неприязненность к куриному злу». В статье «Журнальный ад», утверждая, что «стриж... безразлично подбирает все негодные обеды, выбрасываемые из дру-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 38.

² Там же, т. XI, стр. 40.

гих журналов, и... пичкает ими свой безобразный винегрет», Шедрин указывал, что причина такого явления заключается «в совершенном отсутствии памяти и... последствии этого отсутствия — невозможности делать сравнения, сопоставления и выводы. Стриж всему изумляется, по поводу всего раскрывает рот, ибо факты представляются ему всегда изолированными и потому всегда новыми».

Во введении к «Господам ташкентцам» эта характеристика наполняется новым содержанием. Здесь мы читаем:

«Митрофан плохой теоретик; он не любит ни анализировать, ни обобщать и упорнее всего отворачивается от самого себя. Если в вчерашний день был в свежей памяти, он, быть может, стоял бы укором или, по малой мере, поучением... Но... он ничего не помнит, ничего себе не представляет...

Для Митрофана не существует ни опыта, ни предания, ни возможности делать какие-либо умозаключения, потому что всякая настоящая минута его жизни без остатка вытесняется следующей минутой... Вот почему до сих пор не существует ни одной сколько-нибудь ясной теории митрофанства, которая могла бы оправдать его существование и указать на перспективы, ожидающие это явление в будущем...

Но ежели нет ясных фактов (нельзя же принимать за факт одну голую готовность), на основании которых можно было бы создать теорию митрофанства, то есть упования и прозрения. Известно, что ничто так не окрыляет фантазию, как отсутствие фактов. Нет фактов — значит, есть пустое пространство, не ограниченное никакими межевыми признаками, которое можно населить какими угодно привидениями. Поэтому, как только Митрофан вступает на почву упований, он делается смел до дерзости, необуздан до самозабвения. Он говорит — и с восхищением слушает самого себя; и чем больше говорит, тем больше чувствует потребность говорить, — говорить без конца. И всегда для своих разговоров выберет тезис самый неожиданный и самый блестящий: либо пятую стихию, либо новое слово. «Будет носить чужое заношенное белье, — скажет он, — пора произнести и свое собственное, *новое слово*». И, конечно, надежду на произнесение этого нового слова возложит на самого себя.

Что носить чужое заношенное белье не лестно — это истина для всех непререкаемая. Но Митрофан упускает из вида, что он носил это заношенное белье добровольно, не замечая, что оно давно уже брошено за негодностью, и радуясь только тому, что оно досталось ему с барского плеча»¹.

В четвертой главе «Итогов», написанной несколько месяцев спустя, сатирик в этом смысле уподобил Митрофану либерала. Либералу «вдруг подарили сюртук с барского плеча», и он, не помня себя от радости, провозгласил, что «душа бессмертна и что тарелку надлежит подавать с благоговением». Таким уподоблением Щедрин дал понять, что слова о «крайней либеральной партии», вложенные Достоевским в уста Шатова², в действительности относятся к восторженным апологетам самодержавия... В сближении либерала с родоначальником «ташкентцев» — Митрофаном — не заключалось ничего неожиданного, поскольку, по мысли сатирика, «Ташкент удобно мирится с железными дорогами, устностью, гласностью...» Разбирая сатирическую характеристику «стрижей» в статье «Журнальный ад», мы показали, какое воплощение нашли ее основные черты в лице Феденьки Кротикова, одержимого либеральным «языконеистовством». Те же черты мы теперь обнаружили и у щедрина Митрофана, а позднее они предстанут нам снова в лице Феденьки Кротикова, уже покинувшего стезю либерализма и обратившегося после поражения Парижской Коммуны в «помпадура борьбы». Дальнейшим углублением характеристики Митрофана сатирик как бы прокладывает себе дорогу к изображению нового, реакционного фазиса «проказливости» Феденьки Кротикова, выясняя, почему именно внешнеполитические события должны были влиять на умонастроение и административную деятельность его героя.

«Никто, конечно, не спорит, — продолжает Щедрин, — что политические и общественные формы, выработанные Западной Европой, далеко не совершенны. Но здесь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась с этим несовершенством, не покончила с процессом создания и не сложила рук, в чая-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 39—41.

² См. стр. 162.

нии, что счастье само свалится когда-нибудь с неба. Митрофан же смотрит на это дело совершенно иначе. Заявляя о неудовлетворительности упомянутых форм и в особенности напирая на то, что у нас они (являясь в виде заношенного чужого белья) всегда претерпевали полнейшее фиаско, он в то же время завиняет и самый процесс творчества, называет его бесплодным метанием из угла в угол, анархией, бунтом. По обыкновению, больше всего достается тут Франции... Митрофан с особым удовольствием останавливается на политических и общественных формах, потому что видит их внешнюю изменчивость, и от этого признака приходит к заключению о негодности самого процесса создания этих форм»¹.

Иллюстрацией к этому последнему взгляду может служить одно место в написанном Достоевским программном объявлении об издании «Эпохи» в 1865 году, не включенное им в печатный текст. В рукописи мы читаем:

«Многие... из наших умников смотрят на парламент свысока, и хотя признают его за органическое явление, но дивятся его неподвижности и сознательному застою в жизни английского народа, действительно слишком приверженного к формам своего общественного уклада. А во Франции, например, где в привычке верить всяким теоретикам и составителям конституций и разных систем из головы, было уже чуть ли не семнадцать конституций, с тех [пор] как стали там пересаживать на свою почву парламент, да и теперь еще ничем не кончилось. Вот разница между явлениями органическими и наносными»².

Характеристику Митрофана Щедрин заключает следующим образом:

«По его мнению, каприз и чудачество обуревают вселенную; люди не по необходимости меняют старые формы общежития на новые, а потому только, что так вздумалось...

Он живет в век открытий и изобретений и думает, что между ними и тою или другою формою жизни нет ничего общего. В его глазах передвигаются центры человеческой индустрии, в его глазах материальные и умственные богатства перемещаются из одних рук в другие, а он продолжает думать, что все это не более как случайность, и

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 42.

² Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, I $\frac{3}{20}$, л. 2.

спешит заткнуть ту или другую дыру и сделать некоторые ничтожные поправки в обветшавшем здании табели о рангах...

И вот таким-то образом проводится время в ожидании «нового слова» и открытия пятой стихии. Самонадеянность и хвастовство растут, а житье наступает трудное, трудное даже для Митрофанов. Неленостно перенимают они всякую новую штуку, но так как эта штука является независимо от общих форм жизни, то весьма естественно, что она их же бьет в лоб... Понятно, какое должно выйти столпотворение...

Но, кроме путаницы, Митрофану угрожает еще другая беда: отчаяние. Он может очутиться в положении раскольника, с часу на час ожидающего антихриста. Если антихрист в виду, если через минуту все должно кончиться, то понятно, что не нужно ни жать, ни сеять, ни собирать в житницы, а нужно заботиться только о саване и гробе. Подобно сему, если каждое новое открытие или усовершенствование приводит лишь к тому, что бьет в лоб, и ежели при этом нет даже поползновения определить причину такого странного действия открытий и усовершенствований, то остается одно из двух: или закутаться в саван, или обратиться в дикое состояние»¹.

Мы далее увидим, к каким «волшебствам» привел Феденьку Кротикова «административный мистицизм». Но еще раньше сатирик затронул эту тему в «Истории одного города» (глава «Поклонение мамоне и покаяние»). Здесь рассказано летописцем, как при градоначальнике Грустилове въяве осуществилось одно из кошмарных видений Раскольникова — «остановилось земледелие» и «все и всё погибало». Произошло это после того, как Грустилов, окончательно подчинившийся влиянию мистических внушений Пфейферши, учредил в Глупове кафедру философии для юродивого Яшеньки, а блаженного Парамошу назначил инспектором училищ. Яшенька «учил, что сей мир, который мы думаем очима своими видети, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более как странники, из лона исходящие и в оное же лоно входящие. По мнению его, человеческие души, яко жито духовное, в некоей житнице сложены, и оттоль, в мере

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 43—44.

надобности, спускаются долу, дабы оное сонное видение вскорости увидети и по малом времени вспять в благожелаемую житницу благопоспешно возлететь. Существенные результаты такого учения заключались в следующем: 1) что работать не следует; 2) тем менее надлежит провидеть, заботиться и пещись, и 3) следует возлагать упование и созерцать — и ничего больше»¹.

В Глупове «наступила могильная тишина, прерываемая лишь звоном колоколов», но от «бездействия мрачного» жителей этого города «злаков на полях все не прибавлялось»; когда же «кто-то заикнулся было сказать, что «как-никак, а придется в поле с сохой выйти», то «дерзкого едва не побили камнями...» Сам Грустилов и его приближенные хотя «в точности исполняли обрядовую сторону жизни, но эта была только внешность, с помощью которой они льстили народным страстям». В действительности, «пресыщенные пряностями цивилизации, они не довольствовались просто верою, но искали каких-то «восхищений». Грустилов «первый пошел по этому пагубному пути и увлек за собой остальных. Приметив на самом выезде из города полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась инвалидная команда, он устроил в нем сходбища, на которые по ночам собирался весь так называемый глуповский бомонд... Председатель вставал с места и начинал корчиться; примеру его следовали другие; потом, мало-помалу, все начинали скакать, кружиться, петь и кричать, и производили эти неистовства до тех пор, покуда, совершенно измученные, не падали ниц. Этот момент собственно и назывался «восхищением»².

Тут же летописец сообщает одну подробность, которая обнаруживает полемический умысел сатирика: оказывается, «восхищениям» обычно предшествовало... чтение «критических статей г. Н. Страхова». Что этот выпад, самим Страховым воспринятый как «неожиданное нападение»³, не был случайной обмолвкой, удостоверяется вышеприведенным анализом, который обнаружил в «Митрофанах» развернутую сатирическую критику «нового слова» в «почвеннической» интерпретации. Полемическая тенденция введения к «Господам ташкентцам» и

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 399.

² Там же, стр. 400.

³ «Заря», 1870, № 7, стр. 110.

следующих за ним двух очерков («Что такое «ташкентцы»?» и «Ташкентцы-цивилизаторы»), а также связь этого введения с только что рассмотренным эпизодом в «Истории одного города» не укрылись от Достоевского, о чем выразительно свидетельствуют суждения Шатова относительно «крайней либеральной партии» и его негодующая реплика по адресу тех, кто «Ташкентцов выдумывает», не включенная в печатный текст романа. Ниже мы покажем и то, как отозвался автор «Бесов» на саркастическое замечание Щедрина об угрожающем Митрофану отчаянии вследствие возможности «очутиться в положении раскольника, с часу на час ожидающего антихриста».

V

К началу семидесятых годов относятся и другие высказывания Щедрина о «почвенничестве», и, что представляет особенно большой интерес, в это же время им дана критическая оценка литературной деятельности Достоевского.

Свои суждения о «почвенничестве» Щедрин изложил в анонимной рецензии на брошюру «Суета сует», опубликованную критиком Н. Соловьевым, бывшим сотрудником «Эпохи».

«Чтобы уразуметь эту брошюру,— писал Щедрин,— необходимо обратиться к прошедшему и припомнить тот момент в истории нашей цивилизации, когда издавался журнал «Время» (впоследствии переименованный в «Эпоху»), а в нем образовалась целая школа философов, публицистов, критиков, беллетристов и стихотворцев, приобретших себе скоротечную известность под именем «стрижей». Что такое «стрижи»? Стрижи — это благонамеренные птицы, которые, по замечанию наблюдателей-эмпириков, имеют дар предвещать хорошую или дурную погоду...

Подобно стрижам-птицам, стрижи-литераторы хвалились даром предведения, но не ограничивали сферы предвещаний одною погодою, а проникали дальше. Внимая их прорицаниям о «почве», о «новом слове», о «силе любви», публика уже думала, что все эти прорицания завершатся одним общим прорицанием о «влиянии ро-

манса «Во саду ли в огороде» на силу русского смирения», как вдруг «Эпоха» прекратилась, и «стрижи» разлетелись, унеся с собой все секреты, бывшие в их распоряжении. Некоторое время, впрочем, и после того еще слышалось в воздухе какое-то невнятное бормотание, испускаемое «холостыми» стрижами, продолжавшими прорицать и по разорении родного гнезда, и публика добросовестно прислушивалась к этим звукам, стараясь понять их смысл, но оказалось, что и до разорения и по разорении это был все один и тот же винегрет, составленный из всевозможных обьедков. Тут были и обьедки славянофильства, и обьедки нигилизма, и обьедки спиритизма, и даже своя собственная маломысленная самодельщина. Благодаря этой последней «стрижи» могли маскировать свои позаимствования. «Какие мы славянофилы! какие нигилисты! Мы — стрижи, предсказывающие хорошую погоду!» — так отвечали они людям, уличавшим их в плагиатах. И публика убеждалась их оправданиями и, по всестороннем обсуждении этого вопроса, в свою очередь восклицала: «Да, это не славянофилы, это — стрижи, и ничего более».

Оказывается, однакож, что отлет стрижей был мнимый, что эти интересные птицы не улетали, а только временно обмирали. В ту самую минуту, как мы пишем эти строки, весь их лагерь в движении. Замечается стремление организовать, образовать из всех наличных стрижиных сил стройный и сильный стрижиный хор...

Что ж! в добрый час! пробуждайтесь, господа стрижи! Бряцайте на лирах, захлебывайтесь ежемесячно злобой, обуревайтесь страхами, пламенейте надеждами, напряживайтесь, прорицайте, прудите, прудите!.. Кстати, и время наступило для вас самое подходящее, самое стрижиное¹.

Как видим, и общее направление мысли и характерные частности в этих суждениях Щедрина о «почвенничестве» совпадают со взглядами, высказанными им в полемических статьях 1864 года, которые, по независящим от него причинам, не были напечатаны в «Современнике». Указанием на консолидацию сил «почвенников» («весь лагерь их в движении») Щедрин, не пускаясь в дальнейшие подробности, дает понять читателю, почему

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VIII, стр. 419—420.

он вдруг заговорил о них в прежнем, резко полемическом тоне. Дело в том, что к началу семидесятых годов часть бывших сотрудников «Эпохи» стала группироваться вокруг журнала «Заря». Произошло это по инициативе Страхова, редактировавшего «Зарю». Это была уже вторая его попытка в той или иной мере возродить направление «Эпохи». Первую такую попытку он предпринял в 1867 году, заняв прочное положение в «Отечественных записках» Краевского как редактор критического отдела. Решение Краевского передать свой журнал в аренду Некрасову, осуществленное в конце 1867 года, расстроило планы Страхова, и он очутился не у дел. Утвердившись в 1869 году в «Заре», Страхов не упускал случая поддерживать выступления, враждебные преобразованным «Отечественным запискам». Так, он солидаризировался с Антоновичем и Жуковским, выпустившими на шумевшую брошюру «Материалы для характеристики современного состояния литературы», которая, по замыслу ее авторов, должна была явиться обвинительным актом против Некрасова. (Дальше мы покажем, какое значение имела страховская статья, написанная по этому поводу, для обрисовки одного персонажа в «Бесах».) Присоединился Страхов и к известной уже нам кампании, которая была поднята статьей В. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты», направленной главным образом против Щедрина. Затем он принял участие в горячей полемике Я. Полонского с «Отечественными записками», возникшей вследствие отрицательного отзыва Щедрина о сборнике поэта «Сноп». И вообще на протяжении 1869—1871 годов Страхов неоднократно по тому или иному поводу высказывал крайне враждебное отношение к некрасовскому журналу и его руководителям. В частности, после опубликования цитированной рецензии на брошюру Н. Соловьева «Суета сует» он написал статью, в которой охарактеризовал сатирическую деятельность Щедрина как... «буффонство». Позднее Страхов уверял читателей «Зари» и в том, что публицист «Отечественных записок» Демерт провозгласил «воровство зиждительным началом»...

Достоевский намеревался деятельно сотрудничать в «Заре», идейное направление которой было ему близко, но напечатал там только повесть «Вечный муж», — более активному участию в этом журнале помешали его дело-

вые обязательства перед «Русским вестником». По ознакомлении в 1869 году с первой книжкой «Зари» он советовал Страхову не воздерживаться от ведения полемики с «Отечественными записками», так как «она дает чрезвычайно удобный способ к разъяснению мысли» и «публика слишком любит ее». За полемикой Страхова с некрасовским журналом Достоевский, без сомнения, следил, и можно полагать, что она особенно привлекала его внимание, так как в это время им писались «Бесы», целиком направленные против революционно-демократического лагеря. Начальные главы «Бесов» (I—IV) были напечатаны в январской и февральской книжках «Русского вестника» за 1871 год. И вслед за их опубликованием, в апреле того же года, Щедрин в анонимной рецензии на роман Омулевского «Светлов» выступил с критической оценкой творчества Достоевского.

«В деятельности известнейших представителей современной русской беллетристики,— писал он,— замечается очень резкое внутреннее противоречие. С одной стороны, она представляет как бы протест против господства реализма в искусстве, с другой — фаталистически удерживается на почве того же реализма со всею полнотою внутреннего содержания, которое питает его в данную минуту...

Не по сердцу то, что содержание это имеет характер, совершенно не сходственный с прежним; что тут на первом плане стоят совсем иные задачи, нежели те, которые когда-то волновали общество; что из-за этих задач уже выглядят другие в качестве предведений и предчувствий будущего; что эти предведения и предчувствия, несмотря на свою неопределенность и смутность, уже занимают умы и, вопреки требованиям здравой логики о постепенном, всестороннем и неторопливом рассмотрении возникающих вопросов, ставятся на очередь, так сказать, без всякой очереди. Действительный смысл событий, надежд и порываний оказывается неясным; перед глазами разворачивается лишь хаотическое сновидение, неисполненное бесцельных мельканий, исчезновений и появлений; и хотя эти мелькания небеспричинны — они означают искание опорной точки, которой нет и которую необходимо найти, чтобы ввести жизнь в правильную колею, но для людей, уже отыскавших такую точку или мнящих, что отыскивали ее, оно представляется просто отрицанием

всякого прочного исходного пункта. Отсюда — сомнение не только в плодотворности, но и в самой законности жизни с подобным характером...

Что в этом направлении главных деятелей современной русской беллетристики главную роль играют всевозможные недоумения — об этом было уже достаточно говорено; но мы имеем возможность указать на пример, относительно которого не может быть даже речи о недоумениях, недомыслиях, непониманиях или о чем-нибудь подобном и в котором упомянутое выше внутреннее противоречие высказывается еще с большею резкостью. Пример этот представляет Ф. М. Достоевский. По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвещаний и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества. Укажем хотя на попытку изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в основание романа «Идиот», — и, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это такая задача, перед которою бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т. п. Это, так сказать, конечная цель, в виду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями. И что же? несмотря на лучезарность подобной задачи, поглощающей в себе все переходные формы прогресса, г. Достоевский, нимало не стесняясь, тут же сам подрывает свое дело, выставляя в позорном виде людей, которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в которую, повидимому, устремляется и заветнейшая мысль автора. Дешевое глумление над так называемым нигилизмом и презрение к смуте, которой причины всегда оставляются без разъяснения, — все это пестрит произведения г. Достоевского пятнами совершенно им несвойственными и рядом с картинами, свидетельствующими о высокой художественной прозорливости, вызывает сцены, которые доказывают какое-то уже слишком непосредственное и поверхностное понимание жизни и ее явлений. Где кроется причина

столь глубокого противоречия? В простой ли случайности, или в нежелании автора разделить сущность вещей от тех внешних и не всегда приятных для глаз потуг, которыми всегда сопровождается рождение нового явления,— это покажет время. Но нельзя не согласиться, что этот внутренний раскол производит впечатление очень грустное и притом весьма существенно отражается на творческой силе самого автора. С одной стороны, у него являются лица, полные жизни и правды, с другой — какие-то загадочные и словно во сне мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева...

Жизненные вопросы, занимающие в данную минуту общество, могут, конечно, представлять большую запутанность и с этой точки зрения подвергаться критике, но не о правах критического отношения к ним идет здесь речь (незыблемость этих прав необходима в видах дальнейшего прогрессирования жизни), а о том, что за этими запутанными и невыясненными вопросами стоит нечто, не представляющее уже никакой запутанности и неясности. Это ясное и незапутанное — есть стремление человеческого духа прийти к равновесию, к гармонии...

Только из общих результатов, в которых утопают случайные частности, делается вполне ясным действительный смысл совершающихся событий, и никакой историк не имеет права обойти эти результаты, если желает, чтоб оценки его имели убедительность. Ежели же современники и не видят еще этих общих результатов, то они не имеют права упускать из вида, что существует закон прогресса, несомненность которого свидетельствуется историей и напоминание о котором должно во всяком случае заставить их быть осмотрительнее в своих оценках»¹.

Эта характеристика замечательна тем, что, отдавая должное таланту Достоевского, Шедрин с исключительной объективностью и проницательностью указал на «внутренний раскол» в нем². Кроме того, приведенная

¹ Н. Шедрин (М. Е. Салтыков), т. VIII, стр. 436—439.

² «Бесы» и последующие произведения Достоевского окончательно утвердили Шедрина в оценке его литературной деятельности. «...у Достоевского был первостепенный талант, — заметил Шедрин в беседе с Н. Белоголовым, — но только он в своих произведениях уродовал его, отдал на служение и восхваление самых уродливых тенденций» (Н. А. Белоголовый, Воспоминания, стр. 221).

характеристика представляет выдающийся интерес, поскольку она живыми нитями связана со взглядами Щедрина на современную ему действительность, исторический процесс и назначение литературы. Этот широкий диапазон и глубокий смысл щедринской оценки направления творческих исканий автора «Идиота» мы обнаруживаем при сопоставлении ее с четвертой главой «Итогов», напечатанной в той же книжке «Отечественных записок», где была опубликована рецензия на роман Омулевского.

«Здоровая традиция всякой литературы, претендующей на воспитательное значение,— писал там Щедрин,— заключается в подготовке почвы будущего. Исследуя нравственную природу человека, литература не может не касаться и тех общественных комбинаций, среди которых человек проявляет свою творческую силу... Ежели современный человек зол, кровожаден, завистлив и алчен, если высшие интересы человеческой природы он подчиняет интересам второстепенным, то это еще не устраняет возможности такой общественной комбинации, при которой эти свойства встретят иное применение, а следовательно примут и иную складку...

Литература провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего человека. Утопизм не пугает ее, потому что он может запугать и поставить втупик только улицу. Типы, созданные литературой, всегда идут далее тех, которые имеют ход на рынке, и потому-то именно они и кладут известную печать даже на такое общество, которое, повидимому, всецело находится под гнетом эмпирических тревов и опасений»¹.

Эти мысли Щедрина о назначении литературы уясняют, почему он дал такую высокую оценку попытке Достоевского нарисовать в «Идиоте» образ «положительно прекрасного человека», достигшего «полного духовного и нравственного равновесия». Горячее сочувствие Щедрина такому творческому почину, крайне характерное для его теоретических воззрений и практики литературного критика², являет в нем чрезвычайно оригинальную особенность — сатирик по самой природе своего таланта, казалось бы, должен был быть весьма далек от подобного

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VII, стр. 454—455.

² Вопрос о борьбе Щедрина-критика за создание положительного образа в литературе освещен в нашей вступительной статье к VIII тому Полного собрания его сочинений.

умонастроения. Между тем именно это сочувствие и является одним из ярких свидетельств того, что современная действительность отрицалась в щедринской сатире во имя социалистического идеала. Такой характер отрицания наглядно выражен в четвертой главе «Итогов» непревзойденным по сарказму сопоставлением двух фаланстеров, которое бросает неожиданный свет на творческую историю создания образа «властного идиота» Угрюм-Бурчеева как полярной противоположности «Идиота» Достоевского. Попутно отметим, что это определение «властный идиот» вызвало возражение в критике. После издания «Истории одного города» А. Суворин в статье «Историческая сатира», напечатанной в апреле 1871 года, между прочим писал, что «эпитет «идиот» употреблен им (Щедриним.— С. Б.) совершенно излишне, по привычке к крепким словам», и указывал на то, что «подобное отношение к герою — нехудожественный прием; герой должен выходить цельным образом, без этих, часто ничего не говорящих, при всей своей резкости, эпитетов». Апрельской книжки «Вестника Европы» со статьей Суворина сатирик еще не мог иметь, когда писал четвертую главу «Итогов», которая была также напечатана в апреле 1871 года. Но в этой главе, противопоставляя друг другу два фаланстера, Щедрин как бы отвечал на недоумение своего критика, не уловившего иносказательный смысл эпитета «властный идиот» в применении к Угрюм-Бурчеву, и в следующих изданиях «Истории одного города» сатирик оставил его, *изъяв в то же время другое место, оспоренное Сувориным*. Вот что писал Щедрин в «Итогах», повидимому имея в виду замысел романа «Идиот» и свое собственное гениальное создание — образ Угрюм-Бурчеева:

«Нас страшат именами Кабе и Фурье, нам представляют какое-то пугало в виде фаланстера, а мы спокон веку живем в фаланстере и даже не чувствуем этого! Не чувствуем, потому что к фаланстеру Фурье надо пройти через множество разнообразных общественных комбинаций, составляющих принадлежность периода цивилизации, а наш фаланстер сам подкрался к нам, помимо всяких комбинаций, и следовательно достался, так сказать, даром, без всякой цивилизации...

То нравственное равновесие, которое, по предположению Фурье, достигается при посредстве гармонической

игры страстей, давным-давно нами достигнуто и воплощено путем гораздо кратчайшим: путем крепостного права. Не надо забывать, что хотя крепостное право не только не поощряло игру страстей, но даже безусловно преследовало всякие азартные игры, но это ограничение отнюдь не исключало возможности гармонии. Страсти не играли, но взамен того регулировались, и так как регуляризация эта, для большей верности, была сосредоточена в одном лице (помещике), то весьма естественно, что для прочих членов крепостного фаланстера оставалось одно: равновесие души. Идя другим путем, вступая в храм гармонии с заднего крыльца, мы тем не менее имели полное право кичиться, что главная цель нами достигнута. Это была действительная гармония тишины, порядка и беспечности. Об угрозах будущего не могло быть и речи, потому что когда люди уже стоят на точке нравственного равновесия, тогда им море по колена, а следовательно необеспеченность вполне равняется обеспеченности. Если человек совершенно уверен в необеспеченности своего завтрашнего дня, то это все равно, как бы он был совершенно уверен в его обеспеченности. Уверенность — вот главное; с исчезновением ее начинается смута. Несчастье человека, стоящего между двумя фаланстерами, крепостным и гармоническим, в том собственно и заключается, что в нем уже поколебалась уверенность, что он уже может нечто подозревать и о чем-то беспокоиться. Он еще не достиг действительного нравственного равновесия, но в то же время уже вышел из состояния тела, перебрасываемого из дня в день по прихоти ветров. Ясно, что он должен быть несчастлив...»¹

Характеристика «крепостного фаланстера», выросшая из неожиданного, поистине щедринского сопоставления «простодушной обыденности» с утопией Фурье, заключает в себе драгоценный авторский комментарий к образу Угрюм-Бурчеева, в котором «страстность была вычеркнута из числа элементов, составляющих его природу, и заменена неуклонностью, действовавшей с регулярностью самого отчетливого механизма». Вместе с тем в этой характеристике содержатся и размышления по поводу «Идиота» Достоевского. Высоко оценивая попытку воплотить в художественном образе главного героя романа

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VII, стр. 445—446.

гармоническое состояние «полного духовного и нравственного равновесия», Щедрин напоминает, однако (как бы продолжая спор с Достоевским в «Господах ташкентцах»), что оно может быть достигнуто не иначе, как прохождением «через множество разнообразных общественных комбинаций, составляющих принадлежность периода цивилизации». Иным способом, «даром, без всякой цивилизации», мог достаться только «крепостной фаланстер», воплощающий «систематический бред» Угрюм-Бурчеева о «всеобщем равенстве перед шпицрутеном», которое он задумал осуществить посредством приведения глуповцев, «годных для работ», к безусловному послушанию и путем насаждения шпионажа в каждой «поселенной единице». Такова бредовая утопия «властного идиота», знаменующая «вступление в храм гармонии с заднего крыльца», минуя цивилизацию, и являющаяся собою жуткую карикатуру на фаланстер Фурье, на его утопическую систему создания «рая на земле» и достижения человеком «нравственного равновесия». В дальнейшем мы покажем, как эту бредовую утопию «фанатического нивелятора» использовал Достоевский в полемически-инсинуаторских целях.

В «Итогах» содержится также указание на происхождение смуты, к которой Достоевский выражает презрение, не вскрывая ее причин. Одну из таких причин Щедрин видит в том, что «человек, стоящий между двумя фаланстерами, крепостным и гармоническим, ...уже может нечто подозревать и о чем-то беспокоиться». Достоевский, следовательно, с презрением относится к элементам сознательности, начинающим проникать в умы. Такое же отношение к «смуте», замечает в «Итогах» Щедрин, проявляет и тот литературный лагерь, который, вместе с «улицей», вопит: «Довольно! Чего же довольно? наездов ли, устраниний ли, душевных ли выеомок, проявлений ли бессознательности, произвола и дикости? — Нет, не этого. Довольно жертв, довольно усилий, направленных к тому, чтобы стать на стезю сознательности»¹. Подоплеку этой «уличной философии» Щедрин характеризует таким образом:

«Только глубоко вкоренившееся, так сказать, историческое презрение к самим себе, только вполне бесповорот-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VII, стр. 455.

ное убеждение, что мы не только в настоящую минуту состоим в должности кадетов цивилизации, но и навсегда осуждены на эту роль, могло произвести подобный результат. Для всех (то есть, говоря трактирным слогом, для тех, которые почище) — цивилизация с ее благами, открытиями и движением; для нас (то есть для тех, которые еще рылом не вышли) — обрезки, помои и старое, заношенное белье»¹.

Как видим, в ином контексте, сатирик возвращается здесь к теме цивилизации, разработанной им в «Митрофанах» и других рассмотренных нами очерках из цикла «Господа ташкентцы». И мы можем отметить, что понятие «цивилизации» ассоциируется у него и с «движением», то есть с активно проявляющей себя передовой, революционной мыслью Запада. На этой почве он и выступает в «Итогах» — своеобразном юбилейном обозрении первого пореформенного десятилетия в истории России — против «разнузданного энтузиазма» либералов, в своем пресмыкательстве перед самодержавием полагающих, что «мы, по самой природе своей, не имеем права ни к чему приступить, не исполнив предварительно танца благоговения и вечной признательности»². Какие «мундиры» носят люди, провозглашающие, что «душа бессмертна и что тарелку надлежит подавать с благоговением», — западников, славянофилов или «почвенников», — Щедрина безразлично, ибо в конечном счете все они солидаризируются в главном — охранении «устоев» существующего порядка вещей, хотя «одни видят разгадку будущих русских судеб в слове «цельность», другие — в слове «смирение», третьи — в слове «любовь», четвертые, наконец, даже не дают себе труда порыться в лексиконе, а просто-напросто сулят слово новое, неслыханное»³.

Этот ход мысли и привел сатирика к уподоблению Митрофана либералу, хотя, разумеется, он не мог не знать о разногласиях и спорах между «почвенниками» и западниками. Но если лагерю «почвенников» Щедрин дает безусловно отрицательную оценку, то на Достоевского он распространяет ее только частично. От более категорического суждения его удерживает мысль, что этот писатель,

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VII, стр. 456.

² Там же.

³ Там же, стр. 441.

стоящий «по глубине замысла, по ширине задач нравственного мира... совершенно особняком», может быть, со временем обнаружит стремление «отделить сущность вещей от тех внешних и не всегда приятных для глаз потуг, которыми всегда сопровождается рождение нового явления», и таким образом преодолее в себе глубокие противоречия, умаляющие его «высокую художественную прозорливость».

Помимо «презрения к смуте», Щедрин выделяет и другой признак, свидетельствовавший о наличии таких противоречий в Достоевском. Это — «дешевое глумление над так называемым нигилизмом». Сатирик отчасти, вероятно, имеет здесь в виду иносказательный смысл проанализированной нами сцены, в которой толкователь апокалипсиса, Лебедев, поставил Герцена в один ряд с «людоедом человечества» Мальтусом. Но рецензия Щедрина удостоверяет в том, что упомянутую сцену он связал еще с одним эпизодом в «Идиоте», а именно: с уже известной нам «цивилизаторской» речью князя Мышкина, в которой от него не укрылся и другой намек на Герцена — автора книги «С того берега». Этот намек содержится в характеристике «русских атеистов» — социалистов, по словам Лебедева, готовых «зажечь мир с четырех концов» из чувства «оскорбленного тщеславия». Князь Мышкин решительно расходится с такой оценкой «друзей человечества», указывая на воодушевляющий «русских атеистов» высокий идейный пафос, выражающий собою благородную национальную черту. «Наши как доберутся до берега, как уверуют, что это берег,— говорит он,— то уж так обрадуются ему, что немедленно доходят до последних столпов... И не нас одних, а всю Европу дивит, в таких случаях, русская страстность наша... Отчего это, отчего разом такое исступление? Неужто не знаете? Оттого, что он отечество нашел, которое здесь просмотрел, и обрадовался; берег, землю нашел и бросился ее целовать! Не из одного ведь тщеславия, не все ведь от одних скверных тщеславных чувств происходят русские атеисты... а и из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине...»¹

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VI, стр. 480.

Этим словам князя Мышкина, однако, противоречит другое его высказывание на ту же тему.

Явившись, в сопровождении генеральши Лизаветы Прокофьевны, на дачу Епанчиных, князь Мышкин застал там тесный кружок друзей дома и среди них Евгения Павловича, который неожиданно завел разговор о русских социалистах. Чрезвычайно взволнованный присутствием Аглаи и ожиданием объяснения с ней, князь вначале рассеянно слушал Евгения Павловича, но затем заинтересовался его речью.

«...я утверждаю,— говорил он,— что у нас нет ни одного русского социалиста; нет и не было, потому что все наши социалисты... из помещиков или семинаристов. Все наши отъявленные, афишированные социалисты, как здешние, так и заграничные, больше ничего как либералы из помещиков времен крепостного права...» «— Я вам, господа, скажу факт,— продолжал он прежним тоном, то есть как будто с необыкновенным увлечением и жаром и в то же время чуть не смеясь, может быть, над своими же собственными словами,— факт, наблюдение и даже открытие которого я имею честь приписывать себе и даже одному себе; по крайней мере об этом не было еще нигде сказано или написано. В факте этом выражается вся сущность русского либерализма того рода, о котором я говорю... факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение... на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг... Факт этот верный, я стою за это и... надобно же было высказать когда-нибудь правду вполне, просто и откровенно»¹.

С таким взглядом на русских социалистов мы уже ознакомились по записи Достоевского о «белоараповцах» — единомышленниках Чернышевского, — относящейся к 1864 году, и по письму к Майкову от 1 марта 1868 года, где речь шла об авторе «Нового Нарцисса»... Выше была установлена родственность этого взгляда с идеей «Бесов», где Достоевский высказал его устами

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VI, стр. 295.

Шатова, заострив общее резко отрицательное суждение о «крайней либеральной партии» полемическими намеками опять-таки на сатирическую деятельность Щедрина. Как же отнесся князь Мышкин к обличительной тираде Евгения Павловича? Если последний произнес ее «как будто с необыкновенным увлечением и жаром и в то же время чуть не смеясь, может быть, над своими же собственными словами», то Мышкин отозвался на нее совсем иначе.

«— Я... должен сказать, что я мало видел и мало был... с либералами,— сказал князь,— но мне кажется, что вы, может быть, несколько правы и что тот русский либерализм, о котором вы говорили, действительно отчасти наклонен ненавидеть самую Россию, а не одни только ее порядки вещей. Конечно, это только отчасти... конечно, это никак не может быть для всех справедливо...

Он замялся и не закончил... Евгений Павлович... при ответе его, как-то очень серьезно посмотрел на него, точно совсем не ожидал от него такого ответа.

— Так... вот вы как, однако, странно,— проговорил он,— и вправду, вы серьезно отвечали мне, князь?

— Да разве вы не серьезно спрашивали? — возразил тот в удивлении.

Все засмеялись»¹.

Такого рода рассуждения Щедрин в цитированной рецензии охарактеризовал как авторский «дидактизм, полемизирующий в пользу интересов отживающих и в ущерб интересам нарождающимся и ищущим для себя осуществления не ради удовлетворения чьей-либо прихотливой фантазии, но ради жизненной силы, которая заключается в них самих». И при этом он заметил, что вообще «дидактизм трудно уживается с искусством, и особенно дидактизм задним числом», то есть подобный охарактеризованному выше. Действительно, полемическая тенденция, вложенная в уста князя Мышкина, существенно нарушила художественную цельность образа.

В предшествующем изложении мы пытались выяснить, к каким тенденциям в произведениях Достоевского шестидесятых годов Щедрин относился отрицательно. Неосвященным остался только полемический эпизод, свя-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. 6, стр. 296—297.

занный с «Зимними заметками о летних впечатлениях», и анализом его мы заключим настоящую главу.

Выше уже отмечалось, что в «Зимних заметках» для Щедрина был неприемлем характер отрицания буржуазной цивилизации, поскольку Достоевский критиковал ее с «печеринских» позиций. Такая тенденция особенно отчетливо обозначилась в VI главе «Зимних заметок» («Опыт о буржуа»), в которой много места уделено обоснованию того взгляда, что на Западе невозможен социализм.

«Западный человек,— писал Достоевский,— толкует о братстве, как о великой движущей силе человечества, и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы ни стало. Но оказывается, что сделать братства нельзя, потому что оно само делается, дается, в природе находится. А в природе французской, да и вообще западной, его в наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка... в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не *Я*, должна хлопотать о праве своей равноценности и равновесности со всем *остальным*, а все то это *остальное* должно бы было *само* прийти к этой требующей права личности, к этому отдельному *Я* и само, без его просьбы, должно бы было признать его равноценным и равноправным себе... Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была все свое *Я*, всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но, напротив, отдать его обществу без всяких условий... Это закон природы; к этому тянет нормально человека. Но тут есть один волосок, один самый тоненький волосок, но который если попадет под машину, то все разом треснет и разрушится. Именно: беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды... Как же сделать? Сделать никак нельзя, а надо, чтоб *оно само собой* сделалось, чтоб оно было в натуре...

Социалист, видя, что нет братства, начинает уговаривать на братство... В отчаянии социалист начинает делать, определять будущее братство, рассчитывает на вес и на меру, соблазняет выгодой, толкует, учит, рассказывает, сколько кому от этого братства выгоды придется... Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его,

работу ему доставить, и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела... И ведь на воле бьют его, работы ему не дают, умирает он с голоду и воли у него нет никакой, так нет же, все-таки кажется чудачку, что своя воля лучше»¹.

В этих рассуждениях можно проследить направление мысли, приведшее Достоевского — год спустя — к «Запискам из подполья». Понятие «настоящего братства» включает в себе ту же идею, которую «подпольный» человек вложил в символ «хрустального здания», противопоставленного им «хрустальному дворцу», воплощению социалистической утопии в романе Чернышевского «Что делать?» Тема «выгоды» и личной, хотя бы и иллюзорной, свободы, весьма выразительно очерченная в «Зимних заметках» противопоставлением человеческой натуры разуму, приобрела в «Записках из подполья» напряженно-патетический характер вследствие выдвижения на первый план мотива страдания, которого якобы взыскует для себя человек, как «самой выгодной выгоды»².

В «Зимних заметках о летних впечатлениях» Щедрин и уловил ту тенденцию, которая вскоре уже совершенно отчетливо предстала ему в «Записках из подполья», охарактеризованных им как «Записки о бессмертии души». Эта тенденция прежде всего выступала в восприятии Достоевским лондонского «Сити с своими миллионами, всемирной торговлей, кристалльным дворцом, всемирной выставкой», как «какого-то пророчества из апокалипсиса,

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. IV, стр. 85—88. (Курсив Достоевского.)

² Такое крайнее заострение мотива страдания, повидимому, связано с тем, что в пору работы над «Записками из подполья» взгляд Достоевского на природу человека претерпел изменение. Если автор «Зимних заметок» утверждал, что готовность личности отдать себя целиком обществу, без всяких помышлений о собственных интересах, является «законом природы» и «к этому тянет нормально человека», то позднее Достоевский пришел к убеждению, что не только «западный человек», но и всякий другой не имеет и не может иметь природного чувства любви к ближнему. Неопубликованная запись 1864 года, из которой мы привели обширную выдержку во второй главе нашей работы, открывается именно такого рода ревизией прежнего воззрения на природу человека. Мы читаем там:

«Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христо-

в очию совершающегося». Поясняя свою мысль читателям, Достоевский писал: «Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут-то уже достигнуто, что тут победа, торжество... Уж не это ли в самом деле достигнутый идеал? думаете вы... Не придется ли принять это и в самом деле за полную правду и занеметь окончательно?» Возражение, что «голод и рабство не свой брат и лучше всего подскажут отрицание и зародят скептицизм», отводится как малоубедительное. «При такой колоссальности,— пишет Достоевский,— при такой исполинской гордости владычествующего духа, при такой торжественной оконченности созданий этого духа, замирает нередко и голодная душа, смиряется, подчиняется, ищет спасения в джине и в разврате и начинает веровать, что так всему тому и следует быть... И вы чувствуете, глядя на всех этих париев общества, что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд и что долго еще будут они взывать ко престолу всевышнего: «доколе, господи». И они сами знают это и покамест отмщают за себя обществу какими-то подземными мормонами, трясучками, странниками... Мы удивляемся глупости идти в какие-то трясушки и странники и не догадываемся, что тут — отделение от нашей общественной формулы, отделение упорное, бессознательное; инстинктивное отделение во что бы то ни стало для ради спасения...»¹

вой — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствую».

И далее Достоевский следующим образом заключает свои размышления на эту тему:

«И так человек стремится на земле к идеалу, *противуположному* его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, т. е. не приносил *любовью* в жертву своего Я людям или другому существу... он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. И так человек непрерывно должен чувствовать страдание, которое уравнивается райским наслаждением исполнения закона, т. е. жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна» (Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, Фонд Ф. М. Достоевского, I §, стр. 41 и 53. Подчеркнуто Достоевским).

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. IV, стр. 76—77.

Что именно спасают «прогнанные с пиру людского... своими старшими братьями», входя в различные религиозные секты, об этом Достоевский прямо не говорит, но всем сказанным подводит к выводу, что, «идя в какие-то трясучки и странники», они спасаются от «гордого и могучего духа», сатанинского начала, пришествие которого в мир было возведено в апокалипсисе... Таким образом, спасение «париев общества» до тех пор, когда «сбудется для них пророчество» и «дадут им пальмовые ветви и белые одежды», заключается в «отмщении», которое не может изменить поработившую их «общественную формулу» — буржуазную цивилизацию. Противостоящая же торжествующей новая «общественная формула» — социализм также невозможен, ибо поработанные массы на Западе по своей природе чужды «настоящему братству».

Эти реакционные общественные тенденции, проникающие изображение ночного Лондона, имел в виду Шедрин, когда саркастически приписал «Зимние заметки о летних впечатлениях» перу «нового мормона за все время одержания бесами». И как бы приняв этот вызов из враждебного, революционно-демократического лагеря¹, Достоевский вскоре создает «обличительную» исповедь «подземного мормона» — «Записки из подполья»... Иным образом он затем откликается на этот же вызов описанием кошмарных снов Раскольникова и, наконец, высказывается в «Бесах», стремясь ответить на целый комплекс вопросов, поставленных перед ним его идейным противником на протяжении шестидесяти годов.

Рассмотрением «Бесов» под этим углом зрения мы займемся в следующей главе.

¹ В третьей главе «Зимних заметок о летних впечатлениях» содержатся резкие выпады против «нашей крайне-прогрессивной партии», пол которой подразумевается направление «Современника». Издание «Современника» возобновилось — после восьмимесячной приостановки правительством — с начала 1863 года. Когда Достоевский писал третью главу «Зимних заметок», первая (двойная) книга «Современника» за январь—февраль 1863 года еще не появилась; следовательно, он полемизировал с «Современником» Чернышевского, а не новой редакции.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

5 апреля (н. ст.) 1870 года Достоевский сообщал Страхову о своей работе над «Бесами»:

«На вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь».

И далее, касаясь печатных выступлений Страхова в «Заре», Достоевский писал:

«Но отвечаю на Ваш вопрос — почему я нашел в Заре недостаток *самоуверенности*? Я может быть не точно выразился, но вот что: Вы слишком, слишком мягки. Для них надо писать с плетью в руке... Если б Вы на них поазартнее и *погрубее* нападали — было бы лучше. Нигилисты и западники требуют окончательной плети»¹.

Эти строки, характеризующие настроение Достоевского в период работы над «Бесами», целиком подтверждают слова Щедрина, что их автор писал «руками, дрожащими от гнева». Когда сатирик высказал это суждение, он ознакомился только с начальными главами «Бесов», которые не давали еще основания для такого заключения. Но замысел романа выражен в евангельском эпиграфе, а выбор последнего сам по себе говорил о намерении автора напасть на политических противников «поазартнее и погрубее». Об этом эпиграфе Страхов писал Достоевскому: «Ваше сравнение... что нигилисты — свиньи, в которых вселились бесы, обладавшие Россией, — прелесть. И я также верю, что они погибнут...»² Против замысла «Бесов» и было направлено предостерегающее указание в рецензии Щедрина, что если современникам не ясен «действительный ход совершающихся событий», то «они не имеют права упускать из вида, что существует закон прогресса, несомненность которого свидетельствуется историей и напоминание о

¹ Ф. М. Достоевский, Письма, т. II, стр. 257 и 259. (Курсив Достоевского.)

² Там же, стр. 494.

котором должно во всяком случае заставить их быть осмотнительнее в своих оценках».

На основе всего проанализированного материала можно утверждать, что замысел романа «Бесы» не явился результатом внезапной перемены в умонастроении его автора. Реплика о «нигилистах и западниках, требующих окончательной плети», созвучна содержанию цитированного письма Достоевского к Майкову от 1 марта (н. ст.) 1868 года. Мы привели из него выдержки, относящиеся к Щедрину, но там речь шла и о Тургеневе; причем, если первый (наряду с Белинским) объявлялся «закоренелым врагом России», то второму в другой форме предъявлялось то же обвинение. В романе, задуманном как политический памфлет, Достоевский не мог не высказать «накопившегося в уме и в сердце» по отношению к Щедрину и Тургеневу. И действительно, как известно, в «Бесах» он вывел автора «Дыма» в карикатурном виде, придав портретное сходство с ним писателю Кармазинову. По этому поводу Тургенев писал М. А. Милютиной: «Достоевский позволил себе нечто худшее, чем пародию... он представил меня, под именем К[армазинова], тайно сочувствующим Нечаевской партии»¹. Что касается Щедрина, то, как установлено в предыдущей главе, Достоевский устами Шатова в прикровенной форме бросил сатирику обвинение, высказанное им раньше в письме к Майкову. Но этим он не ограничился. Достоевский помнил о Щедрине и при обрисовке одного из персонажей своего нового романа. Для того, чтобы раскрыть полемический характер изображения этого персонажа, нам придется вернуться к роману «Идиот».

II

В «Идиоте» Щедрин не мог не обратить внимания на эпизод, в котором он задевался лично, хотя имя его не было упомянуто. Как и в «Преступлении и наказании», выпад Достоевского относился к спору Щедрина с ним в 1863—1864 годах. В единственном номере «Свистка», выпущенном в 1863 году, Щедрин среди других аноним-

¹ «Русская старина», 1884, № 1, стр. 191—192. Письмо из Парижа от 15 декабря (н. ст.) 1872 года.

ных полемических материалов напечатал следующий отрывок из «детской сказки в стихах», озаглавленной «Самонадеянный Федя»:

Федя богу не молился,
«Ладно,— мнил,— и так!»
Все ленился да ленился...
И попал впросак!
Раз беспечно он «Шинелью»
Гоголя играл
И обычной канителью
Время наполнял...¹

Эти стихи, в которых сатирик единственный раз допустил личный выпад в идейной полемике с противником, надолго сохранились в памяти Достоевского, и пять лет спустя он пародировал их в «Идиоте», приписав видоизмененный текст автору «Губернских очерков». Читателей должно было навести на такую догадку указание, предварявшее пародию: «Говорят, один из известнейших юмористов наших обмолвился при этом восхитительной эпитафией, достойной занять место не только в губернских, но и в столичных очерках наших нравов»².

«Восхитительная эпитафия» в «Идиоте» воспроизводила сплетню, крайне предосудительный характер которой подчеркивался тем обстоятельством, что она была включена в инсинуаторскую статейку, направленную против «положительно прекрасного человека», героя романа — Льва Николаевича Мышкина. Эта статейка заканчивалась так:

Лёва Шнейдера шинелью
Пятилетие играл
И обычной канителью
Время наполнял.

¹ Этот эпизод частично раскрыт в статье В. С. Дороватовской-Любимовой «Достоевский и шестидесятники». — См. сб. «Достоевский», изд. ГАХН, М. 1928, стр. 31—32.

² Заметим, что форма этого полемического намека была раньше изыскана Аполлоном Григорьевым. В статье «Парадоксы органической критики», напечатанной в виде письма к Достоевскому в том же номере «Эпохи», где появился «Щедродаров», Аполлон Григорьев, вспоминая о своем давнишнем разговоре с Щедриным по поводу одной книги, писал, что его неназванный собеседник «тогда не только одни губернские сплетни рассказывал, но подчас к народу сильное сочувствие высказывал» («Эпоха», 1864, май, стр. 279).

Возвратясь в штиблетах узких,
Миллион наследства взял,
Богу молится по-русски,
А студентов обокрал¹.

Известно, что в ряде романов Достоевского нашли прямое или косвенное отражение реальные факты, которые получили широкую публичную огласку, как, например, судебные дела уголовного и политического характера. В частности, и при создании романа «Идиот» Достоевского сильно занимало нашумевшее уголовное дело Умецких, отчеты о котором печатались в газете «Голос». Там же зимой 1867 года была опубликована заметка о сотруднике мелкого петербургского периодического издания, вымогавшем у состоятельных людей «приличное вознаграждение» под угрозой опорочить их в печати, если они не внесут требуемой суммы. В тех случаях, когда шантажист встречал отпор, он приводил свою угрозу в исполнение и в пасквильных фельетонах позорил имена «самых достойных людей, известных своей честностью, воспитанием и образованием в кругу порядочного общества»².

Это газетное сообщение не могло остаться незамеченным Достоевским не только потому, что «Голос» ежедневно прочитывался им «до последней литеры», как он писал Майкову 31 декабря 1867 года из Женевы³. Должен был обратиться на себя его внимание и самый факт, изложенный в заметке: в своих произведениях Достоевский и раньше касался вопроса об обличительном направлении в журналистике, причем враждебным ему органам печати — «Искре» и «Отечественным запискам» редакции Краевского — он приписывал стремление не только обличать, но «даже поклеветать». Поэтому приведенный в газете факт мог натолкнуть Достоевского на мысль изобразить в «Идиоте» «нечто аналогическое». А поскольку он коснулся подобного сюжета, представилась возможность сделать своего идейного противника Щедрина автором «восхитительной эпиграммы»...

И в данном случае Достоевский солидаризировался с клеветнической кампанией, которая велась против «Оте-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VI, стр. 235.

² «Голос» от 23 декабря 1867 года.

³ Ф. М. Достоевский, Письма, т. II, стр. 64.

чественных записок» реакционной печатью, в частности журналом «Всемирный труд». «Всемирный труд» не преминул использовать сообщение «Голоса». Анонимный автор библиографической заметки в майском номере этого журнала за 1868 год, напоминая читателям о скандальных похождениях фельетониста-вымогателя, писал: «Впрочем, статьи ругательного свойства составляют принадлежность не одних только мелких петербургских газет... Даже новые «Отечественные записки», отличавшиеся прежде умеренностью и тактом своего направления, обзавелись теперь литературными башибузуками, никак не желая или не умея понять, что эти литературные башибузуки, еще так недавно глумившиеся над их ответственным редактором (то есть Краевским, формально остававшимся ответственным редактором «Отечественных записок», переданных им в аренду Некрасову.— С. Б.), выросли на той же самой почве, которая произвела... разных темных людей...»¹ Поскольку о Краевском особенно часто насмешливо отзывался в «Современнике» Щедрин, последнее замечание прежде всего могло относиться к нему².

В романе «Идиот» компания «темных людей», возглавляемая Антоном Бурдовским, главным обличителем князя Мышкина, выразительно охарактеризована Лебедевым. Перед появлением Бурдовского и его друзей генеральша Епанчина осведомляется у него: «— Это самые и есть нигилисты, что ли?» Лебедев, крайне взволнованный в предвкушении стать свидетелем скандальной сцены, к которой он втайне причастен, труся и вместе с тем же-

¹ «Всемирный труд», 1868, май, стр. 272.

² Это подтверждается и тем обстоятельством, что в предыдущем, апрельском, номере журнала «Всемирный труд» против Щедрина уже был сделан аналогичный выпад. И в роли его «обличителя» здесь опять-таки выступил известный нам Загуляев. На этот раз его недовольство вызвал резко отрицательный отзыв сатирика о печатавшейся во «Всемирном труде» повести П. Авенариуса «Поветрие», в которой порнография сочеталась с клеветническими выпадами против Чернышевского. Оценив щедринскую рецензию как «выходку той свирепой и неразборчивой на средства полемики, которая процветала в «Современнике» последней эры», Загуляев отсюда сделал вывод о появлении «литературных башибузуков» в «Отечественных записках». В упомянутой библиографической заметке, написанной, очевидно, тем же Загуляевым, сообщение «Голоса» было использовано с целью еще резче оттенить смысл этого poleмического заявления.

лая появления непрошенных посетителей, стоящих за дверью, поспешно отвечает:

«— Нет-с, они не то чтобы нигилисты... это другие-с, особенные, мой племянник говорил, что они дальше нигилистов ушли-с... потому что прежде всего деловые-с... теперь уже считается прямо за право, что если очень чего-нибудь захочется, то уж ни пред какими преградами не останавливаться, хотя бы пришлось укокошить при этом восемь персон-с»¹.

Князь Мышкин, улыбаясь, отводит эту обличительную тираду, как поклеп на молодых людей, правда заблуждающихся, но не заслуживающих того, чтобы их ставили в один ряд с убийцами. Однако терпко-язвительное словечко Лебедева «деловые-с» и после возражения Мышкина звучит зловеще — как предзнаменование особенной атмосферы, которая вскоре будет господствовать в «Бесах».

Уже первая глава «Бесов» должна была напомнить Щедрина одно из полемических выступлений Достоевского против него в 1863 году. Мы имеем в виду рассказ Степана Трофимовича Верховенского о его поездке с Варварой Петровной в Петербург в начале шестидесятых годов.

«— Мы выехали как одурелые,— рассказывал Степан Трофимович,— я ничего не мог сообразить и, помню, все лепетал под стук вагона:

Век и Век и Лев Камбек,
Лев Камбек и Век и Век...

и черт знает что еще такое, вплоть до самой Москвы. Только в Москве опомнился... О, друзья мои! — иногда восклицал он нам во вдохновении,— вы представить не можете, какая грусть и злость охватывают всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу»².

Приведенные стихи впервые появились в статье Достоевского «Опять «Молодое перо», как ответ на стихотворную пародию Щедрина, в которой он уподобил «почвенников» птицам. В той же статье Достоевский,

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VI, стр. 227.

² Там же, т. VII, стр. 22.

причисляя публициста «Современника» к «хлебным сви-стунам», писал о них, что «это бездарность, волочащая великую идею по улице».

К полемике Достоевского с Щедриным начала шестидесятых годов восходит и рассмотренный эпизод в «Идиоте». «Один из известнейших юмористов наших» напоминает Щедродарова. Юморист этот выступает в «Идиоте» уже как тайный сообщник и незримый спутник «темных людей».

В «Бесах» эта тенденция получает дальнейшее развитие и видоизменение — в характеристике и поведении Липутина, сочинителя пасквильных писем и стишков с «гражданской идеей», одного из сподвижников «Светлой личности», как иронически именуется Верховенский-сын. «Губернский сплетник» Липутин — *закулисный* интриган, но обстоятельства так складываются, что, против собственного желания покоряясь стремительной «деловитости» Петра Степановича Верховенского, он изменяет своему обыкновению действовать исподтишка, оставаясь в тени, и неожиданно для самого себя становится членом «пятерки» и участником убийства Шатова. Из черновых записей к «Бесам» видно, что в образе Липутина окарикатурены отдельные черты реальных лиц: П. Г. Успенского, подсудимого на процессе нечаевцев, и литератора А. П. Милюкова. Представление об Успенском Достоевский мог составить себе по газетным сообщениям и судебному отчету о нечаевском деле; Милюкова же он лично знал еще с сороковых годов, когда тот увлекался учением Фурье и имел некоторое отношение к петрашевцам. По возвращении из Сибири Достоевский поддерживал с ним дружескую связь до конца шестидесятых годов, когда она прервалась вследствие того, что Милюков возмутил его деспотическим поведением в собственной семье. Эти моменты отразились на характеристике Липутина — *фурьериста* и мелкого «семейного тирана».

Но приведенными данными не исчерпывается вопрос о реальных прототипах образа Липутина. В одной из черновых заметок к «Бесам» обращает на себя внимание и такое сопоставление: «Липутин — Рождественский»¹. Смысл этого сопоставления помогает уяснить предваряющая его запись: «Антонович и Жуковский. Июнь/Июль.

¹ «Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 183.

Заря. 25 Июля». Дело в том, что в майской (а не в июньско-июльской) книжке «Зари» 1869 года была напечатана статья Страхова о памфлете Антоновича и Жуковского против Некрасова и редакции «Отечественных записок», озаглавленном «Материалы для характеристики современного состояния литературы». В этой же статье шла речь о брошюре И. Рождественского, написанной в защиту Некрасова и его журнала. Полностью солидаризировавшись с авторами памфлета, Страхов подверг критике ответ Рождественского, квалифицировавшего «Материалы» как «литературно нечестное произведение». Свою отрицательную оценку Рождественский аргументировал тем, что Антонович и Жуковский, выступив с обвинением Некрасова в неискренности убеждений, возбуждают недоверие к его литературной деятельности и таким образом мешают «распространению в массу известных принципов или воззрений». Из этого аргумента Страхов вывел, что в лагере «Отечественных записок» «не заботятся об истине, о справедливости фактов, о твердости и искренности убеждений; существенным и важным они считают только один вопрос: *не повредит ли это либеральной пропаганде?*»¹

В доказательство справедливости такого заключения Страхов сослался на опубликованный в «Отечественных записках» анонимный отзыв Щедрина о «Материалах» Антоновича и Жуковского. В этом отзыве, говоря о «сердито-дешевом подвиге» авторов памфлета, сатирик между прочим отметил, что Антонович и Жуковский выказали «замечательную недогадливость», не обнаружив гораздо раньше, что «Некрасов и Елисеев не что иное, как боа-констрикторы, под отуманивающим взглядом которых они совершенно задаром разыгрывали роли очарованных кроликов». Страхов придал этому ироническому замечанию превратный смысл, усмотрев в нем глумление над Антоновичем и Жуковским за то, что они «по своей *недогадливости* верили в либерализм Некрасова и Елисеева», и отсюда заключил, что автор рецензии, помещенной в «Отечественных записках», и Рождественский беззастенчиво пропагандируют одну и ту же идею, сущность которой исчерпывается «возведением лицемерия в принцип».

¹ «Заря», 1869, май, стр. 170. (Курсив Страхова.)

Таким образом, в свете статьи Страхова уясняется полемическая направленность записи «Липутин — Рождественский»: этим сопоставлением Достоевский связывает одного из персонажей «Бесов» — члена «нечаевской клики» — с кругом «Отечественных записок». Рождественский же в данном случае оказывается в одном ряду с автором анонимной рецензии на «Материалы» Антоновича и Жуковского, принадлежность которой Щедрину, по свидетельству Михайловского, ни у кого не вызвала сомнений — так полно выразились в ней особенности его сатирической манеры.

Но в черновых записях к «Бесам» имя Щедрина не упоминается (как не упоминается там и Тургенев в качестве реального прототипа Кармазинова). И все же Достоевский помнил о Щедрине во время работы над своим новым романом. Об этом свидетельствует известная нам реплика Шатова по поводу «Господ ташкентцев»; подтверждается это и другими данными. Так, в черновых записях к «Бесам» Шигалев фигурирует под кличкой «вислоухий», которую Щедрин дал В. Зайцеву в полемике с «Русским словом». Как видно из этих записей, изображая «вислоухого» Шигалева, Достоевский также метил в Зайцева¹. Другой пример. Липутин называет Кармазинова «великим писателем». В ироническом тоне о Тургеневе так отозвался Щедрин (в заметке «Литературная подпись», 1863 г.), что, по объяснению Достоевского, и побудило его начать полемику с публицистом «Современника».

Однако для выяснения занимающего нас сейчас вопроса существенны не только эти записи Достоевского, но и некоторые черты характеристики Липутина.

«Стариннейшим членом кружка, — рассказывает хроникер «Бесов», — был Липутин, губернский чиновник, человек уже немолодой, большой либерал и в городе слышший атеистом... Человек был беспокойный... в городе его мало уважали... К тому же он был явный и не раз уже наказанный сплетник... Но мы любили его острый ум, любознательность, его особенную злую веселость»².

Далее хроникер дополняет эту характеристику:

¹ «Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 90, 130, 249.

² Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VII, стр. 25.

«Хотя я терпеть его не мог,— говорит он,— но сознаюсь, что у него был дар заставить себя слушать и особенно, когда он очень на что-нибудь злился... Он знал во всякую минуту все самые последние новости и всю подноготную нашего города, преимущественно по части мерзостей... Мне всегда казалось, что главною чертой его характера была зависть»¹.

Здесь Липутину присвоены черты, которыми раньше Достоевский наделил «Молодое перо» и Щедродарова. Однако этой характеристике противоречит оценка, данная «беспокойному человеку» Степаном Трофимовичем Верховенским: по его словам, он «просто золотая середина, которая везде уживается... по-своему», иначе говоря, посредственность, безличное существо. Такое расхождение в отзывах о Липутине, разумеется, не было случайным, а проистекало из определенной мысли, руководившей Достоевским. Чтобы выявить направление этой мысли, приведем одно место из статьи В. П. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты», о которой мы уже раз упоминали, устанавливая общность отношения ее автора и Достоевского к лагерю «Отечественных записок» и литературной деятельности Щедрина. «Прогрессисты,— писал Безобразов,— совсем не так страшно смотрят на все окружающее, как это кажется, и потому гораздо уживчивее, чем всякие охранители. Известно, что всякие свирепые Базаровы, по их собственному признанию, вполне примиряются со всякою средою... Сатирический элемент занимает такое видное место в нашей прогрессивной литературе, что ее веселость смягчает ее нравы и удобряет самые злые ее вдохновения».

Излишне объяснять, что эта полемическая выходка Безобразова, которую в ответной статье Щедрин квалифицировал как «явный бунт (с оружием в руках) против здравого смысла», была продиктована стремлением представить лагерь «Отечественных записок», и прежде всего Щедрина, в смешном виде выродившихся «нигилистов». Но, с другой стороны, в той же статье Безобразов, намекая на щедринский цикл «Признаки времени», между строк призывал «зорко наблюдать за неблагонадежными материалами и неблагонадежными понятиями», вступив,

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VIII, стр. 70.

таким образом — по квалификации сатирика — в «пределы действия полицейского».

Такая оценка деятелей революционно-демократического лагеря, вызванная желанием представить их побежденными, жалкими, но в то же время опасными для государства людьми, косвенно отразилась на обрисовке фигуры Липутина в «Бесах». Согласно этой полемической тенденции, его «особенная злая веселость» и то, что он был «человек беспокойный», нисколько не могло помешать ему «примиряться со всякою средою» и быть «просто золотой серединой»...

Для раскрытия авторского замысла при создании образа Липутина важно не упускать из вида одну его черту, запечатленную в черновом наброске к роману. Говоря о «проекте Липутина»: присланных на усмирение солдат «фратернизировать с крестьянами», — Достоевский далее особым пунктом программы действий «бесов» выставляет следующий: «К началу дела колоссальное местное обличение (губернатора). Издавать бюллетени о делах всех губернских чинов, обнаруживать их прежнюю жизнь, взятки и клевету. Рассыпать в народе... Бюллетени про частных лиц. Тут Липутин драгоценен...»¹ Эта запись поясняет смысл реплики Шатова, указывая на то, с какой целью «Ташкентцов выдумывают»...

Характеристика Липутина завершается весьма выразительным штрихом. Говоря о проделках «шалунов» из окружения губернаторши Юлии Михайловны, прочившей Липутину «в редакторы будущей независимой губернской газеты», хроникер «Бесов» указывает, что последний, «несмотря на свою седину, участвовал тогда почти во всех скандальных похождениях» молодых сорванцов, которые «город наш третировали... как какой-нибудь город Глухов»². Это указание недвусмысленно подчеркивает полемическую направленность рассмотренных выше эпизодов. Вместе с тем замечание хроникера наводит и на такой вопрос: не являлась ли Достоевскому в процессе работы над «Бесами» — среди других памфлетических замыслов — идея противопоставить щедринскому изображению Глухова *свою* «историю одного города», то есть представить

¹ «Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 275.

² Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VII, стр. 263.

современную русскую действительность в совершенно ином освещении, нежели то, которое она получила в сатире Щедрина?

III

«История одного города» и «Бесы» объективно и противостоят друг другу именно в таком плане, и если раньше критика не замечала этого, то главным образом потому, что еще до недавнего времени «История одного города», вопреки замыслу Щедрина, ошибочно рассматривалась ею как «историческая сатира». Что же касается частного вопроса, было ли у Достоевского указанное субъективное намерение, то, считая возможным ответить на него утвердительно, мы должны вместе с тем оговорить, что эта тенденция отчетливо проявилась *только в одном* аспекте. Мы имеем в виду прежде всего противопоставление щедринским градоначальникам губернатора фон Лембке. В противоположность Угрюм-Бурчееву, «Органчику» и другим правителям Глупова, последний до внезапного психического заболевания не выказывает «административного восторга» в обращении с обывателями¹; напротив того, фон Лембке, добившись высшего начального поста в губернии «после долгого, вечного искания карьеры, начал ощущать потребность покоя». Мягкотелость, беспечность этого незадачливого администратора, его беспрекословное подчинение своей нравной и честолюбивой супруге, покровительствовавшей Петру Степановичу Верховенскому, позволили главарю «нечаевской клики» безнаказанно совершить ряд антиправительственных действий. И Достоевский не жалеет сатирических средств, чтобы выставить фон Лембке в самом смешном и жалком виде, следуя за Гоголем, который создал незабываемый комический образ высшего губернского сановника, вышивающего по тюлю... Столь же неожиданное занятие изыскивает Достоевский и для фон Лембке, ищущего отдохновения от административных трудов. Он «вдруг начал клеить кирку: пастор вы-

¹ К слову отметим, что и это щедринское выражение Достоевский употребил в «Бесах»: Степан Трофимович Верховенский разъясняет Варваре Петровне «что такое значит административный восторг и какая именно это штука» (Там же, стр. 48).

ходил говорить проповедь, молящиеся слушали, набожно сложив пред собою руки, одна дама утирала платочком слезы, один старичок сморкался; под конец звенел органчик....»¹ Эта невинная, детская забава чистого сердца и недалекого умом начальника губернии, доведенного злокозненными и деятельными «бесами» из числа подвластных ему обывателей до сумасшествия, противопоставляется дикому произволу, «административному восторгу» щедринских градоначальников и под конец — Брудастому, в порожней голове которого помещался органчик, наигрывавший «две нетрудные музыкальные пьесы: «раз-зоро!» и «не потерплю!»²

Таков ответ Достоевского тем, кто «Ташкентцов выдумывают»... Но, как мы помним, Шатов обвинял «крайних либералов» и в другом: что они «поддерживают именно деспотизм». Эту свою мысль, высказанную раньше в цитированном письме к Майкову по поводу «Нового

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VII, стр. 256.

² Щедринскому изображению произвола в полицейском государстве Достоевский противопоставляет и такое замечание: «У нас полицейский арестующий, должно быть, дрожит от вежливости, когда арестует, чтобы представить себя либеральнее» («Записные театры Ф. М. Достоевского», стр. 146). Таким «либералом» и выведен фон Лембке в сцене объяснения со своим подчиненным, Блюмом, который настаивает на производстве обыска у Степана Трофимовича. В другой, неизданной, записи Достоевский, обращаясь уже непосредственно к Щедрину, высказывается по этому вопросу еще определеннее (см. стр. 338). Совершенно различное изображение Щедриным и Достоевским преследований царской администрацией политически «неблагонадежных» лиц наглядно предстает в анонимном фельетоне сатирика «Наши бури и непогоды» (1870) и в девятой главе второй части «Бесов» («Степана Трофимовича описали»; 1872). Противоположная трактовка аналогичного сюжета резко подчеркивается сходством переживаний щедринского персонажа — литератора и Степана Трофимовича Верховенского, ожидающих обыска. Верховенский до того напуган мыслью: «придут, возьмут, и фью — исчез человек!», что «не уверен, участвует он или нет в каком-нибудь тайном обществе».

«— Ведь как это считать...» — поверяет он свои мучительные сомнения хроникеру «Бесов».

— Как, как «как считать»?

— Когда принадлежишь всем сердцем прогрессу и... кто может заручиться: думаешь, что не принадлежишь, а н смотришь, окажется, что к чему-нибудь и принадлежишь» (Полн. собр. худ. произведений, т. VII, стр. 350).

А у щедринского литератора «в голове то и дело вертится вопрос: «Да невинен ли ты действительно? Не воображается ли

Нарцисса» Щедрина, Достоевский «грубо и азартно» проводит в «Бесах»¹, подкинув революционно-демократическому лагерю шигалевскую «систему устройства мира». Происхождение теории Шигалева становится ясным при сопоставлении ее с «систематическим бредом» Угрюм-Бурчеева. «Всеобщее равенство перед шпицрутенном», которое этот «властный идиот» задумал осуществить посредством организации взаимной слежки глуповцев в каждом доме — «поселенной единице», ничем не отличается от «земного рая» Шигалева, основанного на

только тебе, что ты невинен?» И он начинает склоняться к мысли, что «всякий литератор может быть заговорщиком, сам не зная и не подозревая того». «Действительно ли то, что я пишу, пишу по собственному убеждению? — думает он. — Не опутан ли я изменою, как и другие? Не заговорщик ли я?» (Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 236). К этому добавим, что «фью» Степана Трофимовича — щедринское «фюить», которым сатирик иносказательно обозначал административную высылку. Впервые он употребил это эзоповское словечко в очерке «Старая помпадурша» (1868), а затем в «Господах ташкентцах».

Как мы выше отметили, сходством переживаний и размышлений Степана Трофимовича Верховенского и литератора в «Наших бурях и непогодах» еще резче подчеркивается различие изображений Достоевским и Щедриным аналогичной ситуации. Мучительное состояние своего героя Достоевский объясняет его крайней мнительностью, а также тем, что он самолюбиво воображает себя человеком, опасным для правительства, и, следовательно, страдает по собственной вине. Щедрин же изображает самочувствие своего персонажа как следствие общественной паники, вызванной массовыми арестами совершенно неповинных людей в связи с нечаевским делом, которое явилось и одним из главных эпизодов в «Бесах». Весьма вероятно, что до написания цитированной главы из «Бесов» Достоевский ознакомился с фельетоном Щедрина. Помимо того, что сюжет «Наших бурь и непогод» мог заинтересовать автора «Бесов» своей злободневностью, он должен был обратить внимание на щедринский фельетон и потому, что в нем содержалось вскользь брошенное ироническое замечание по поводу «Преступления и наказания», о чем сообщил ему Страхов в письме от 6 мая 1870 года. Страхов, повидимому, знал или подозревал, кто автор «Наших бурь и непогод», — на такое предположение наводит то обстоятельство, что он не преминул тут же заверить Достоевского, что «прогрессивного Щедрина скоро перестанут читать».

¹ «Провести как можно яснее мысль, — записывает Достоевский в черновых тетрадях к «Бесам», — что наши либералы самые отсталые ретрограды...» В других местах эта мысль конкретизируется утверждением, что нигилисты действуют в интересах «феодалного боярства», а Верховенскому — Нечаеву — приписывается проект «о соединении нигилистов с крупным землевладением» («Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 276 и 299).

«равенстве в рабстве», когда «каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом». Шигалев, «отчасти фанатик человеколюбия», выставлен в «Бесах» как энтузиаст «крепостного фаланстера», противопоставленного им утопии Фурье. («Фурье, колонны из алюминия, все это годится разве для воробьев, а не для общества человеческого», — говорит Шигалев.) Иначе говоря, революционный замысел Щедрина, гениально воплощенный в «Истории одного города» и затем с таким блеском разъясненный сатириком в «Итогах», Достоевский обращает против революционного лагеря. Но, не довольствуясь откровенно инсинуаторским истолкованием «Истории одного города», автор «Бесов» не упускает случая метнуть стрелу и в «Господ ташкентцев».

Как мы помним, во введении к этому циклу Щедрин писал, что путаница в представлениях Митрофана о ходе общественного развития может привести его к отчаянию, и тогда, охваченный мистическим предчувствием «открытия пятой стихии», он очутится в положении раскольника, с часу на час ожидающего пришествия антихриста. На это саркастическое предостережение Достоевский как бы отвечает признанием Шигалева, который говорит, что при выработке своей «системы устройства мира» он «запутался в собственных данных» и «приходил к отчаянию», ибо начал он с утверждения «безграничной свободы», а закончил провозглашением «безграничного рабства». Но, сделав столь откровенное признание о неумении «слепить свою систему», Шигалев тут же «властно заключает», что предлагаемое им общественное устройство есть не что иное, как «рай, земной рай, и другого на земле быть не может». Этот совершенно категорический, не допускающий малейших возражений вывод из бредовых предпосылок снова ставит Шигалева лицом к лицу с «властным идиотом» — Угрюм-Бурчевым, и такое соответствие подчеркивается отзывом Достоевского об одном из реальных прототипов автора «системы устройства мира». В черновом наброске характеристик нечаевцев Достоевский, имея в виду будущего «вислоухого» Шигалева, пометил: «Зайцев (идиот, как я его помню)»¹.

Пародийно-полемический характер носит также сцена

¹ «Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 90.

объяснения Петра Степановича Верховенского со Ставрогиным в главе «Иван-царевич». Чтобы раскрыть тенденциозный замысел Достоевского, надо опять обратиться к «Господам ташкентцам». Мы знаем, что автор «Бесов» откликнулся на них негодующей репликой Шатова: «И кого только либералишки-то наши поддерживают и Ташкентцов выдумывают: тех, кто чины и деньги дает, от кого *получить можно*». Этот выпад связан с тем местом в очерке «Ташкентцы-цивилизаторы», где сатириком описана беседа Пьера Накатникова, представителя «цивилизационной гвардии», с товарищем по школе, которого он определяет на выгодное местечко по «ташкентской части» в качестве начальника отряда, состоящего из «кровопускателей». Указав своему протезе на блестящую будущность, которая его ожидает, — «двойные прогонные и порционные деньги», — Пьер Накатников в заключение говорит: «— Понимаю! соловья баснями не кормят!.. Желание скорее разрешить вопрос «о получении» с твоей стороны совершенно естественно... Завтра это дело будет покончено, а покамест...» И он благосклонно вручает собеседнику «некрупную ассигнацию»... от себя ¹.

Другой мотив из «Господ ташкентцев» (уподобление Митрофана раскольнику, ожидающему пришествия антихриста), как выше было показано, Достоевский использовал при изображении Шигалева. Но там же, во введении к «Господам ташкентцам», его внимание должны были привлечь и размышления сатирика о том, как бы поступил столоначальник, если бы директор департамента приказал ему: в первый раз — «открыть Америку», а во второй — «всех этих Колумбов привести к одному знаменателю». Поведение столоначальника рисовалось Щедрину в таком виде: в первом случае он сообразит, что «открытие Америки совсем не его ума дело», и поэтому «разошлет во все места запросы и затем постарается кончить это дело измором»; второе же приказание он не затруднится исполнить незамедлительно, и в результате «Колумбы подлинно будут обузданы, а Америка так и останется не открытой» ². Разъясняя далее, почему второе начальственное приказание будет выполнено так быстро и основательно, Щедрин писал: «Нам все еще

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 79.

² Там же, стр. 37.

чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли. Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить. Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания. Наши так называемые консерваторы суть расточители по преимуществу»¹.

Этим высказываниям сатирика о провиденциальном назначении охранителя Митрофана — назначении, которое Феденька Кротиков под конец либерального фазиса своей административной карьеры прозрел в бреду, а «Органчик» и Угрюм-Бурчеев осуществили на поприще «обуздания», — Достоевский придал иной — антиреволюционный — смысл, выведя в главе «Иван-царевич» «расточителем по преимуществу» Петра Степановича Верховенского.

В противоположность щедринскому столоначальнику, Верховенский не задумывается принять на себя роль Колумба. «— ...Один, один только человек в России изобрел первый шаг и знает, как его сделать, — говорит он Ставрогину. — Этот человек я. Что вы глядите на меня? Мне вы, вы надобны. Без вас я муха, идея в стклянке, Колумб без Америки». Ставрогин, оглушенный потоком речей Верховенского, похожих на горячечный бред, порывается уйти, но тот судорожно цепляется за своего «идола» и, перескакивая с предмета на предмет, спешит высказать самую затаенную мысль:

«— Мы провозгласим разрушение... Мы пустим легенды... Ну-с, и начнется смута!.. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим...

— Кого?

— Ивана-царевича.

— Кого-о?

— Ивана-царевича; вас, вас!

Ставрогин подумал с минуту.

— Самозванца? — вдруг спросил он, в глубоком удивлении смотря на исступленного. — Э! так вот, наконец, ваш план».

Ставрогин злобно усмехается, и это приводит Верховенского в совершенное отчаяние.

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 38.

«— Почему, почему вы не хотите? Боитесь? Ведь я потому и схватился за вас, что вы ничего не боитесь. Неразумно, что ли? Да ведь пока я еще Колумб без Америки; ¹ разве Колумб без Америки разумен?»

И на прощанье, когда «Иван-царевич» уходит: «— Ставрогин, наша Америка? — схватил его в последний раз за руку Верховенский» ².

С какой же целью новоявленный Колумб вознамерился в кратчайший срок осуществить «всеобщее разрушение»? На собрании «у наших» Верховенский внушает слушателям мысль о безусловной необходимости «решения скорого, в чем бы оно ни состояло, но которое, наконец, развяжет руки и даст человечеству на просторе самому социально устроиться, и уже на деле, а не на бумаге». В дальнейшие объяснения он не вступает, очевидно считая это совершенно излишним, а просто предлагает присоединиться к нему тем, кто склонен перескочить «на всех парах через болото». Но в разговоре со Ставрогиным он высказывается начистоту. И тут-то автор «Бесов» проводит ту мысль, что после страшного взрыва, который всколыхнет мир до основания, должен

¹ Слова «Колумб без Америки» заимствованы из герценовской характеристики Бакунина в «Былом и думах» (глава «Н. И. Сазонов»). Из «Былого и дум» (глава «Не наши») взято и другое высказывание Герцена — им Петр Степанович Верховенский определяет сущность теории «земного рая», развиваемой Шигалевым в «Бесах» (глава «У наших»): «Все рабы и в рабстве равны». Это перифраза афористической формулировки — «равенство рабства», которой автор «Былого и дум» охарактеризовал «Россию, раздавленную императорским тронem», и состояние Европы после поражения французской революции 1848 года и прихода к власти Наполеона III. «Мы присутствуем теперь, — писал Герцен в главе «Не наши», — при удивительном зрелище: страны, где остались еще свободные учреждения, и те напрашиваются на деспотизм... Деспотизм или социализм — выбора нет. А между тем Европа показала удивительную *неспособность* к социальному перевороту. Мы думаем, что Россия не так неспособна к нему... На этом основании наша вера в ее будущность — вера, которую я проповедовал с конца 1848 года». Возможно, что в прямой связи с этим исповеданием веры Герцена один из участников конспиративной сходки в «Бесах» (глава «У наших») заявляет: «...разговоры и суждения о будущем социальном устройстве — почти настоящая необходимость всех мыслящих современных людей. Герцен всю жизнь только о том и заботился».

² Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VII, стр. 343—346.

установиться общественный порядок, взрастивший... щедринского Митрофана¹.

В самом деле. По объяснению сатирика, Митрофан мог в прежние времена проявлять свою «прирожденную талантливость» на всех поприщах, потому что тогда любая профессия отличалась «простотой задач». Эта «простота» до того полюбилась Митрофану, что ничего другого он знать не желает; «открытия и изобретения человеческого ума, которые так резко определяют характер того или другого периода истории человечества, совершенно закрыты для него», и он даже не подозревает, «как трудно положение человека, который обязывается жить своим умом». Такая ограниченность кругозора и приверженность к отжившему крепостническому укладу жизни нередко делают охранителя Митрофана в новом веке «опасным утопистом и беспардоннейшим регламентатором», ибо «ничто так не окрыляет фантазию, как отсутствие фактов», помыслы же его главным образом направлены к тому, чтобы «все привести к одному знаменателю».

Этим заскорузлым, «ташкентским» мировоззрением Митрофана автор «Бесов» наделил Петра Степановича Верховенского, подобно тому как «систематический бред» Угрюм-Бурчеева он перенес в шигалевскую «систему устройства мира». Как и Митрофана, Верховенского прежде всего прельщает «простота задач», и поэтому шигалевское «равенство в рабстве» он провозглашает гениальной идеей. «— Я за Шигалева! — восторженно восклицает он, обращаясь к Ставрогину. — Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает — послушания... Всё к одному знаменателю, полное равенство. «Мы научились ремеслу, и мы честные люди, нам не надо ничего другого», — вот недавний ответ английских рабочих. Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе»².

¹ Такой «каламбур» мы находим в четвертой главе щедринских «Итогов» (1871). Угрюмого столоначальника, настаивающего на том, что незачем «канитель тянуть», а нужно «вдруг перевернуть мир вверх дном», рассказчик озадачивает вопросом: «Как думаете вы, не получится ли у вас в результате, что вследствие быстрого повертывания мир вновь очутится на старом месте?»

² Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VII, стр. 342.

В переводе на шедринский язык этот шигалевский «знаменатель» и является краеугольным камнем идеологии Митрофана, сложившейся в те времена, когда «люди, по приказанию, делались и портными, и сапожниками, и музыкантами», — делались потому, что «требовались только *простые* сапоги, *простое* платье, *простая* музыка, то есть такие именно вещи, для выполнения которых совершенно достаточно двух элементов: приказания и готовности», иначе говоря — все того же послушания. Но такой порядок вещей стремился увековечить и Угрюм-Бурчеев, связывавший осуществление «всеобщего равенства перед шпицрутеном» с искоренением разума — «злейшего врага, опутывающего человека сетью обольщений и привередничеств». Разум был подозрителен «фанатическому нивелятору» потому, что он противостоял «простоте задач», которые должны обязательно укладываться «в прямую линию», и угрожал нарушить идеальное казарменное послушание в городе Глупове. Реакционная утопия Угрюм-Бурчеева перешла в «систему» Шигалева, но, кроме того, последний в какой-то мере унаследовал и самые типические черты характера «властного идиота» — мрачную методичность и совершенную непреклонность в решении «простой задачи». Верховенскому же от другого «опасного утописта и беспардоннейшего регламентатора» передалась иная психологическая черта — повышенная возбудимость, переходящая в истерическую экзальтацию, вследствие которой Митрофан, «как только вступает на почву упований, делается смел до дерзости, необуздан до самозабвения». Эта экзальтация выражается еще и в том, что Митрофан «говорит и с восхищением слушает самого себя; и чем больше говорит, тем больше чувствует потребность говорить — говорить без конца. И всегда для своих разговоров выберет тезис самый неожиданный, самый блестящий: либо пятую стихию, либо новое слово». Самовосхищение Митрофана, зачарованного звуками собственного голоса, роднит его (как и Феденьку Кротикова) отчасти с Хлестаковым, и это сходство наряду с «необузданностью до самозабвения» Достоевский оттенил и в Петре Степановиче Верховенском при первом же появлении его в гостиной Варвары Петровны Ставрогиной. Не говоря уже о том, что «самый блестящий тезис» его, «новое слово»,

которое он поверяет «Ивану-царевичу» — идея самозванства, — воскрешает в памяти бессмертный гоголевский образ...¹

IV

Так интерпретированы в «Бесах» идеи и образы «Истории одного города» и «Господ ташкентцев». Pamфлетическая направленность этой интерпретации и идеологическое содержание ее заключены в вышерассмотренных записях Достоевского о Добролюбове, Чернышевском, «революционной партии» и в его полемике с Щедриным 1863—1864 годов². Характеристика «Молодого пера» и Щедродарова, набросанная Достоевским в начальный период спора с публицистом «Современника», получила дальнейшее развитие в некоторых отрицательных чертах Липутина и роли последнего как сподвижника «Светлой личности» — жалкой роли «очарованного кролика»... И, вероятно, Липутина главным образом имел в виду Михайловский, подчеркивая в «Записках современника» (1881), что, помимо Кармазинова, Достоевским злонамеренно изображены «многие действующие лица «Бесов»³.

Идея «Бесов», высказанная в предсмертной речи Сте-

¹ Какой цели стремится достигнуть своей «Америкой» Верховенский, разъясняется в следующей черновой записи к «Бесам»: «Принцип же Нечаева, *новое слово его* в том, чтоб возбудить, наконец, бунт, но чтобы был действительный, и чем более смуты и беспорядка, крови и провала, огня и разрушения преданий — тем лучше». («Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 275. Подчеркнуто Достоевским.)

² Из отдельных записей Достоевского, относящихся ко времени его потаенной полемики с Добролюбовым и Чернышевским, кроме клеветнических выпадов против «революционной партии», в «Бесы» перешло его фантастическое «открытие»: «Из католического христианства вырос... социализм». Эту идею высказывает Петр Степанович Верховенский в горячем объяснении с «Иваном-царевичем»: «Папа вверх, мы кругом, а под нами шигалевщина». Другая «идея» этих записей — «Социализм основан на неуважении к человечеству (стадность)» — выражена опять-таки Верховенским в том же объяснении со Ставрогиным: «Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина!» Кроме того, в этой связи Верховенский бросает замечание, впоследствии легшее в основу «Легенды о Великом инквизиторе: «Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщина».

³ Н. К. Михайловский, Полн. собр. соч., изд. 4-е, т. V, стр. 429.

пана Трофимовича, также была сформулирована в одной из неопубликованных записей Достоевского первой половины шестидесятых годов, именно: в характеристике «белоараповцев», то есть социалистов-утопистов, последователей Чернышевского, как «остатков прежнего либерализма, имевшего свой исторический склад, но совершенно отжившего и присутствующего еще в огромной массе отживших людей... которые представляют из себя вялое пошлое поколение наших шатающихся даром лишних людей».

Выше мы указали, что эта характеристика «нигилистов» объясняет то, почему Достоевский необычайно высоко оценил взгляд Майкова, признавшего в некоторых действующих лицах «Бесов» «тургеневских героев в старости». Действительно, такое замечание должно было поразить Достоевского, ибо оно предельно лаконично формулировало его давнишнюю идею о двух поколениях, которую он воплощал теперь в «Бесах», разрешая проблему «отцов» и «детей» в резком противоречии с ее трактовкой в знаменитом тургеневском романе. Черновые заметки к «Бесам» позволяют установить, что мысль Достоевского развивалась в этом направлении, исходя из вышеприведенной характеристики «белоараповцев», как «остатков прежнего либерализма», и что такой взгляд обусловил его оценку изображения героя «Отцов и детей». В одной из черновых заметок мы читаем:

«Базаров написан человеком сороковых годов и без ломания, а стало быть без нарушения правды, человек сороковых годов не мог написать Базарова.

— Чем же он изломан?

— На пьедестал поставлен, тем и изломан»¹.

Достоевский низводит Базарова с пьедестала, противопоставляя ему тип «чистого нигилиста» — Петра Степановича Верховенского, который в первоначальных набросках именуется «Студентом». Этот замысел оставил след в записи: «Ст. в городе и в обществе (*Базаров*)»². Повидимому, обдумывая те главы романа, в которых описано появление Петра Степановича Верховенского у Варвары Петровны и в губернаторском доме, Достоевский вспоминал поездку Базарова из деревни в город, его визит к губернатору и встречу на балу с Одинцовой.

¹ «Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 116.

² Там же, стр. 110. (Подчеркнуто Достоевским.)

Первоначально он имел даже в виду ввести в повествование еще один романический эпизод — молодым Верховенским должна была увлечься Елизавета Николаевна, но впоследствии этот замысел отпал.

В плане отталкивания Достоевского от «Отцов и детей» обращает на себя внимание и фигура Эркеля. Этот «чувствительный, ласковый и добрый» юноша становится участником убийства Шатова, потому что, подобно Аркадию Кирсанову, он наделен «вечно жаждущей подчинения чужой воле натурой», и без раздумья решается на преступление, ибо «младенчески предан» Верховенскому, как Кирсанов — Базарову.

Интересно, что и Степан Трофимович Верховенский также недоволен изображением героя «Отцов и детей». Он говорит:

«Я не понимаю Тургенева. У него Базаров это какое-то фиктивное лицо, не существующее вовсе; они же первые и отвергли его тогда, как ни на что не похожее. Этот Базаров это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном...»¹

«Они» — это, конечно, «Современник». Но Степан Трофимович имеет здесь в виду не нашумевшую статью Антоновича «Асмодей нашего времени», а саркастический отзыв Щедрина: в 1863 году сатирик писал в «Современнике», что «добрым людям, принимающим Базарова за представителя современного молодого поколения», следует доказать, «что он совсем не имеет нужных для того качеств, что он точно такой же материалист, как, например, Ноздрев, которого именем, однакож, никто и не мнил клеймить никакого поколения»².

Степан Трофимович, считая типическим представителем молодого поколения своего Петрушу, полагает, что Тургенев польстил молодежи, создав в лице Базарова крайне идеализированный, в действительности не существующий образ нигилиста. И тут он намеком возражает Герцену, солидаризовавшемуся с Писаревым, который утверждал по поводу «лишних людей» и Базарова, что «в своих понятиях о добре и зле новое поколение сходилось с прошедшим», что у «людей сороковых годов» и

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VII, стр. 177.

² Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. V, стр. 148.

шестидесятников «симпатии были общи, желали они одного и того же». «Мы вовсе... не к тому стремились,— говорит Степан Трофимович от имени «людей сороковых годов», — я ничего не понимаю. Я перестал понимать!.. Эти телеги, или как там: «стук телег, подвозящих хлеб человечеству», полезнее Сикстинской Мадонны, или как у них там... Но понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли ты, что человеку, кроме счастья, так же точно и совершенно во столько же необходимо и несчастье!»¹ В ответ Петруша презрительно смеется над родителем-«приживальщиком», который перенял страстные обличения католического патера Печерина² в споре с Герценом и сдобрил их желчью человека из подполья, «нежа свои члены... на бархатном диване»...

Степан Трофимович в иносказательной форме полемизирует с Герценом, как единомышленником своего сына. Еще определеннее эта связь подчеркивается молодым Верховенским, который приписывает Герцену восхваляющее его стихотворение-прокламацию «Светлая личность». В публицистической же форме Достоевский высказался о Герцене незадолго до выхода в свет «Бесов» отдельным изданием. В статье под характерным заглавием «Старые люди» («Дневник писателя» 1873 года) автор «Бесов» утверждал, что «Герцен должен был стать социалистом и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине» (этот последний мотив, как мы помним, развил в одной из своих речей князь Мышкин), что он был «попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел не по отцу только, а именно через разрыв с родной землей и ее идеалами». Здесь мы опять-таки встречаемся с вариацией на тему, ранее затронутую Достоевским в цитированной характеристике «белоараповцев»: «Они кончили, как кончили все баричи... Белая-Арапия — барская затея».

Так перемежается в «Бесах» полемика с Чернышевским, Щедриным, Герценом — выразителями революцион-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VII, стр. 178.

² Как уже указывалось в литературе, Достоевский привнес и в жизнеописание Степана Трофимовича Верховенского некоторые черты из биографии Печерина.

но-демократических идей, и либералом Тургеневым. Но автор «Бесов» не удовольствовался инсинуаторским истолкованием «Истории одного города», «Господ ташкентцев» и полемической интерпретацией «Отцов и детей». Не удовлетворился он и тем, что Герцена (тогда уже покойного) превратил в единомышленника и покровителя молодого Верховенского, Тургенева-Кармазинова вывел в роли заискивающего перед ним «сочувствителя», а Щедрина (не придавая Липутину портретного сходства с сатириком) выставил хотя и брюзжащим, но старательным исполнителем его воли. В финале «Бесов» Достоевский извлек еще последнюю, «решительную плеть», которую вручил Степану Трофимовичу для его «бенефиса», как он язвительно (в письме к Майкову) охарактеризовал предсмертную речь «многочтимого»... Этот самый ответственный «выход» Степана Трофимовича, фигурирующего в «Записных тетрадах» под именем «Грановского», обусловлен его ролью в романе, разъясненной в диалогической форме:

«— Но при чем же Гр-вский в этой истории?

— Он для встречи двух поколений *все одних и тех же западников*, чистых и нигилистов, а Ш. *новый человек*»¹.

Этот «новый человек», Шатов, внушает Степану Трофимовичу центральную идею «Бесов» — идею самого автора о двух поколениях, «об «отцах» и «детях».

«— Не вы ли рассказывали, как литераторы, или литературные господа (А — вы), вместе с Белинским рассуждали: как будет то-то и то-то в будущем обществе. Все от вас же пошло и с вашего же времени... Да они в сущности на ваших же рассуждениях и основались, всё вы заварили»².

Пока в условной форме, еще не до конца убежденный в справедливости взгляда Шатова «человек сороковых годов» говорит сыну: «— Изверг! Если правда, как утверждал тот несчастный (Ш.), что вы продукт нашего же оторванного от почвы поколения, что прогрессивно порожденные — утописты, бывшие лет 8 назад, а после них *прогрессивно* вы, то кто же будут те, которые вас

¹ «Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 112. (Подчеркнуто Достоевским.)

² Там же, стр. 151.

заступят...»¹ Но в свой «бенефис» Степан Трофимович, выслушав евангельское сказание, выставленное эпиграфом к роману, уже без колебаний выражает антиреволюционный замысел Достоевского, о котором он писал Страхову: «хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность». Такой цели автор «Бесов» действительно достиг. «Грубое и азартное» истолкование евангельского эпиграфа к роману, вопреки всякому художественному правдоподобию вложенное в уста Степана Трофимовича, с особой наглядностью подтвердило слова Щедрина, что «дешевое глумление над так называемым нигилизмом» «весьма существенно отражается на творческой силе самого автора».

Таким истолкованием эпиграфа к «Бесам» Достоевский высказал «накопившееся в уме и в сердце» у него на протяжении шестидесяти лет, когда «царившее кругом ярое вольнодумство» вынуждало его, по словам Страхова, «приберегать до более удобного случая публичное выражение своих заветнейших убеждений».

В следующей главе мы рассмотрим, как отозвался Щедрин на «Бесы».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Свое отношение к новому роману Достоевского Щедрин высказал в «Господах ташкентцах». Вернувшись к этому циклу после долгого перерыва, сатирик напечатал в сентябрьской книжке «Отечественных записок» 1871 года очерк «Ташкентцы приговорительного класса». В том же номере журнала появилась публицистическая статья Щедрина «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики». С темой этой статьи тесно связан названный очерк, хотя о процессе нечаевцев прямо в нем не сказано ни слова. Для того, чтобы раскрыть сокровенный замысел сатирика в «Ташкентцах приговорительного класса» и выявить, как он

¹ «Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 120. (Подчеркнуто Достоевским.)

реагировал на изображение «нигилистов» в «Бесах», мы сначала обратимся к его публицистическому выступлению.

Уяснение общественной значимости статьи Щедрина о нечаевском деле требует хотя бы беглой характеристики той обстановки, в которой она писалась. Суд над нечаевцами, происходивший летом (июль — август) 1871 года в Петербурге, был первым *гласным* политическим процессом в России. Уже одно это обстоятельство должно было вызвать к нему чрезвычайный интерес. Такой особенный интерес, кроме того, возбуждался характером обвинения, предъявленного подсудимым — членам тайного общества, в большинстве интеллигентной молодежи: им инкриминировалось участие в «заговоре, составленном с целью ниспровержения существующего порядка управления в России», то есть царского самодержавия. Поскольку процесс ставился гласно, он должен был освещаться в периодической печати; и действительно, помимо официальных судебных отчетов, в газетах и журналах публиковались посвященные ему статьи. Таким образом, верховная власть как бы заранее выразила доверие журналистике всех общественных направлений, уверенная в том, что под впечатлением недавних событий Парижской Коммуны она единодушно выскажется против заговорщиков, поставивших себе целью «ниспровержение существующего порядка». Эти расчеты оправдались. Даже не дожидаясь вынесения приговоров разным категориям подсудимых, газеты спешили бросить им свои обвинения, приправленные фельетонным остроумием и велеречивым обличительным пафосом. Единственным литературным органом, выступившим против всей верноподданнической прессы, были «Отечественные записки». В этом знаменательном факте и заключается историческое значение статьи Щедрина. До сих пор остается невыясненным, каким образом было получено цензурное разрешение опубликовать ее. Известно только то, что по напечатании III отделение доложило о ней царю и он поставил на вид министру внутренних дел факт ее обнародования.

Статья Щедрина не могла не обратить на себя общего внимания — так откровенно было высказано им презрение к журналистике, которая единодушно засвидетельствовала, что перед призраком крестьянских волнений, угрожающих «общественной безопасности» господствующей

щих классов, она считает себя призванной встать на защиту самодержавной власти. Именно эту мысль Щедрин положил в основу своего публицистического выступления, а в очерке «Ташкентцы приготовительного класса» подчеркнул ее как раз в том месте, где он выразил свое отношение к «Бесам».

«Существовало мнение, — писал он в статье о нечаевском деле, — что литературу нашу раздирают междоусобия, что деятели ее готовы грызться друг с другом даже из-за выеденного яйца. Теперь это мнение, по крайней мере относительно вопросов существенных, оказывается положительно ложным. Какой, в самом деле, самый существенный в настоящую минуту вопрос для России? Это, несомненно, вопрос об общественной безопасности... И вот литература наша, *в качестве верного отголоска публики*, и с своей стороны единодушно вооружается против грозящего зла... «Московские ведомости» называют замыслы подсудимых жульническими; «С.-Петербургские ведомости» присваивают им наименование безумных; «Голос» сравнивает наших заговорщиков с парижскими коммуналистами. «Вестник Европы» говорит с презрением о «глупых преступлениях» и о ничтожестве участников тайного общества. В виду общей опасности, распри забыты... Что означает этот факт? По нашему мнению, он означает... что литературные наши органы, будучи совершенно согласны по вопросу столь коренному и существенному, как общественная безопасность, лишь по недоразумению разногласят относительно некоторых подробностей, которые даже и в нашей небогатой политическим интересом жизни имеют значение весьма второстепенное...

Существовало еще и другое мнение: что русская литература не вполне и не вся благонадежна, что некоторые органы ее фрондируют и подкапываются... Теперь журналистика наша смыла с себя и это позорное клеймо, доказав свою благонадежность самым осязательным и непрекаемым образом... Да, мнение не только о радикальной, но и об относительной неблагонадежности того или другого органа русской литературы должно упраздниться навсегда, упраздниться без следа. Фрондерство, инсинуации, подземные интриги, одним словом, все эти нездоровые элементы, в которых обвиняла литературу публика... — все это праздные слова, которые должны исчезнуть,

как дым или как рой темных призраков, перед светом литературного единодушия, заявившего себя так блестяще по поводу нечаевского дела»¹.

II

В сатирическом очерке «Ташкентцы приготовительного класса» и нашла образное воплощение та мысль, что печать ополчилась против заговорщиков — членов организованного Нечаевым тайного общества «Народная расправа» — «в качестве верного отголоска публики». Эта публика здесь представлена великосветской барынькой — помещицей Ольгой Сергеевной Персиановой, ее шестнадцатилетним сыном, будущим дипломатом, и их соседом по имени — Мангушевым, молодым человеком, который «по принципу» поселился в деревне, где он живет с большим комфортом (вплоть до того, что обзавелся... собственным судом) и наблюдает за неприкосновенностью «краеугольных камней»... Мангушев с достоинством рекомендует себя «сельским дворянином» и видит свое призвание в том, чтобы «сеять и способствовать прозябанию посеянного». Более обстоятельно он выражает эту мысль по-французски: «*Nous autres, simples travailleurs de la civilisation, nous devons à nos descendants de leur transmettre intacts nos fortunes, nos droits et nos noms*». («Мы, скромные труженики цивилизации, должны передать нашим потомкам неприкосновенными наши владения, наши права и наши имена»). Ольга Сергеевна торжественно повторяет эту фразу в поучение сыну, запамätовав, что бóльшую часть своих владений она прожила за границей, утешаясь, после смерти любимого мужа, то с каким-то национальгардом, то с французским министром, то, наконец, даже с акробатом... По вынужденном возвращении в «дворянское гнездо» она нашла своего «куколку» преобразившимся в молодого человека, который очаровал ее рыцарскими манерами и готовностью «во всякое время объявить крестовый поход против *manants et mécréants*», то есть мужиков и нехристей. Беседы интимно-фривольного содержания перемежаются

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VIII, стр. 239—241. (Курсив наш. — С. Б.).

у них с обменом мыслей на политические темы. Ольга Сергеевна, обеспокоенная появлением нигилистов, которые «отвергают брак... не признают таинств религии, церкви», со страхом допытывается у «куколки», как он на все это смотрит. Nicolas, обиженный одной мыслью, что можно усомниться в его консервативных убеждениях, с важным видом отвечает:

«— Я, татап, революций не делаю, заговоров не составляю, в тайные общества не вступаю...»¹

Современникам, разумеется, было ясно, о каком заговоре и тайном обществе шла речь в этой задушевной беседе. Другое замечание Nicolas — о нигилистах — полностью подтверждало, что предметом ее было нечаевское дело.

«Как сказал один мой знакомый фельетонист, — общается он матери, — это Хлестаковы, представители собственной разгоряченной фантазии»².

От читателей такого распространенного органа, как «С.-Петербургские ведомости», не могло укрыться, что молодой Персианов привел отзыв о нечаевцах из передовой статьи этой газеты³. Там же был напечатан и фельетон Суворина (за подписью «Незнакомец»), в котором подсудимые на нечаевском процессе уподоблялись Хлестакову. Отсюда — отождествление автора передовой статьи со «знакомым фельетонистом»...

Если в рассмотренном случае обращение сатирика к литературному источнику относительно легко раскрывалось современниками, то его полемическое указание на «Бесы» было выражено в иной — завуалированной — форме. В этой связи напомним, что ко времени написания «Ташкентцев приговорительного класса» в печати явились только первые главы нового романа Достоевского, законченные им до открытия суда над нечаевцами. Но опубликованная часть «Бесов» уже позволяла заключить, что предметом изображения Достоевского станет

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 116.

² «Отечественные записки», 1871, № 9, стр. 190. В отдельных изданиях «Господ ташкентцев» эта фраза опущена.

³ «Подсудимых в настоящем деле, — писали «С.-Петербургские ведомости» 3 июля 1871 года, — можно назвать представителями лишь своей собственной разгоряченной фантазии, которую не успели обуздать ни серьезное образование, ни знание жизни».

нашумевшее политическое дело. На такое соображение наводила глава «Премудрый змий», в которой новым действующим лицом выступил главный «бес» — Петр Степанович Верховенский, обрисованный как ловкий политический авантюрист с повадками Хлестакова. Едва появившись в губернском городе Т., нежданный пришелец одерживает ряд побед и прежде всего приобретает полное доверие своенравной и подозрительной Варвары Петровны Ставрогиной. Именно такой образ коварного соблазнителя преследует Ольгу Сергеевну, которая умоляет своего «куколку» не поддаваться искушениям нигилистов: « — ...Они так искусно расставляют свои сети, — растерянно лепечет она, — что я не могу... нет, нет, не могу не дрожать за тебя... Нигилисты это даже не люди... это... злые духи, — *et tu sais d'après la Bible ce que peut un esprit malfaisant* (а ты знаешь по библии, что может злой дух). А потому, если они будут тебя искушать, вспомни обо мне... вспомни, мой друг!.. и помолись. *La prière — c'est tout* (молитва — это все). Она даст тебе крылья и мигом прогонит весь этот *sauchemar de moujik*»¹.

Таким образом, уподобление нигилистов бесам, облеченное в аллегорическую форму преданий библейской древности, в романе Достоевского, по мысли сатирика, было не чем иным, как «верным отголоском» взглядов той части общества, которую преследовал «мужицкий кошмар», иначе говоря — животный страх перед перспективой революционного крестьянского движения. Но если Персиановой казалось, что эту угрозу «общественной безопасности» можно было предотвратить душеспасительной молитвой, то сын ее воодушевлен готовностью деятельно бороться с революционной крамолой: « — О! Я эти революции из них выбью! Я их подтяну!» — успокаивает он взволнованную Ольгу Сергеевну.

Мысль о нигилистах не покидает Nicolas и ночью: « — Мне снилось, — доверительно сообщает он Ольге Сергеевне, — что я сделался невидимкой и присутствую при их совещаниях! Можете себе представить, тамап, какие я при этом сделал открытия!»²

Nicolas дальше не распространяется на эту тему: по-видимому, ему нечего добавить к тому, что он рассказал

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 120.

² Там же, стр. 123.

татап о нигилистах раньше, когда разъяснял ей сущность своих консервативных убеждений.

« — Вы знаете ли, татап, что это за ужасный народ! — восклицал он. — Они требуют миллион четыреста тысяч голов! *Ja vous demande, si c'est pratique!*.. (Я вас спрашиваю, осуществимо ли это!..)

Они говорят, что наука вздор... *la science!* Что искусство — напрасная потеря времени... *les arts!* Что всякий сапожник в сто раз полезнее Пушкина... *Pouschkinne!*»¹

Сатирик как бы предостерег здесь от искушения фантазировать на злободневную тему о политических заговорах, заранее очертив перед «невидимками» тот тесный круг ходячих представлений, который они «в качестве верного отголоска публики» не в силах будут переступить, изображая революционную среду. И любопытно то, что Достоевский, будто подзадоренный этим сатирическим предостережением, вызывающе включил в «Бесы» щедринскую схему, еще более гиперболизировав ее центральный пункт. На тайном совещании «у наших» ведется разговор об «осуществлении ста миллионов голов», причем Липутин, подобно «куколке» Персианову, выражает сомнение лишь в практической возможности выполнить такой план:

« — Сто миллионов голов так же трудно осуществить, как и переделать мир пропагандой. Даже, может быть, и труднее, особенно если в России»², — заявляет он, исподтишка оппонируя Петру Верховенскому и тут же присоединяясь к его предложению перескочить «на всех парах через болото».

Между тем Nicolas после открытий, сделанных им во сне, начинает наяву повсюду прозревать крамолу. Так, он «обращает внимание татап на вредное направление, замеченное им между поселянами», у которых до крайности слабо развито «чувство уважения к священному принципу собственности», а управляющему, не могущему взять в толк его затейливых проектов, дает кличку «Каракозов». Ольга Сергеевна, встревоженная тем, что ее «куколка» уже слишком близко принимает к сердцу политические вопросы, отправляет его развлечься к Мангушеву. «Сельский дворянин» покровительственно-радушно встречает

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 122.

² Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VII, стр. 332.

соседа, потчует его изысканным обедом и дорогими винами, показывает ему свой конский завод и все время занимает светским разговором, в котором воодушевленные рассказы о любовных похождениях и породистых лошадях разнообразятся отрывистыми, но многозначительными замечаниями относительно «краеугольных камней». «Сельский дворянин» дает понять, что в Петербурге, где Nicolas предстоит сделать завидную карьеру, у государственных людей «намерения прекрасны», но «нет этой пылкости, этого натиска, чтобы разом покончить с гидрою!» Nicolas с горячностью поддерживает благонамеренное фрондерство Мангушева. После первого визита будущий дипломат все чаще стал бывать у нового приятеля, воображавшего себя лордом «в Глуховской губернии», и вскоре они уже «так сошлись в убеждениях, что поклялись друг другу составить общество «избавителей»¹.

III ;

Когда писались эти строки, идея об образовании такого общества могла возникнуть только в представлении великого сатирика, обнажавшего в преходящей злобе дня те незримые тенденции или (употребляя его образное обозначение) «готовности», которые становились явью, когда «созревали времена». Щедрина неоднократно доводилось быть свидетелем реального воплощения угаданных им «готовностей», но каждый раз это по-новому поражало его неожиданностью. Легко себе представить, как он отнесся к факту образования придворными кругами тайного общества «Священная дружина», поставившего себе целью борьбу с революционерами посредством террористических актов. «Общество «избавителей» стало реальностью через десять лет после клятвы, данной друг другу «ташкентцами приговорительного класса», которые теперь уже вершили судьбы страны в качестве «ташкентцев в действии»...

Достоевский не дожил до этого времени и не мог полностью оценить всей силы предвидения «проказ будущего», которую обнаружил писатель, по его убеждению, «Ташкентцев выдумывавший»... Но некоторое представление

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. X, стр. 136.

о том, что приближаются сроки, когда фантастическое общество «избавителей» неожиданно может приобрести какую-то реальность, он получил раньше, чем в этом убедился сам Щедрин.

При каких обстоятельствах это произошло, рассказано в книге «Письма о современном состоянии России», написанной до кончины Достоевского и анонимно изданной за границей в 1881 году. Имя Достоевского в названной книге не упомянуто, но оно подсказывается самим содержанием приведенного в ней эпизода. Для того же, чтобы уяснить этот эпизод, надо обратиться к основной теме «Писем о современном состоянии России». Авторы их (в предисловии отмечено, что «они писаны двумя единомыслящими лицами») поставили себе целью убедить верховную власть, что революционное движение в России не может быть искоренено ни полицейскими мерами, ни усилиями бюрократического государственного аппарата вообще и что единственным средством успешной борьбы с крамолой явилось бы содействие самого общества, руководимого крупнопоместным дворянством, наиболее заинтересованным в незыблемости самодержавного режима. Между тем эти благонамеренные люди, которые «не колеблясь соединили бы свои усилия с усилиями правительства», не имея «какого-либо простора действий, какой-либо свободы общественной группировки», оставались пассивными наблюдателями революционных актов, отказываясь выступать в роли «прямых доносчиков» в тех случаях, когда им доводилось узнавать о конспиративных замыслах «нигилистов». И в качестве примера, ярко характеризующего эту ситуацию, анонимный автор привел «недавний, известный ему случай»:

«К одному из первых наших писателей явился молодой человек и рассказал, что недавно еще он был ярым нигилистом, членом тайных лож; но, прочитав разоблачения этого писателя и сверив их с собственным опытом, пришел к убеждению, что наш нигилизм есть дело напускное, иноземное, направленное внешними и внутренними врагами исключительно к ослаблению России; что, узнав это раз, он не может оставаться безучастным к подобному явлению; убедившись же, как бывший заговорщик, в недостаточности правительственных средств для искоренения зла, предлагает учредить общество, которое разоблачило и убило бы нравственно шайку нигилистов в глазах

России. Что отвечал писатель? Он выразил, конечно, полное сочувствие видам обращенного нигилиста, но от образования всякого общества отказался, по уверенности, что членов охранительного общества, соединившихся по собственному почину, потребуют к ответу за недозволенные сборища и неразрешенную пропаганду, а в случае утверждения плана их властями они станут во всех глазах чем-то вроде полицейских агентов и утратят свое значение. Молодой человек, готовый пойти на борьбу со злом, как гражданин, не хотел стать доносчиком. Таких много»¹.

Этот любопытный эпизод в анонимных «Письмах о современном состоянии России» стал известен Щедрину летом 1881 года за границей, где он в то время лечился.

¹ «Письма о современном состоянии России» (Лейпциг, 1881, стр. 18). Отчасти на эту же тему высказался Достоевский в беседе с Сувориным, имевшей место 20 февраля 1880 года. В дневнике Суворина мы читаем следующую запись слов Достоевского: «Представьте себе,—говорил он,—что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим. Представьте себе, что это мы слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве, или обратились бы к полиции, к городоному, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошел бы...

— И я бы не пошел. Почему? Ведь это — ужас... Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода... Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные; и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины — ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком. Я представлял себе, как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: «Достоевский указал на преступников». Разве это мое дело? Это дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги получает. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит; и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Я бы написал об этом. Я бы мог сказать много скверного и для общества и для правительства, а этого нельзя. У нас о самом важном нельзя говорить» («Дневник А. С. Суворина», 1923, стр. 16).

Тогда же сатирик узнал, что фантастическое общество «избавителей», задуманное «ташкентцами приговорительного класса», не только явилось наяву предметом серьезного обсуждения автора «Бесов» с «обращенным нигилистом», но что из области предположений оно уже перешло в действительность, воплотившись в обширную и сильно разветвленную охранительную террористическую организацию — «Священную дружину». Под стать этим удивительным метаморфозам было и другое открытие: одним из анонимных авторов «Писем о современном состоянии России» оказалось лицо, возглавившее с ведома царя «Священную дружину», — граф. И. И. Воронцов-Дашков, министр императорского двора и главноуправляющий государственным коннозаводством. Как и «сельский дворянин» Мангушев, руководитель «Священной дружины» питал особую страсть к породистым лошадям, но, в отличие от него, был «ташкентцем» во всех статьях — не в переносном только, а и в буквальном значении слова, так как принимал личное участие в завоевании Туркестана и на первых порах управлял этим краем.

Имея в виду подобные «волшебства», Щедрин отвечал в очерке «Помпадур борьбы, или проказы будущего» зоидам, которые обвиняли его сатиру в преувеличениях, искажающих действительность:

«Многое потому только кажется нам преувеличением, что мы без должного внимания относимся к тому, что делается вокруг нас. Действительность слишком примелькалась нам, да и мы сами как-то отвыкли отдавать себе отчет даже в тех наблюдениях, которые мы, несомненно, делаем. Поэтому, когда литература называет вещи не совсем теми именами, с которыми мы привыкли встречаться в обыденной жизни, нам думается уже, что это небывальщина.

Но на самом деле небывальщина гораздо чаще встречается в действительности, нежели в литературе. Литературе слишком присуще чувство меры и приличия, чтоб она могла взять на себя задачу с точностью воспроизвести карикатуру действительности. Напрасно усиливалась бы она опошлять и искажать действительность, — в последней всегда останется нечто, перед чем отступит самая смелая способность к искажениям. Исказители! карикатуристы! возглашают близорукие люди. Но пускай же они укажут пределы глупого и пошлого, до которых не

доходила бы действительность, пусть хоть раз в жизни сумеют понять и оценить то, что на каждом шагу слышит их ухо и видит их взор!»¹

IV

Проникновенные суждения сатирика о «небывальщине» в жизни и искусстве развивают его взгляды на раскрытие сущности «простодушной обыденности», высказанные в «Господах ташкентцах». Рассматривая эти взгляды, мы уже заметили, что в развернутом виде они предстанут нам в очерке «Помпадур борьбы, или проказы будущего» (1873).

В «Помпадуре борьбы» Щедрин спустя много лет вернулся к Феденьке Кротикову. Как мы помним, сатирик оставил своего героя в состоянии душевного кризиса. Помпадур изнемог под бременем собственного либерального пустословия. В горячечном бреду продолжая твердить опостылевшую всем «предику» о процветании промышленности и тщательном удобрении полей, при обязательном условии сохранения общественного порядка, он «вдруг, среди самого, повидимому, мирного настроения мысли... вскочил как озаренный и не своим голосом закричал: — Раззорю!»

Семь лет спустя, в четвертой главе «Итогов» (1871), сатирик мимоходом вывел своего давнишнего героя. Простодушие не покинуло помпадура, но повадки его стали солиднее, бывшее «языконеистовство» уступило место размеренной речи человека, который познал цену собственным словам и всем своим видом желает внушить, что ему ведомо многое такое, о чем не догадываются люди, не призванные заниматься важными государственными делами. В «Итогах» щедринский герой все еще «прогрессист», и, соответственно, «в основании его административной системы лежит словцо... «можно». На эту тему между рассказчиком и Феденькой происходит следующий диалог:

« — А как ты полагаешь, мой друг, насчет хоть бы того, что вот иногда... не всегда, конечно, а иногда... люди чувствуют потребность размышлять, сообщать друг другу

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 204.

свои наблюдения и открытия... ведь можно? — спросил я, конечно, не без робости, ибо очень хорошо понимал, что вопрос мой касается одной из самых чувствительных административных язв.

Он немного задумался, ибо не далее как того же дня утром выслушал, откуда следует, очень обстоятельное по сему предмету поучение. Я знал об этом и, следовательно, имел очень основательный повод беспокоиться. Но, к удовольствию моему, простодушие моего друга и на сей раз взяло верх.

— Знаешь, что я тебе скажу? — наконец, произнес он (при этом я очень хорошо заметил, что из груди его вылетел вздох). — Пускай размышляют, пусть даже разговаривают! Я положительно не вижу к тому никаких препятствий!»

Дав такой решительный ответ на робко поставленный вопрос, щедринский «прогрессист» внезапно впадает в задумчивость и после непродолжительной внутренней борьбы уточняет свой вывод следующей оговоркой:

« — Признаюсь откровенно... я желал бы одного: пусть размышляют, пусть обмениваются мыслями, но... но так, чтобы никто этого не заметил!»

Измученный рассказчик просит разъяснить, каким образом его собеседник «предполагает устроить, чтобы люди откровенно общались друг другу свои мысли и чтобы в то же время никто этого не заметил?» И либеральный администратор, раздосадованный тем, что слушатель не вник в сущность его взгляда, брюзгливо отвечает:

« — Я хочу только сказать, что было бы желательно, чтобы не всякому (он особенно напер на это слово)... не всякому... это было заметно!»¹

Тут только рассказчик постиг, какую изворотливость ума обнаружил его простодушный друг, доискавшись средства на деле осуществить такую «карикатуру действительности», как «возведение понятия «свободы» на степень секрета»... Но это было еще не все, что бродило в уме администратора, который посредством магического словечка «можно» стремился обезоружить своих противников и таким образом «овладеть положением». Не давая опомниться собеседнику, он огорошил его новым откровением: « — Ведь по правде-то сказать, мы все не-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VII, стр. 460—461.

множко социалисты... Ведь это, так сказать, наша национальная подоплека. *Le socialisme, la commune — c'est tout un!* (Социализм, община — это все едино!) Разумеется, мы социалисты с разных точек зрения... Аксаков, Кашпирев... *que sais-je!*» (и кто там еще!)¹.

То, что щедринский герой из множества известных ему «социалистов» мог назвать лишь славянофила Аксакова и Кашпирева, издателя журнала «Заря», который в это время редактировал «почвенник» Страхов, не является случайностью. Напомним, что уже в очерке «Она еще едва умеет лепетать» сатирик сблизил красноречие Феденьки Кротикова с «литературными упражнениями» сотрудников «Времени». В «Итогах» же эта полемическая нота звучит и в насмешливом замечании, что собеседник рассказчика, излагая свою административную теорию, так увлекся, что «в горячности чувств чуть-чуть не дошел до равновесия души»².

Раскрывая полемический мотив в очерке «Она еще едва умеет лепетать», мы указали на родство Феденьки Кротикова с щедринским Митрофаном, который твердил «сказки о «почве», и установили общие у них черты. Еще отчетливее выражено это родство в «Помпадуре борьбы», где изображен реакционный фазис «проказливости» Феденьки Кротикова. Подобно Митрофану, он внимательно следил за внешнеполитическими событиями и так же враждебно относился к Франции, усматривая в ней источник всяческой крамолы. Для его умонастроения весьма знаменательно, что самая идея «борьбы» завладела им тогда, когда произошли «известные события в Западной Европе: интернационалка, франко-прусская война, парижская коммуна...» Дело в том, что помпадур «видел в этих событиях связь с новыми судами и земскими учреждениями», которые «явились первым поводом к его отречению от либерализма», и намеревался, в зависимости от исхода революционной борьбы за рубежом, «дать и своей внутренней политике более решительное направление». Наконец, наступила решительная минута: «Франция подписала позорный мир, а затем пала и парижская коммуна». Помпадур, ожидавший взрыва, был поставлен втупик загадочным явлением: «ни земская

¹ Последняя фраза содержится только в журнальном тексте («Отечественные записки», 1871, апрель, стр. 345).

² Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VII, стр. 462.

управа, ни окружной суд даже не пошевелинулись». Подозревая подземную интригу, Феденька Кротиков начал с великим усердием отыскивать «корни и нити», но все напрасно: избыливающие факты не давались в руки, как клад. Тогда, потеряв наружное самообладание, помпадур стал «придираться ко всякому встречному, обладает ли он надлежащею теплотою чувств», однако и здесь его постигла жестокая неудача: «чувства были у всех не только в исправности, но, повидимому, последние события даже поддали им жару...» Щедринский герой очутился бы в безвыходном положении, если бы в его голову не запала мысль, которая сразу разрешила мучительные недоумения и устранила с пути все препятствия. Он вдруг понял, что «следовал старой рутине», когда «искал каких-то фактов, которые дали бы ему повод объявить поход», в то время когда уже народилась новая административная система, позволяющая «без всякого повода, без малейшего факта бить тревогу и ходить войною вдоль и поперек, приводя в трепет оторопелых обывателей...»

Это открытие ввергло Феденьку Кротикова в «волшебное» состояние «необузданности до самозабвения», которое было столь знакомо Митрофану. Характеризуя последнее, Щедрин писал: «Известно, что ничто так не окрыляет фантазию, как отсутствие фактов. Нет фактов — значит, есть пустое пространство, не ограниченное никакими межевыми признаками, которое можно населить какими угодно привидениями». Такую же независимость от реальной действительности обрел и Феденька Кротиков, когда «убедился, что ему не нужно ни фактов, ни целей, а нужен только «дух», «направление», «превратные толкования» — и ничего больше. Что означают эти слова — это до него не касается; он рад уже и тому, что есть такие слова, которые хоть и черт знает что означают, но дают исходную точку для борьбы»¹. Франция, доставлявшая Феденьке Кротикову, как и Митрофану, столько забот, теперь, когда версальцы «водрузили на развалинах любезного отечества знамя «борьбы», стала для него источником вдохновения. В свой план искоренения крамолы он включил, помимо крестовых походов и Иоанны д'Арк, «чудеса в решетке», происходившие в современной ему Франции: «лурдские

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 189.

богомолья, отречение от сатаны в Парэ-ле-Мониале» — религиозные церемонии, которым депутаты Национального собрания демонстрировали свою приверженность монархии и римской церкви.

Роль Иоанны д'Арк Феденька Кротиков предназначил девице Волшебной, которая стала его помпадуршей еще в ту пору, когда он был либералом, и неизменно выказывала беззаветную преданность ему. Скромная до застенчивости, она чуждалась общества и истинно счастливой чувствовала себя только в домашней обстановке, в присутствии любимого человека и его приближенных. Среди этих приближенных сатирик вывел, на правах исторических лиц, Рудина и Лаврецкого — «тургеневских героев в старости», о которых «грезил» Достоевский во время работы над «Бесами». Отрицательная характеристика «лишних людей» в «Помпадуре борьбы» имеет, однако, совершенно другой смысл, нежели у Достоевского. Сарказм Щедрина обращен против тех «людей сороковых годов», которые изменили передовым идеалам своей юности и в пореформенную эпоху не видели «задачи более достойной истинного либерала, как с доверием ожидать дальнейших разъяснений»... начальства. Рудин, состоявший чиновником для особых поручений при Феденьке Кротикове, в бытность последнего либералом проповедовал «теорию возрождения России посредством социализма, проводимого мощною рукою администрации», а после отречения его от либерализма отправился распространять эту «крамольную» теорию «в тот край, где помпадурствовал Петька Толстолобов». Лаврецкий же даже к такой невинной фронде оказался неспособен, ибо «в это время уже являл собой только жалкое подобие прежнего Лаврецкого. Он до того ожирел, что лишь с трудом понимал, какие идеи — либеральные и какие — консервативные... Поэтому, когда Феденька объявил ему, что отныне им предстоит борьба, то он как-то апатически пожевал губами и, сказав: «Что ж... по мне, пожалуй», отправился в канцелярию писать циркуляр о благополучном вступлении Феденьки в новый фазис административной проказливости»¹.

Полемический смысл своего изображения «тургеневских героев в старости» Щедрин впоследствии пояснил

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 197.

прозрачным намеком на идею «Бесов», выраженную в эпиграфе к роману: «Сороковые годы, — писал он, — вообще были странные годы. С одной стороны — Грановский, Белинский и их кружок (*обратившийся потом в стадо свиней*), с другой стороны... — крепостные дела и целая армия исправников и становых»¹. Людей из окружения Белинского и Грановского, ставших затем ренегатами, деятелями и пособниками реакции, и имел в виду сатирик, изображая (в шестой главе «За рубежом») «торжествующую свинью», которая «изменнически-подло» допрашивала, «сыскивала» Правду. Не случайно в этой главе автор делится с читателем воспоминаниями о сороковых годах, когда позднейшая теория Рудина — «теория возрождения России посредством социализма, проводимого мощною рукою администрации» — имела хождение в чиновничьей среде под наименованием «вопроса об устройстве золотых веков при помощи губернских правлений и управ благочиния, на точном основании изданных на сей предмет узаконений...» В плане страстного обличения ренегатства воспринимается и вышеупомянутая щедринская характеристика Карамазова-отца в «Круглом годе». Выставляя самыми выдающимися чертами этого «оборотня» то, что он человеконенавистник и «на всякие предательства способен», до инсинуации политического свойства включительно, сатирик характеризует его, как «нечистое животное, которое только по горькой случайности восхитило человеческий образ». Определениями «торжествующая свинья», «нечистое животное», употребляемыми применительно к ренегатам, Щедрин указывал на тех представителей старшего поколения, которые действительно «обратились в стадо свиней», но не были изображены в «Бесах»...

Полемический характер своего показа «тургеневских героев в старости» сатирик подчеркнул в «Помпадуре борьбы» еще тем, что ввел в повествование несколько ситуаций, которые должны были напомнить читателям о «Бесах». Так, безграничная преданность Волшебновой Феденьке Кротикову воскрешает в памяти восторженное отношение хромоножки Лебядкиной к Ставрогину. Лебядкина в экзальтации молится в монастыре за Ставро-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XVI, стр. 382. (Курсив наш. — С. Б.)

гина, рисующегося ее мечтательному воображению «ясным соколом и князем». И Волшебнова, став подругой Феденьки Кротикова, все чаще «становится у клироса в женском монастыре», ибо теперь «у нее есть предмет для молитв» — ее «король-солнце»... Волшебнова поставлена помпадуром в такое же ложное общественное положение, как Лебядкина Ставрогиним, и обе не только не пеняют за это на любимых людей, но, напротив того, считают себя недостойными быть их женами и страдают от мысли, что якобы в чем-то погрешили или могут невольно погрешить перед своими кумирами. И все же Ставрогин и помпадур расплачиваются за то, что нанесли ущерб их «фамильному достоинству», и возмещают этот ущерб одинаковым образом — денежной компенсацией родственникам-шантажистам. Ставрогин, во избежание скандала за сокрытие своего брака с хромоножкой, выдает «субсидии» ее брату — капитану Лебядкину и становится его «дойной коровой», а Феденька Кротиков, чтоб умилистить оскорбленного отца помпадурши, «начальника одной из местных команд», штабс-капитана Волшебнова, «вынужден утвердить какие-то неслыханные цены на провиант и фураж...»

После того как Волшебнова была «возведена в сан Иоанны д'Арк» Феденькой Кротиковым, она преобразилась и в своей новой роли начала напоминать уже не Лебядкину, а главную героиню «Бесов» — Лизавету Николаевну Тушину. «Глаза у нее разгорелись, ноздри расширились, дыхание сделалось знойное, волосы были постоянно распущены. В этом виде, сидя на вороном коне, она перед началом каждой церковной службы галопировала по улицам, призывая всех к покаянию и к войне против материализма»¹. Эта характеристика вызывает в памяти ту сцену в романе Достоевского, когда Лизавета Николаевна верхом на разгоряченном коне подскакала к церкви, где с утра толпился народ, подавленный совершившимся кошунством, и «упала на колени перед образом, прямо на грязный тротуар...»

И, наконец, еще одна сюжетная ситуация в «Помпадуре борьбы» ассоциируется с «Бесами». Мы имеем в виду бурное объяснение фон Лембке с женой в ту ночь, когда он пришел к заключению, что политический заговор

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 208.

в губернии принял угрожающие размеры вследствие покровительства «нигилистам» Юлии Михайловны. В начале этого объяснения он стал упрекать жену в том, что по ее вине «над ним все смеются и его водят за нос», а кончил неожиданной угрозой «женский вопрос уничтожить» и «первую встретившуюся гувернантку... завтра же выгнать из губернии «с казаком», почему-то усмотрев непосредственную связь между разбрасыванием прокламаций и устройством Юлией Михайловной благотворительного вечера в пользу бедных гувернанток...

Такая же неожиданная мысль осеняет и Феденьку Кротикова, обескураженного неудачным исходом своих попыток изобличить крамолу фактами. Еще будучи либералом, он и помпадурша выписали из Петербурга двух ее институтских подруг, «ходивших с стриженными волосами и отрицавших авторитеты, и ездили с ними в открытых экипажах по городу». Этот эпизод приводит теперь Феденьку Кротикова в негодование. Обращаясь к Волшебновой, он говорит: «— Вспомни этих двух нигилисток, которых мы возили по городу! га! я никогда им не прощу этого!» Робкое возражение помпадурши, что «они были миленькие», только подливает масла в огонь.

«— Миленькие! Vous perdez la tête, ma chère! Des gueuses! de pétroleuses! des filles sans foi ni loi! (Вы теряете голову, моя дорогая! Дряни! петролейщицы! бесчестные девчонки!) Девчонки, которые не признавали авторитетов, которые мне.. мне... прямо в глаза говорили, что я порю дичь!.. Нет, дальнейшая слабость была бы уж преступлением!»¹

Период «консервативного бреда», предшествовавший «бреду борьбы», был самой мрачной порой для Феденьки Кротикова и его помпадурши. Время проходило в беседах на зловещую тему о «громадном наплыве неблагонадежных элементов, которые, благодаря интриге, всюду распространяют корни и нити», а фактов попрежнему не оказывалось. Как бы глумясь над Феденькой Кротиковым, либералы-чиновники «даже усугубляли свое рвение к интересам казны». И вконец огорченный помпадур однажды дошел до того, что, так же как фон Лембке Юлию Михайловну, обвинил свою верную подругу «в тайном содействии интриге». Но Юлия Михайловна

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 195.

уничтожающе захохотала в ответ и довела супруга до покаянных слез, а после объяснения с Феденькой Кротиковым помпадурша заплакала, удрученная несправедливостью брошенного ей обвинения. «Но и тут она не упрекнула его, а только усерднее стала молиться, прося у неба о ниспослании Феденьке фактов».

В дальнейшем пути фон Лембке и Феденьки Кротикова расходятся. Фон Лембке, так и не доискавшись «корней и нитей» заговора, кончает умопомешательством. Щедринский герой счастливо избегает этой участи потому именно, что «бред борьбы» делает его свободным от не-сносной обязанности отыскивать факты, изобличающие подземную интригу.

Начало военных действий «помпадур борьбы» ознаменовал устройством торжественной церемонии. Сопровождаемый правителем канцелярии, чиновниками оссбых поручений и частными приставами, он отправился за город. «Придя в подгородную слободу, Феденька выбрал пустопорожнее пространство, где было не так загажено, как в прочих местах, велел удалить кур и поросят и подвергнул себя двухчасовому воздержанию. Затем встал и пред лицом неба проклял свои прежние заблуждения...» «Исполнив все это, Феденька громко возопил: «Сатана! покажись!» Но... сатана явиться не посмел»¹.

Любопытно, что нечто аналогичное, правда не в сатирическом плане, а в ином аспекте, приходило на мысль и Достоевскому. Этот неосуществленный замысел оставил след в отрывочных заметках к «Бесам», содержащих один из первоначальных вариантов характеристики Ставрогина, который именуется здесь «князем». Ставрогин должен был совершить то, что оказалось не по силам фон Лембке, — раскрыть заговор «бесов» и обезвредить их в качестве агента высшей правительственной власти, командированного из Петербурга с секретным поручением... В этой неожиданной роли он выступает после убийства Шатова. «Князь *один* в целом городе не потерялся и все дело поставил на настоящую точку: заставил сознаться М — ва и Успенского. Поймал Зайцева. Произнес горячую и грозную речь о современных порядках, об неустроенной России и о том, как надо глядеть на вещи в настоящую минуту в России». Тут же Ставрогин

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 202—203.

характеризуется и таким действием: «Сочинил торжественный молебен для всех желающих... вроде покаяния»¹. Другая запись, передающая «мысли князя», заключается авторским указанием: «Это речь князя после молебна»².

По своему содержанию «горячая и грозная речь» Ставрогина, направленная против «социализма, коммунизма», во имя торжества высшей идеи «естественного братства», олицетворенного в России, «во главе с царем», как «воплощением души» народа³, являла собой самобытный русский вариант «отречения от сатаны» в Парэле-Мониале. Самобытный потому, что сцена обличения социализма и коммунизма в торжественной обстановке религиозной церемонии после ликвидации революционного выступления возникла в уме Достоевского задолго до того, как это произошло в действительности во Франции. И вместе с тем между этими явлениями существовало сродство «подоплеки». На него указал сатирик в «Благонамеренных речах», приведя в качестве «примеров чебоксарской цивилизации» во Франции как раз «лурдские богомолья» и демонстрацию версальцев... Но тут же он отметил и то, что французская «подоплека» «едва ли не более добротная, чем чебоксарская», ибо она «выразилась независимо от начальственных поощрений, тогда как, если взглянуться попристальнее в чебоксарскую подоплеку, то наверное увидишь на ней следы исправника или станового!»⁴ Так же в сущности думают о «подоплеке» и люди из народа, хотя высказываются на этот счет в уклончивой форме: «Знаю, — говорит щедринский «мальчик без штанов», — что праздник у нас на селе, потому что и нам, мальчишкам, в этот день портки надевают, а от бога или от начальства эти праздники приказаны — не любопытствовал»⁵.

V

С 1872 по 1876 год в «Отечественных записках» печатались очерки Щедрина под общим названием «Благонамеренные речи». В этот цикл первоначально входили и

¹ «Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 318.

² Там же, стр. 196.

³ Там же, стр. 136.

⁴ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 432.

⁵ Там же, т. XIV, стр. 90.

главы, впоследствии выделенные автором в отдельное произведение, получившее мировую известность, — «Господа Головлевы». Тема «Благонамеренных речей» занимала сатирика с давних пор: еще в 1863 году она легла в основу цикла «Как кому угодно», который он оборвал под давлением цензуры. Во второй главе нашей работы мы вскрыли резкое осуждение этого замысла Щедрина в «Записках из подполья», в неопубликованных заметках Достоевского и в полемической статье Страхова «Новый поборник нравственности». Страхов был так возмущен щедринским отрицанием «священных основ» существующего порядка вещей, утверждением сатирика, что именно защитники крепостнически-буржуазного общественного строя на деле подрывают превозносимые ими «краеугольные камни» — семью, собственность, государство, что не остановился даже перед откровенным предостережением политическому противнику. Впадая в тон цензора, он писал: «...нельзя, скажу прямо, не пожелать г. Щедрина побольше осторожности и самой строгой осмительности. Путь, на который он вступает, весьма опасен...»

Такое неприкрыто враждебное отношение «почвенников» к разоблачению «основ» современного общественного устройства напоминало сатирику цензурное «обуздание». Смысл этого разоблачения Щедрин выразительно охарактеризовал в цитированном письме к Е. И. Утину¹.

Из всего вышесказанного можно заключить, что и по существу вопроса о «краеугольных камнях» и по тому, как была встречена Достоевским и Страховым ранняя попытка сатирика осветить его, Щедрин, касаясь этих же «основ» в «Благонамеренных речах», должен был вспомнить о своих оппонентах из лагеря «Времени» и «Эпохи». И действительно, как это впервые установлено А. Лаврецким в книге «Щедрин — литературный критик» (1935), ряд острых полемических высказываний в «Благонамеренных речах» относится к «почвеннической» идеологии.

Одно такое высказывание мы привели выше, процитировав то место из очерка «К читателю», где сатирик указал на «сказки о «почве» со всею свитою условных форм общежития, союзов и проч.», как на «обширное и универсальное» выражение «принципа обуздания». Под «поч-

¹ См. стр. 87.

вой» здесь разумеются те «основы», о которых Щедрин писал, что во имя их «стесняется свобода», хотя они уже до того расшатаны, что не могут служить оправданием «принципа обуздания». И если в глазах большинства они все же служат таким оправданием, то этому не мало содействует усыпление сознания недалёковидных людей «сказками о «почве», особенно если сами усыпители фанатически уверены, что они возвещают непреложную истину.

Вот почему автор «Благонамеренных речей» охарактеризовал этих «искренних лгунов», то есть таких охранителей «устоев», которые с непоколебимым убеждением в собственной правоте сеют ложные воззрения, как самых непримиримых врагов объективного отношения к действительности и «свободного исследования» ее «краеугольных камней». «Лгуны искренние, — писал Щедрин, — суть те утописты «обуздания», перед которыми содрогается даже современная, освоившаяся с лганьем действительность. Это чудища, которые лгут не потому, чтобы имели умысел вводить в заблуждение, а потому, что не хотят знать ни свидетельства истории, ни свидетельства современности, которые ежели и видят факт, то признают в нем не факт, а каприз человеческого своеволия»¹.

Эти определения совпадают с характеристикой Митрофана, который «не любит ни анализировать, ни обобщать», ибо для него «не существует ни опыта, ни предания», и, «по его мнению, каприз и чудачества обуравляют вселенную: люди не по необходимости меняют старые формы общежития на новые, а потому только, что так вздумалось». Поэтому «искренние лгуны», указывал сатирик, «бросают в вас краеугольными камнями... нимало не помышляя о том, что камень может убить. Это угрюмые люди, никогда не покидающие марева, созданного их воображением, и с неумолимою последовательностью проводящие это марево в действительность. Всегда вооруженные, недоступные и неподкупные, они не останавливаются не только перед насильем, но и перед пустотой. «Если в результате наших усилий оказывается только пустота, — говорят они, — то, следовательно, оно не может иначе быть». «Я от души уважаю искренность, — заключает Щедрин, — но не люблю костров и

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 42.

пытк, которыми она сопровождается... Нет ничего ужаснее, как искренность, примененная к насилию, и общество, руководимое фанатиками лжи, может наверное рассчитывать на предстоящее превращение его в пустыню»¹.

Таков именно был финал усилий Феденьки Кротикова после того, как он «пред лицом неба проклял свои прежние заблуждения», отрекся от сатаны и все помыслы сосредоточил на обуздании нечестивых — «коммуналистов из земской управы». «Мне и в пустыне будет хорошо-с!», — говорил он, придя к выводу, что «самое лучшее средство спасти это гнездилище неключимостей (так называл Феденька Навозный) — это погубить его... При слове «пустыня» воображение Феденьки, и без того уже экзальтированное, приобретало такой полет, что он, не в силах будучи управлять им, начинал очень серьезно входить в роль погубителя Навозного»².

Феденька Кротиков впал в «административный мистицизм», которым, как мы знаем, еще раньше проникся глуповский правитель Грустилов — отчасти под воздействием Пфейферши и юродивого Яшеньки, а отчасти под впечатлением, внесенным им и всем глуповским бомондом из чтения «критических статей г. Н. Страхова»... Подобно Грустилову, «помпадур борьбы» уверился в том, что «всякое усилие, делаемое человеком с целью оградить себя от каких-либо случайностей, есть бунт против неисповедимых путей. А посему: не следует ни пожаров тушить, ни принимать какие-либо меры против голода или повальных болезней. Все это посылается не без цели, но или в видах наказания, или в видах испытания. Следовательно, и в том и в другом случае не требуется ничего, кроме покорности и твердости в перенесении бедствий». «Помпадуру борьбы» это воззрение представлялось возвышенным и вместе с тем способствующим достижению намеченной им цели, так как оно «освобождало его от многих обязанностей, которые мешали исключительно предаться делу истребления ненавистного ему «духа»³.

Таким образом, в Митрофане и Феденьке Кротикове мы обнаруживаем отдельные черты типа «утописта обуздания», которому впоследствии, в «Благонамерен-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 43.

² Там же, стр. 208—209.

³ Там же, стр. 208.

ных речах», сатирик дал столь своеобразное и неожиданное определение, как «искренний лгун». Но если в эмоциональных характерах Митрофана и «помпадура борьбы» живо ощущаются хлестаковское и дон-кихотское начала, то в «Благонамеренных речах» сатирик создает образ «искренного лгуна», в котором воплощает черты фанатика лжи из породы «угрюмых людей».

Это — «почвенник» Плешивцев, персонаж очерка «В дружеском кругу». Ревнивый блюститель «основ», он «смотрит на себя, как на апостола, и обращается с своими принципами бережно, словно обедню служит. Как «почвенник», он верит в жизненность своих убеждений...» Плешивцев никак не может согласиться с тем, что его старинный приятель и департаментский сослуживец Тебеньков — консервативный либерал, причисляющий себя к западникам; стоит на страже тех же «основ», какие столь торжественно защищает он сам. Такая мысль представляется ему чуть ли не кощунственной, и на этой почве «в дружеском кругу» очень часто происходят жаркие споры. Дело в том, что в своих суждениях Плешивцев неизменно отправляется от «русской точки зрения». Тебеньков же в качестве западника разрешает себе некоторое вольнодумство и, защищая «краеугольные камни» с приличным рвением, дает, однакоже, почувствовать, что «вся эта защита ведется как будто бы «пурле жанс», то есть для слуг, которых надо держать в страхе божием и в повиновении властям земным, и что «в сущности, для него все равно, что восток, что запад, по пословице: была бы каша заварена, а там хоть черт родись». Такое вольнодумство выводит Плешивцева из себя, и он в запальчивости обзывает приятеля «департаментской засушиной», «гнуснецом» и «паскудником». Со своей стороны Тебеньков не остается в долгу и награждает Плешивцева прозвищами «юродствующего» и «блаженненького»¹.

Эти бурные словопрения имеют одну неожиданно-комическую особенность: они убеждают в том, что непримиримые враги являются по сути дела идейными единомышленниками. Плешивцев и Тебеньков «очень серьезно взаимно считают себя противниками, оба от полноты сердца язвят друг друга и отнюдь не догадываются,

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 420—421.

что только счастливое недоумение не позволяет им видеть, что оба они, в сущности, делают одно и то же дело и уязвлениями своими не разбивают, а, напротив того, подкрепляют друг друга»¹. Это «счастливое недоумение» порождается некоей «метафизической кляузой», которая исходит из «благонамеренных речей» Плешивцева и делает их якобы отличными от «благонамеренных речей» Тебенькова.

Так, например, Плешивцев утверждает, что консерватор обязан защищать «краеугольные камни» не только за страх, но и за совесть. Тебеньков же находит такое требование чрезмерно прихотливым и полагает достаточным для обеспечения общественной безопасности наличие спасительного страха.

«— Мне все равно, как ты подплясываешь, — говорит он, — за один ли страх, или вместе за страх и за совесть! Ты подплясываешь — этого с меня довольно, и больше ничего я не могу от тебя требовать! И не только не могу, но даже не понимаю, чтобы можно было далее простираť свои требования!

— Ты не понимаешь, потому что ты паскудник! — возражает ему Плешивцев, — ты вот и выражения такие подыскиваешь, которые доказывают, что в тебе не душа, а департаментская засушина! Это ты «подплясываешь», а я не подплясываю, а пламенею!»²

Но подплясывание ли, или восторженное преклонение, указывает Щедрин, относятся все же к «одним и тем же краеугольным камням», к «тем самым, о которых вы услышите и в любой обвинительной речи прокурора и в любой защитительной речи адвоката. Пойдите на улицу — вам объяснит их любой прохожий; зайдите в лавочку, любой сиделец скажет вам: кабы на человека да не узда, он и бога-то позабыл бы! Все: и прокуроры, и адвокаты, и прохожие, и лавочники понимают эти камни точно так же, как понимают их Плешивцев и Тебеньков». Однако, вопреки очевидной ясности вопроса, «метафизическая кляуза», глубоко въевшаяся в Плешивцева, сеет раздор между ним и Тебеньковым настойчивым выпячиванием психологических нюансов, которые к сути дела не относятся, а между тем затемняют ее, становясь на первый план.

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 425.

² Там же, стр. 420—421.

Мировоззрение Плешивцева, помимо охарактеризованного выше отношения его к «краеугольным камням», определяется Щедриным таким образом:

«Религия, почва и любовь — вот триада, которой поклоняется Плешивцев и в которой он видит так называемую русскую подоплеку».

О каждом из членов этой триады Плешивцев имеет свое суждение и решительно отвергает солидарность с Тебеньковым, хотя последний приемлет все то, чему поклоняется его друг. «И Тебеньков и Плешивцев — оба религиозны и оба очень усердно выполняют требуемые религией обряды. Оба утверждают, что общество без религии все равно, что тело без души». Рассуждая на эту тему, Тебеньков высказывается и в том смысле, что «религия есть один из рычагов, которым государство имеет право пользоваться для своих целей. А лично о себе выражается, что он *обязан* быть религиозным, потому что должен подавать пример «пур ле жанс». Сверх того, он не скрывает, что религиозность не бесполезна, «как средство обратить на себя внимание начальства», если оно набожно, и что таким путем можно получить повышение по службе. Последний довод Плешивцев считает абсолютно недопустимым: «он религиозен без надежды на повышение». Что же касается вопроса о государственной религии, то хотя он «тоже считает государство немислимым без религии, но видит в последней не «подспорье», как Тебеньков, а основание. И вследствие этого жалеет о временах патриархов». Дискуссию со своим оппонентом Плешивцев заключает в тоне сурового обличения:

«— Ты проходимец! — говорит он Тебенькову. — Ты постное масло жрешь, потому что знаешь, что князь Иван Семеныч посты блюдет! А я ем постное, потому что этим во мне действо русского духа проявляется! Вот ты и понимай!

— А кто в прошлое воскресенье князю Ивану Семенычу просвирку принес? — неожиданно, словно из пистолета, выстреливает в ответ Тебеньков.

— Я принес! Но не страха ради иудейска принес, а потому, что в этом приношении любви действо проявляется, — вот что!»¹

¹ Н. Щедрия (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 423.

Плешивцев выказывает сильное пристрастие к употреблению слова «любовь» в самых неожиданных смыслах, что тоже является причиной разногласий Тебенькова с ним. Так, подобно Плешивцеву, признавая аристократический принцип, Тебеньков «в основании аристократизма полагает право завоевания», а его противник «основывает аристократизм на «любви». Спор по этому частному вопросу приобретает более общий интерес, когда оппоненты заводят речь о современных общественных отношениях в целом. Как и в других случаях, их исходные позиции по существу одинаковы. «И Тебеньков, и Плешивцев — оба разделяют человечество на пасущих и пасомых. Но Тебеньков видит в этом разделении простое требование устава благоустройства и благочиния, а Плешивцев и тут ухитряется примостить «любви действо». Тебеньков говорит: все не могут повелевать, надобно, чтобы кто-нибудь и повиновался. Плешивцев говорит: нет, это не так, это слишком сухо, черство, голо; это чересчур пахнет счетом, арифметикой. И предлагает в основание разделения людей на повелевающих и повинующихся положить принцип «любви». Повелевающие повелевают «любви ради», а покоряющиеся покоряются тоже «любви ради». И это первых ободряет, а вторых утешает.

«— Да на кой черт тебе эти ободрения и утешения! — спорит Тебеньков. — Ведь суть-то в том, чтоб покоряющиеся покорялись — и ничего больше!

— Ты паскудник! Ты этого не понимаешь! — отвечает Плешивцев. — Ты всюду со своей арифметикой лезешь, из всего сухую формулу хочешь сделать, а для меня совсем другое важно. Для тебя животворящий принцип — палка! а для меня этого мало. И палка, сударь, нема, коли в ней любви действо не проявляется!»¹

Тебеньков умолкает перед этим пламенным доводом «почвенника» Плешивцева, как бы пораженный мыслью о том, какую животворную силу обретет «палка», если в ней проявится «любви действо»... И за всем тем, когда заходит разговор о народности, в нем снова берет верх «департаментская засушина». Как и Плешивцев, он относится к народности с уважением, но «смотрит на этот предмет с точки зрения армий и флотов, а Плешивцев —

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 423—424.

с точки зрения подоплеки. Оба говорят: есть ли на свете другой народ, как русский! Но Тебеньков относит свои похвалы преимущественно к дисциплине, а Плешивцев — к смирению»¹.

Палочная дисциплина и смирение в данном случае обозначают одно и то же — покорность. Таким образом, и в вопросе о народности единомышленники разногласят лишь по «счастливому недоумению», которое мешает им рассмотреть в плешивцевской «подоплеке» тебеньковскую «точку зрения армий и флотов». Что в этом заблуждении главную роль играет «метафизическая кляуза», наглядно выясняется и из спора друзей по поводу исхода франко-прусской войны.

Щедринский Митрофан, твердивший «сказки о «почве», с особой охотой распространялся на ту тему, что «Запад разлагается, что та или другая раса обветшала и сделалась неспособною для пользования свободой», причем «больше всего доставалось тут Франции» за «бесплодное метание из угла в угол, анархию, бунт». Эта тема конкретизируется и получает заостренное выражение в суждении Плешивцева о нашумевшем в семидесятых годах выступлении эльзасца Тейтча в германском рейхстаге. Речь его была немногословна. Обращаясь к рейхстагу, эльзасец заявил, что «любит свое отечество, которым он почитает не Германию и даже не отторгнутые ею, вследствие последней войны, провинции, а Францию»; что, «сильный этой любовью, он сомневается в правильности присоединения Эльзаса и Лотарингии к Германии, потому что... нельзя разумного человека заставить переменить отечество так же легко, как он меняет белье», и что, «по всем этим соображениям, он находит справедливым, чтобы совершившийся факт присоединения был подтвержден опросом населения присоединенных стран, действительно ли этот факт соответствует его желаниям».

Речь эльзасца, проникнутая горячей привязанностью к своей родине — Франции, была встречена членами рейхстага издевательскими возгласами, а президент палаты депутатов пригрозил призвать оратора к порядку. По этому поводу Щедрин ядовито замечает, что такой знаменательный факт может серьезно смутить и обескуражить тех «чистых сердцем», которые искренне возмущаются

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 424.

космополитическими «превратными толкованиями», а самим космополитам он способен доставить истинное торжество. В самом деле, аргументирует эту мысль рассказчик: «Тейтч любит свое отечество, то отечество, которое он, с тех пор как помнит себя, всегда считал таковым. С другой стороны, он обращается с этою любовью не к космополитам-теоретикам», а «к таким же солидным людям, как и он сам, к членам рейхстага, из которых каждый отнюдь не меньше его любит *свое* отечество». И «тут-то именно и происходит нечто совершенно неожиданное. Люди этого собрания, так горячо любящие свое отечество, не только не поощряют Тейтча, не только не приглашают его дать полезный урок «беспочвенному космополитизму», но, напротив того, глумятся над Тейтчем, как над блаженньким, осыпают его насмешками и бранью, как будто он самый вредный из вреднейших членов интернационалки... И что всего замечательнее: они смеялись во имя той же самой «любви к отечеству», именем которой и Тейтч посылал им в лицо свои укоры!»¹

Можно было ожидать, что это сенсационное происшествие вызовет самый оживленный обмен мыслей «в дружеском кругу». Тем более, что, — как конфиденциально сообщили рассказчику оба его приятеля, — они, по секрету друг от друга, изготовили для князя Ивана Семеныча циркуляр, в котором, «именно ввиду постоянного распространения «превратных толкований», любовь к отечеству рекомендовалась вниманию начальствующих лиц как такое чувство, которое заслуживало со стороны их особого внимания и поощрения». От проекта Тебенкова «разило государственностью», Плешивцевым «очень искусно был пущен запах подоплеки», но оба автора единодушно утверждали, что патриотическое чувство является «одним из самых могущественных административных подспорьев...» Различие же в проектах сводилось к тому, что Плешивцев вместо «государства» всюду писал «отечество», а Тебенков предлагал главное внимание обращать на то, «дабы отечество, в сознании управляемых, ни в коем случае не отделялось от государства и дабы границы сего последнего представлялись оным яко неперемненные и естественные границы первого...» Читая свой проект рассказчику, Плешивцев многозначительно

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 426—427.

говорил: «я здесь — Плешивцев! Понимаешь? Плешивцев, а не чиновник!» И затем, представив свою работу князю Ивану Семенычу, он даже несколько побаивался за ее судьбу.

« — Заметь, братец, — говорил он, — об государстве ни одного слова! Отечество — и basta!»¹

Но поскольку в департаментской практике слова «отечество» и «государство» нередко употреблялись как синонимы, то Плешивцев все же надеялся, что об его вольности не догадаются... Иначе говоря, Плешивцев пытался проявить «независимость» своих взглядов в той несколько замысловатой форме, которую ранее изобрел для благонамеренных фрондеров щедринский помпадур, когда он начал поговаривать о «национальной подоплеке». В эту пору Феденька Кротиков позволял размышлять и даже «обмениваться мыслями, но... но так, чтобы никто этого не заметил!»

Скандалная история в германском рейхстаге, получившая широкую огласку в печати, ставила под угрозу судьбу проекта Плешивцева — начальство могло теперь заметить, что в нем совсем не упоминалось о государстве, зато излишне много раз повторялось слово «отечество». Плешивцев приуныл. Встретившись с рассказчиком сейчас же после прочтения речи Тейтча, он шепнул ему: «Не пройдет! нечего и думать!» Тебеньков же, напротив того, окончательно уверился в своем успехе и тоже не преминул поделиться с рассказчиком волновавшими его чувствами. Он торжествующе заявил: « — Теперь мое дело в шляпе — придется, может быть, несколько почитистить: «отечества» поурезать да «государственности» поприпустить — и готово!»

Все это давало основания полагать, что Тебеньков отнюдь не солидаризируется со взглядами эльзасца на любовь к отечеству, а Плешивцев, не в пример ему, встанет на защиту патриотического чувства, издевательски осмеянного рейхстагом. На деле же произошло нечто непредвиденное: еще не успел Тебеньков раскрыть рта, как Плешивцев обрушился на французскую цивилизацию, обличая ее в отсутствии «духа жизни» и «жизни духа» и все сводя в ней к «гнилью» и «мертвечине». И под прикрытием этих излюбленных «почвеннически»-славянофильских

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 428.

метафор Плешивцев сделал вывод, прямо относившийся к речи Тейтча:

« — А потому, и не жалуйся, гнилой человечешко, что его в полон взяли! Не сетуй, не растабарывай насчет отечества, которого у тебя нет!»¹

Рассказчик и Тебеньков пытались разубедить расхोлившегося Плешивцева, однако все их доводы относительно жизнеспособности французской нации он с ожесточением отверг, оставшись при своем взгляде, что ее военное поражение явилось прямым следствием отсутствия у нее «подоплеки»... Но несогласие с Плешивцевым в этом вопросе нисколько не помешало Тебенькову точно так же отрицательно отнестись к речи эльзасца в германском рейхстаге. «Помилуй! — воскликнул он, обращаясь к рассказчику, — что же может быть постылее, как назойливость по поводу выеденного яйца! Люди занимаются делом, обсуждают новый закон о книгопечатании, предпринимают реорганизацию армий и флотов, а к ним лезут с протестом против бесповоротного удара судьбы!» На вопрос рассказчика, как согласовать это суждение с его циркуляром о любви к отечеству, Тебеньков ответил, что все сказанное там остается в силе, но «для совершенно ясного определения пределов ведомств любви к отечеству» необходимо иметь «точные сведения о географических границах», иначе «мы всегда будем блуждать впотьмах». Следовательно, поскольку германская империя в результате победы ее оружия (хотя «шансы войны подвержены множеству случайностей!») присоединила к себе Эльзас и Лотарингию, она имеет право, в силу совершившегося факта, жителей этих провинций заставить полюбить «новое отечество». Плешивцев восстает против «поганой ясности» взгляда своего противника, причем в запальчивости заходит так далеко, что отмежевывается от «тебеньковского государства»... Прежде всего он не соглашается с тем, что для того, чтобы любить отечество, нужно знать его географические границы: «Человек любит свою родину потому, что об ней говорит ему все нутро его!» Он решительно отвергает и мысль о случайностях, могущих влиять на исход войны, заявляя, что знает только «пути провидения». И в заключение — излагает свой взгляд на франко-прусскую войну, разъясняющий смысл излюблен-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 430.

ного мнения щедринского Митрофана, что «та или другая раса обветшала и сделалась неспособною для пользования свободой».

Этот взгляд являет собою самую зловещую «метафизическую кляузу» в «благонамеренных речах» Плешивцева, квинт-эссенцию «адского убеждения» недоступного и неподкупного «искреннего лгуна».

Франции, говорит Плешивцев, нанесло военное поражение не германское государство, а германский народ, который, присоединив эльзас-лотарингцев к своему отечеству, вправе требовать, чтобы «они любили это новое отечество точно так, как бы оно было для них старым отечеством». Это право германского народа оправдано тем, что «его нравственная физиономия выше, нежели нравственная физиономия какого-нибудь эльзасца, воспитанного в растлевающей французской школе». И осуществление такого права нельзя считать порабощением, ибо «для возвращенного, лишенного нравственной подкладки эльзасца это не порабощение, а просветление». Что же касается вопроса, «кому принадлежит право решать, какой организм более нравствен и какой организм менее нравствен», то «судья в этом деле — совесть самого более нравственного организма, его собственное сознание принадлежащего ему права и, как результат этого сознания — успех». Победенным же надлежит беспрекословно подчиниться необходимости «просветления, преобразования», а если они будут продолжать упорствовать, то «докажут этим, что для них нужна школа. И получают ее».

В этом месте Тебеньков прервал Плешивцева замечанием, что тот лишь другими словами выразил его основную мысль: «люби не люби, а подплясывай!» И затем продолжал:

« — Господа! — сказал он, — к удивлению моему, я с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что как ни беспощадна полемика, которую ведет против меня наш общий друг Плешивцев, но, в сущности, мы ни по одному вопросу ни в чем существенном не расходимся. Он требует для человека почвы, и я требую для человека почвы. Он признает, что есть известные основы, без которых общество не может существовать, и я признаю, что есть известные основы, без которых общество не может существовать. Он уважает религию, и я уважаю религию. Он консерватор, и я консерватор. Разница между нами за-

ключается в том, что я употребляю некоторые выражения, которые не по душе Плешивцеву, а он употребляет некоторые выражения, которые не по душе мне. Но смею думать, что это только диалектические особенности... Мы оба требуем от масс подчинения, а во имя чего мы этого требуем — во имя ли принципов «порядка», или во имя «жизни духа», — право, это еще не суть важно».

Обращаясь к Плешивцеву, Тебеньков так закончил свою речь: «Да, мой друг, что ни говори, а все эти «подплеки», все эти «жизни духа» — всё это диалектические приемы того же устава благочиния, во имя которого ратую и я. Тебе по сердцу «просветление», мне — «административное воздействие», но и в том и в другом случае в конце концов все-таки прозревается военная экзекуция. Тебе нравится московский период государства российского, мне нравится петербургский период государства российского, но оба и несомненно мы имеем в виду одну и ту же государственность. Не правда ли?»¹

На этот вопрос Плешивцев не ответил, но и не согласился с Тебеньковым, продолжая настаивать, что их разделяют не «диалектические приемы», а совершенно различные «исходные пункты», отправляясь от которых они, неизвестно почему, приходят к одинаковым результатам... Как «искренний лгун», Плешивцев говорил о различных исходных пунктах с глубоким убеждением, веря в то, что так оно и есть в действительности.

Что у Плешивцева на языке, то у других на уме, однако до времени они воздерживаются от столь откровенного высказывания своих мыслей. Но в такого рода воздержании Щедрин усматривал опасный симптом «проказ будущего», и оно-то именно и побуждало его, «в меру цензурного произвола», воспроизвести «благонамеренные речи» Плешивцева без всяких умолчаний. Какой смысл вкладывал сатирик в свой прием разоблачения невысказанных мыслей, он разъяснил в очерке «Помпадур борьбы, или проказы будущего», развивая там тему «простодушной обыденности», которую уже раньше затронул в «Господах ташкентцах».

«Литературному исследованию, — писал Щедрин, — подлежат не только те поступки, которые человек беспрятственно совершает, но и те, которые он несомненно со-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 435—436.

вершил бы, если б умел или смел. И не те одни речи, которые человек говорит, но и те, которые он не выговаривает, но думает. Развяжите человеку руки, дайте ему свободу высказать *всю* свою мысль — и перед вами уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали в обыденной жизни, а несколько иной, в котором отсутствие стеснений, налагаемых лицемерием и другими жизненными условностями, с необычайною яркостью вызовет наружу свойства, остававшиеся дотоле незамеченными, и, напротив, отбросит на задний план то, что на поверхностный взгляд составляло главное определение человека. Но это будет не преувеличение и не искажение действительности, а только разоблачение той *другой* действительности, которая любит прятаться за обыденным фактом... Вы скажете: какое нам дело до того, волею или неволею воздерживается известный субъект от известных действий; для нас достаточно и того, что он не совершает их... Но берегитесь! *Сегодня* он действительно воздерживается, но завтра обстоятельства благоприятствуют ему, и он *непременно* совершит все, что когда-нибудь лелеяла тайная его мысль. И совершит тем с большею беспощадностью, чем больший гнет сдавливал это думанное и лелеянное»¹.

От «почвенников» сатирик ожидал не меньших «проказ» в будущем, нежели от охранителей с любой подоплекой — славянофильской в обычном смысле слова или западнической. «Бесы» — произведение виднейшего представителя «почвеннического» направления, появившееся в катковском журнале «Русский вестник», — могли только утвердить Шедрина в этом убеждении.

После опубликования «Бесов» и «Дневника писателя» Шедрин в «Благонамеренных речах» дал такую оценку сущности «почвенничества» и специфических форм выражения этой системы взглядов, которая была полемически заострена и против примиренческого отношения к литературной деятельности Достоевского. Здесь он публицистическими и художественными средствами показал, в какое заблуждение могут ввести «диалектические приемы» защиты «основ» помещичье-буржуазного государства, не похожие на привычные доводы охранителей, и искренность этой защиты, столь отличающаяся от дидактических

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 203—204.

сентенций лицемерных лгунов. Останавливаясь на последнем различии в очерке «К читателю», Щедрин подчеркнул, что каждый из этих лицемерных лгунов, может быть, «во сто крат омерзительнее, нежели лгун-фанатик, но *личный характер людей играет далеко не первостепенную роль в делах мира сего*»¹. К этому вопросу сатирик вернулся и в очерке «В дружеском кругу», характеризуя Плешивцева и Тебенькова как носителей «принципа обуздания».

«— Говорят, — писал он, — будто Плешивцев искреннее, нежели Тебеньков, и будто бы с этой точки зрения он заслуживает более симпатии. Но, по-моему, они оба — равно симпатичны. Правда, я достоверно знаю, что если Плешивцеву придется кого-нибудь преследовать, то не мудрено, что он или на дыбу того человека вздернет, или на костре изжарит. Но я знаю также, что если и Тебенькову выдастся случай кого-нибудь преследовать, то он тихим манером, кроткими мерами... но все-таки того человека изведет»².

И еще одно различие оттенил Щедрин в своих героях: «Плешивцев проникает в человеческую душу с помощью взлома, Тебеньков делает то же самое с помощью подобранного ключа»³. Этой характеристикой сатирик подсказывал читателям ту мысль, что Плешивцев и Тебеньков, которых он изобразил спорящими «в дружеском кругу», подвизаются и на более широком поприще, где каждый по-своему пропагандирует один и тот же «принцип обуздания» и воздействует на свою аудиторию доступными ему средствами. Что же касается разногласий между Плешивцевым и Тебеньковым, то об их значении свидетельствуют горячие дебаты, в результате которых оппоненты «уязвлениями своими не разбивают, а, напротив того, подкрепляют друг друга»...

Когда Щедрин писал очерк «В дружеском кругу», он уже вынашивал гениальный образ лицемерного лгуна и пустосвята Порфирия Головлева. Прозванный Иудушкой за предательский нрав, елейные речи, умильный взгляд, крадущуюся походку и мертвую хватку цепких рук, Пор-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 43. (Курсив наш. — С. Б.)

² Там же, стр. 425.

³ Там же, стр. 424.

фирий Головлев тяготеет над подвластными ему людьми «на законном основании» — во всеоружии внешних форм, предуказанных писаными и неписаными правилами исторически обреченного порядка вещей. Этот образ лицемерного суесловия обращен и в сторону «искренних лгунов», «утопистов обуздания», чья фанатическая защита «краеугольных камней» поддерживала государственный и общественный строй, взрастивший носителя прописной истины, который «мертвыми дланями стучал в мертвые перси» и был в своей вотчине несменяемым судьей и карателем «потрясателей основ»...

Иудушка во весь рост предстает в сцене последнего свидания с умирающим братом. К агонизировавшему Павлу Владимировичу Иудушка явился из «таинственного угла», где «образ в золоченом окладе... с какою-то изумительной яркостью, словно что-то живое, выступал из тьмы». Подавленный предчувствием близкой смерти, Павел Владимирович «всматривался-всматривался» в «освященный угол», и «ему почудилось, что там, в этом углу, все вдруг задвигалось. Одиночество, беспомощность, мертвая тишина — и посреди этого тени, целый рой теней. Ему казалось, что эти тени идут, идут, идут... В неопisanном ужасе, раскрыв глаза и рот, он глядел в таинственный угол и не кричал, а стонал». Умирающему померещилось, что его мучитель «вышел оттуда, из этой тьмы, которая сейчас в его глазах так таинственно шевелилась»... В страшном смятении он усиливался понять, как произошло жуткое превращение тени в «кровопивца во плоти». И, как бы отнимая последнюю слабую надежду у брата, Иудушка «приблизился к образу, встал на колени, умилился, сотворил три земных поклона» и, подойдя затем к постели, воскликнул: «Бог милости прислал!»

Эта сцена, исполненная жизненной и художественной правды, противостоит надуманной, фальшивой тенденции «Бесов», подчеркнутой Достоевским в предсмертной речи Степана Трофимовича Верховенского. Выслушав евангельское сказание об исцелении бесноватого после того как из него вышли бесы и вошли в свиней, потонувших в озере, Степан Трофимович говорит, что «это точь-в-точь как наша Россия... милый наш больной... Но... выйдут все эти бесы... больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых...»

Коленопреклоненный перед образом «добрый христианин» Порфирий Головлев свидетельствовал о том, кто в действительности «сидит у ног Иисусовых», из какого «таинственного угла» исходят мракобесие и самый разнузданный произвол, душащие все живое и рвущееся к свету. В реальной действительности, решительно опровергавшей обнаженно-тенденциозное истолкование евангельского рассказа, свиньи не потонули, а выбрались на берег и прижились в болоте. Бесы их не покинули, довольные новым пристанищем. Только в свиньях, которым «горькая случайность дала возможность восхитить человеческий образ», они стали «жалкими и смешными чертями».

Как мы покажем в следующих главах, эти мысли по поводу «Бесов» Щедрин высказал позднее, отвечая на полемические выступления против него в «Дневнике писателя» и в «Братях Карамазовых».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

В те годы, когда Щедрин создавал цикл «Благонамеренные речи», в котором нашла совершенное художественное воплощение идея «разоблачения краугольных камней», Достоевский закончил «Бесы» и написал новый роман — «Подросток». Помимо того, в 1873 году он печатал в выходившем под его редакцией журнале «Гражданин» «Дневник писателя», а в 1876—1877 годах выпускал свой «Дневник» как ежемесячное издание.

Достоевского издавна влекло к беседе на политические, философские и бытовые темы, и эту потребность публицистического общения с читателем он удовлетворял в форме подчеркнуто-субъективных высказываний, причем иногда от собственного лица выражал те мнения и оценки, которые ранее вкладывал в уста героев своих произведений (например, Шатова в «Бесах»). В «Дневнике писателя» немало страниц уделено и полемике, в частности видное место занимают здесь споры с Щедриным. Во второй главе нашей работы, комментируя отзывы Достоевского о картине Ге «Тайная вечеря» и поэме Некрасова «Русские женщины», мы обнаружили такой

полемический эпизод в статье «По поводу выставки». Здесь дополнительно отметим, что в «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский намеревался также высказаться об одном очерке Щедрина. В статье «Смятенный вид» он писал:

«Я кое-что прочел из текущей литературы и чувствую, что «Гражданин» обязан упомянуть о ней на своих страницах. Но — какой я критик? Я действительно хотел было писать критическую статью, но, кажется, я могу сказать кое-что лишь «по поводу». Всего я прочел: «Запечатленного ангела» г. Лескова, поэму Некрасова и статью г. Щедрина»¹.

Тут же Достоевский сделал несколько критических замечаний о произведении Лескова, а в одном из следующих номеров «Гражданина» он дал известную нам отрицательную характеристику поэмы Некрасова. Поэма эта — «Русские женщины» — была напечатана в январской книжке «Отечественных записок» 1873 года, в которой появился и очерк сатирика «По части женского вопроса». Повидимому, его-то и имел в виду Достоевский, упоминая о прочитанной им «статье Щедрина». Возможно, своим упоминанием автор «Дневника писателя» и редактор «Гражданина» дал понять сатирику, что он заметил в его очерке одно место, на которое при случае ответит. Мы разумеем насмешливое рассуждение Щедрина об опасности, угрожающей романисту в случае, если восторжествуют нигилистки и женщины, вместо того чтобы утешать мужчин «милым обманом» и «чудесным смешением идеального и реального, которого так жаждет душа», займутся адвокатурой или «диспутами о прародителях человека». «Если безделица отойдет на второй план — о чем будут толковать романисты?» — спрашивал Щедрин. И как бы невзначай, он вслед бросил такую реплику: «Что ни говори, как ни притворяйся романист публицистом и гражданином, ему никогда не скрыть, что настоящая болячка его сердца — это все-таки улучшение быта безделицы. Не будет девиц, томящихся под сенью развесистых лип в ожидании кавалеров, не будет дам, изнемогающих в напрасной борьбе с адюльтером, — не будет и романа!»².

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, ГИЗ, 1929, стр. 55.

² Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 289.

Косвенное подтверждение того, что это полемическое замечание относилось именно к нему — автору «Дневника писателя» и редактору «Гражданина», Достоевский мог найти в «Литературных и журнальных заметках» Михайловского, напечатанных в февральской книге «Отечественных записок» 1873 года. В этой статье Михайловский, имея в виду идею народа-«богоносца» в «Бесах», писал, что «смещение бога с богами в смысле цветов и плодов цивилизации и народных особенностей» простительно Шатову, «как человеку, не берущемуся никого поучать», но от Достоевского, утверждавшего в «Дневнике писателя» то же самое, что и его герой, «можно было бы требовать большей отчетливости и меньшей игривости. Он ведь романист, а теперь и публицист, и редактор журнала»¹. Статью Михайловского Достоевский читал, о чем он упоминает в «Смятенном виде», и из нее мог также заключить, что в кругу «Отечественных записок» к его публицистической деятельности и редакторской работе относятся отрицательно. Как мы далее увидим, Достоевский не забыл насмешливого замечания в щедринском очерке «По части женского вопроса», что он и засвидетельствовал шесть лет спустя самым неожиданным образом в «Братьях Карамазовых».

Однако сам по себе этот иронический выпад вовсе не означает, что Щедрин не уделял серьезного внимания публицистике Достоевского. Напротив, он не раз разоблачал ее реакционный характер, причем никогда даже намеком не проговаривался, что имеет в виду «Дневник писателя». Впрочем, такие указания были бы и невозможны без нарушения художественной цельности рассказа. Поясним нашу мысль примерами.

II

В январе 1873 года Достоевский поместил в «Дневнике писателя» статью под названием «Среда», в которой решительно высказался против оправдания присяжными заседателями заведомых, на его взгляд, преступников. Эта «мания оправдания», по мнению Достоевского, отчасти происходила из силлогизма: «Так как общество

¹ Н. К. Михайловский, Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. I, стр. 861.

гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и преступления». Ополчаясь, во имя свободы воли человека, против этой «философии среды», автор «Дневника писателя» доводил последнюю до абсурда в следующем рассуждении: «Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет, — так убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте: «Развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдание от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их, — так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать?»¹

Достоевский допускал, что вынесение оправдательных приговоров вызывалось не только подобными нелепыми рассуждениями, но и чувством жалости, а также сознанием присяжных, что, случись им очутиться в положении подсудимых, они, «может, и хуже бы сделали». Но и такого рода жалость и покаянное настроение не должны были смягчать сердца присяжных. «Нет, напротив; именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так боятся и с которою мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием»². Именно таким безотчетным сознанием своей вины, утверждал Достоевский, и проникнут народ. Он «не отрицает преступление и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его непрерывного покаяния и самосовершенствования»³. Отрицая, что русский народ «особенно склонен к учению о среде» и потому является «наилучшим материалом в Европе для иных пропагаторов», Достоевский во имя «народной правды» призывал присяжных неукоснительно исполнять их гражданский долг. «Не хотел бы я, — писал он, — чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, поло-

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 14.

² Там же.

³ Там же, стр. 16.

вину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче, — легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде»¹.

Слова Достоевского об «иных пропагаторах», распространявших «учение о среде», метили в представителей революционно-демократической мысли, указывавших на то, что преступность в «гадко устроенном обществе» в основном порождается нищетой эксплуатируемых масс; наказание же преступника, как человека, наделенного свыше свободной волей, возлагает на него всю ответственность за те социальные условия, жертвой которых он стал.

Рассуждения Достоевского о преступлении и наказании представлялись сатирику «благонамеренными речами», решительно расходящимися с «народной правдой». По наблюдениям Щедрина, в народе на кару смотрели другими глазами. «...Если человек сам свое прежнее непотребство восчувствовал, — говорит богомолец, отставной солдат Пименыч в «Губернских очерках», — так навряд и палач его столь наказать может, сколько он сам себя изнурит и накажет. Наказание... не спасает, а собственная своя воля спасает...»².

Зато юный товарищ прокурора Батищев в «Благонамеренных речах» (очерк «Переписка»; 1873), самодовольно заявляющий: «Обвинение, так сказать, гнездится в крови моей!» — поет идее наказания восторженный гимн. Сообщая своей матери, провинциальной помещице, что в петербургском окружном суде он произнес уже восемь обвинительных речей, после которых не было вынесено ни одного оправдательного приговора, Батищев далее так объясняет ей, что такое наказание:

«Наказание, милая маменька, не есть что-либо самостоятельное. Это не что иное, как естественное и неизбежное последствие самого преступления — и ничего более.

«Кто мыслит «преступление», тот, в то же время, неизбежно, так сказать, фаталистически, мыслит и «наказание»!

«Таков неумолимый закон логики!

«Не потому должен быть наказан преступник, что

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 17.

² Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. II, стр. 145—146.

этого требует безопасность общества или величие закона, но потому, что об этом вопиет сама злая воля, служащая источником содеянного преступления. Она сама настаивает на необходимости наказания, ибо в противном случае она не совершила бы *всего* естественного круга, который обязывается совершить!»

В заключение характеризуется роль прокурора:

«Он заколает законопреступную волю человеческую и, очистив ее при посредстве наказания, приносит в жертву вечной идее правды и справедливости!»¹

Истинная сущность этой велеречивой тирады обнажается в ответе Батищевой.

Батищева отвечает на «философические рассуждения» своего сына, вкладывая в них содержание, подсказываемое ей кругом повседневных интересов, которыми проникнута помещицья среда.

«Зная твое доброе сердце, — пишет она, — я очень понимаю, как тягостно для тебя должно быть всех обвинять; но если начальство твое желает этого, то что же делать, мой друг! — обвиняй! Неси сей крест с смирением и утешай себя тем, что в мире не одни радости, но и горести!..

«При старости лет моих, я ко многому в жизни делалась равнодушна, но по временам и я не могу не содрогнуться! Много, ах! слишком много злодеяний скрывается в недрах мира сего, особливо же с тех пор, как всем сказана воля. Нигде уж нет ни почтения, ни преданности, а о потравах и о прочем — и говорить нечего. Посему теперь именно такое время настало, когда не оправдывать, а обвинять надлежит, дабы хотя этим постигшую нас волю несколько остепенить. Даже братец Григорий Николаич, который, как ты знаешь, сам этой воли желал, доколе она не пришла, — и тот теперь смирился и говорит: *«je crois que le knout ferait bien mieux leurs affaires!»* (Я уверен, что кнут устроил бы их гораздо лучше!) Я же с своей стороны прибавлю: *et les pôtres!* (и нас также!)»².

Юный представитель прокурорского надзора не оспаривает суждений своей матери, может быть считая их «сходственными с обстоятельствами дела» или же пото-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 99.

² Там же, стр. 100—101.

му, что не дорожит изложенной им мудреной теорией о преступлении и наказании, поскольку он, очевидно, затвердил ее с чужих слов. Если сопоставить вышеприведенную интерпретацию «философии среды» в «Дневнике писателя» с истолкованием Батищевой «философических рассуждений» ее сына, то бросится в глаза тенденциозное искажение истины в публицистической статье Достоевского и соблюдение жизненной правды и художественной меры в сатирическом очерке Щедрина. Но это как раз и сообщает «Переписке» полемическую остроту, ибо в прозаически-деловом ответе помещицы Батищевой на выпренне-возвышенные излияния сына убедительно показано, что призыв о спасении души преступника «строгим наказанием, острогом и каторгой» может найти сочувственный отклик лишь в той среде, которой такие рассуждения дают повод лишний раз заявить: «Теперь именно такое время настало, когда не оправдывать, а обвинять надлежит, дабы хотя этим постигшую нас волю несколько остепенить».

III

В связи с высказываниями Достоевского-публициста обращает на себя внимание и другой эпизод в «Благонмеренных речах». В упоминавшейся статье «Смятенный вид» автор «Дневника писателя», критически оценивая достоверность случая, описанного в «Запечатленном ангеле» Лескова, затронул вопрос о зависимом положении духовенства. В качестве примера Достоевский привел опубликованное в одной газете «смирненное обличение» священником некоего мирового посредника, который воспрепятствовал ему занять должность школьного наставника, выставив при этом такой довод: «Правительство вообще не расположено к тому, чтобы народное образование было в руках духовенства». На вопрос священника: «Почему бы так?» — последовал ответ: «Потому что духовенство проводит суеверие». Такие же препятствия чинили жалобщику и старшина с волостным писарем, ссылаясь на то, что ему учить некогда, «но в душе руководясь другими побуждениями».

Этот факт показался Достоевскому знаменательным. «Тут важно не то, — писал он, — что случился такой по-

средник: что за нужда, что какой-нибудь глупец скажет с ветру глупое слово? И какое нам дело до его убеждений? Тут важно то, что это так откровенно и со властью высказано; с такою сознательною властью, с такою небеспокоящеюся бесцеремонностью. Он высказывает свое премудрое убеждение уже прямо и не обинуясь *в глаза* и, кроме того, имеет дерзость навязывать такие убеждения правительству и говорить *от лица* правительства». «А между тем, — подчеркнул Достоевский в заключение, — помощь духовенства народу никогда еще не была так настоятельно необходима. Мы переживаем самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа»¹.

В ином свете обрисован аналогичный случай Щедриным в очерке «Охранители» (1874). Здесь рассказано, как на «конференции» с исправником Колотовым отставной капитан Терпибедов и отец Арсений келейно исследовали неблагонамеренный образ мыслей местного земского деятеля Парначева, обвиняемого ими в том, что он «каммуны делает, протолириат проповедует, прокламацию распускает». На вопрос исправника, что означают эти криминальные выражения, Терпибедов обидчиво отвечал, что «вредным идеям не обучался-с», и предоставил отцу Арсению, как «достоверному свидетелю», изобличить Парначева в преступных деяниях.

После минутного колебания отец Арсений начал рассказывать, как однажды, придя в дом Парначева и замешкавшись в прихожей, он услышал, что в кабинете хозяина произносились «эти самые слова: протолириат, эмансипация, бюрократия, плутократия... А затем и насчет сыроварения». Хозяин убеждал кого-то устраивать артели и варить сыры, чтобы уплатить недоимки, и на возражения гостя, что с этим никак нельзя согласиться, так как тогда дети останутся без молока, отвечал: «Лучше недоимки очищать, потому что своевременная уплата повинностей есть первый признак человека, созревшего для свободы». Тут по неосторожности постороннего слушателя разговор внезапно прервался. «Только что, значит, он это слово «свобода» выговорил, ан, как на грех, подо

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 58—59.

мною половица и скрипнула. Сейчас это Валериан Павлыч потихоньку-потихоньку, на цыпочках, на цыпочках — и прямо к двери. И так это у них скоро сделалось, что я даже потрафить не успел». Отец Арсений долго не мог прийти в себя от неожиданности, когда после поспешного ухода гостя он остался наедине с Парначевым. И вдруг его осенила спасительная мысль обратиться к хозяину с увещанием, в надежде, что тот, быть может, раскается. С этой мыслью он сразу обрел дар речи:

«И стал я ему говорить: — Не для забавы, Валериан Павлыч, и не для празднословия пришел я к вам, а по душевному делу! — Слушаю-с, говорит. — Грех, говорю, великий грех вы соделываете! — Любопытно, говорит. — Любопытного, говорю, в грехе мало, а слез достойного много! — Забавно! — Нынче забавно, говорю, а завтра и горько показаться может! Спрошу вас: зачем вы малых сих в соблазн вводите?! — Тут уж он, знаете, и смеяться перестал. — А вы, говорит, уверены в этом? — Не только, говорю, уверен, но даже достоверных свидетелей представить могу. — Так извольте, говорит, сейчас из моего дома вон! Я, говорит, к вам не хожу и вас к себе подслушивать не прошу»¹.

Вскоре после этой беседы, по свидетельству отца Арсения, над ним стряслась беда: его уволили из школы. Произошло это по проискам Парначева, который доложил земскому собранию, что он «крестьянских мальчиков естеству вещей не обучал, а обучал якобы пустякам». Таковое же обвинение может исходить только от человека, который «весь яд» распространяет в округе, а «главнейшее же, путям провидения не покоряется, — пояснил отец Арсений, — дождь, например, не от бога, а от облаков... да облака-то откуда?» Исправник оставил этот вопрос без разъяснения и в свою очередь спросил: «А вы, батюшка, имели разговор с господином Парначевым об этом предмете?» На что последовал такой ответ:

«— Прямого разговору собственно с ними не было, а от крестьян довольно-таки наслышан. У здешних крестьян, позвольте вам доложить, издавна такой обычай: ненастье ли продолжительное, засуха ли — лекарство у них на этот счет одно: молебствие. И завсегда они согла-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 89.

шались на это с готовностью, нынче же строптивость выказали. Прошлую весну совсем было здесь нас залило, ну я, признаться, сам даже предложил: не помолобствовать ли, друзья? А они в ответ: дождь-то ведь от облаков; облака, что ли, ты заговаривать станешь? От кого, смею спросить, они столь неистовыми мыслями заимствоваться могли?»¹

Тут рассказчик на время прерывает повествование, для того чтобы осмыслить сущность «самой неудобной минуты» в злободневной действительности, как она предстала ему, автору «Благонамеренных речей», присутствовавшему в качестве наблюдателя на своеобразной «конференции».

«Я слушал этот обвинительный акт, — писал Щедрин, — и, признаюсь откровенно, слушал не без страха. Я спрашивал себя не о том, какие последствия для Парначева может иметь эта галиматья, — для меня было вполне ясно, что о последствиях тут не может быть и речи, — но о том, можно ли жить в подобной обстановке, среди столь необыкновенных разговоров? Ведь пошлость не всегда ограничивается одним тем, что оскорбляет здравый человеческий смысл; в большинстве случаев она вызывает, кроме того, и очень резкие поползновения к прозелитизму. Не она покоряется убеждениям разума, но требует, чтоб разум покорился ее убеждениям. Столкновение приходит не вдруг, но что оно, несомненно, придет — в этом служит ручательством тот громадный запас досужества, который всегда находится в распоряжении пошлости. Подумайте, сколько варварского трагизма скрыто в этой предстоящей коллизии!

На стороне пошлости — привычка, боязнь неизвестности, отсутствие знания, недостаток отваги... Всякое явление она обозначает своими приметами, всякому факту находит готовое, полуэмпирическое, полумистическое, толкование. Как сложились эти приметы и толкования — этого она, конечно, не объяснит, да ей и не нужно объяснений, ибо необъяснимость не только не подрывает ее кодекса, но даже еще больше удостоверяет в его непреложности... И вот наступает момент, когда она приступает уже действительно и, не стесняясь формальностями, прямо объявляет свою сентенцию. Вы не верите приме-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 86.

там — вы безбожник; вы не раболепствуете — вы насаждитель революционных идей, возмутитель, ниспровергатель авторитетов; вы относитесь критически к известным общественным явлениям — вы развратник, ищущий разрушить общественные основы...

Спрашиваю вновь: как жить и не погибнуть в подобной обстановке, среди вечного жужжания глупых речей, не имея ничего перед глазами, кроме зрелища глупых дел?»¹

На эту обобщенную характеристику «положения минуты» — характеристику, которой сатирик стремился дать «точное определение существа современных явлений», Достоевский отозвался следующей полемической заметкой в записной тетради:

«Тема сатир Щедрина — это спрятавшийся где-то квартальный, который его подслушивает и на него доносит; а г-ну Щедрину от этого жить нельзя».

Среди других набросков из записной книжки эта заметка была в 1883 году опубликована в первом томе Полного собрания сочинений Достоевского и таким образом стала известна Щедрину. В разговоре с Г. И. Успенским он к слову привел ее и дополнил разъяснением, ставившим вопрос на принципиальную, широкую основу, а именно в том значении, в каком сатирик раскрыл его сущность в очерке «Охранители». Он сказал своему собеседнику: «Вот Достоевский написал про меня, что, когда я пишу, — квартального опасаясь. Это правда, только добавить нужно: опасаясь квартального, который во всех людях российских засел внутри, этого я опасаясь»². Острота горечи, заключенной в приведенных словах, станет для нас ощутимее, если мы вспомним, что они были произнесены Щедриным в восьмидесятые годы, когда, по его предсказанию в «Охранителях», общественная реакция, «уже действительно и не стесняясь формальностями, прямо объявляла свою сентенцию» Правде устами «торжествующей свиньи», «изменнически-подло» допрашивавшей ее. «Варварский трагизм», до времени «скрытый в этой предстоящей коллизии», сделался фактом повседневной жизни того меньшинства, которое сохранило верность заветам шестидесятников, «преданиям» «Современника».

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 86—87.

² «Голос минувшего», 1913, № 2, стр. 235.

«Благонамеренные речи» еще раз привлекли внимание Достоевского в 1876 году. Январский выпуск «Дневника писателя» за этот год он начал с предисловия, в котором коснулся вопроса об участвовавших самоубийствах в среде молодежи, причем отметил, что юноши кончают с собой по двум мотивам. Одни лишают себя жизни вследствие убеждения, что «из них ничего не выйдет». В таком случае «хоть что-нибудь да понятно: «для чего-де и жить, как не для гордости?» А другой посмотрит, походит и застрелится молча, единственно из-за того, что у него нет денег, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство». И тут же Достоевский сослался на чьи-то высказывания по этому поводу. «Уверяют печатно, — писал он, — что это у них оттого, что они много думают. «Думает-думает про себя, да вдруг где-нибудь и вынырнет, и именно там, где наметил». Я убежден, напротив, что он вовсе ничего не думает, что он решительно не в силах составить понятие, до дикости неразвит и если чего захочет, то утробно, а не сознательно; просто полное свинство, и вовсе тут нет ничего либерального»¹.

Цитата, включенная в эту полемическую тираду, является перифразой одного высказывания Щедрина совсем по другому вопросу и потому вклинивается в рассуждение Достоевского инородным элементом. В самом деле, как можно фактам самоубийства подыскать такое объяснение, что человек, решивший покончить счеты с жизнью, ставит себе целью «вынырнуть», и «именно там, где наметил»? У внимательного читателя статьи Достоевского это место могло вызвать только недоумение, если он не знал, с каким «печатным уверением» полемизирует автор. Между тем Достоевский в данном случае имел в виду тех читателей, которые следили за литературной деятельностью Щедрина и успели ознакомиться с его очерком «Непочтительный Коронат», напечатанным, под рубрикой «Благонамеренные речи», в ноябрьской книге «Отечественных записок» 1875 года². В этом очерке Щед-

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 145.

² «Непочтительного Короната» Щедрин писал летом 1875 года, за границей. Тогда же он выступил в «вольной русской печати» с едким разоблачением правительственных инсинуаций, направленных против революционеров-семидесятников. Этот блестящий памфлет, облечен-

рин, поскольку позволяли ему цензурные условия, попытался возможно определеннее высказать свое глубокое сочувствие революционно настроенной молодежи, ведшей самоотверженную борьбу с самодержавием. Касаясь этой запретной темы, он писал:

«Меня всегда пугала та стремительность, с которою нынешние молодые люди принимают самые радикальные решения и приводят их в исполнение. Придет молодой человек (родственники у меня между *ними* есть), скажет: прощайте! я завтра за границу удираю... совсем! Думаешь, что он шутку шутит, — ан, смотришь, и действительно завтра его след простыл! Или скажет: прощайте! я на днях туда нырну, откуда одна дорога: в то место, где Макар телят не гонял! Опять думаешь, что он пошутит, — не тут-то было! Сказал, что нырну, и нырнул, а через несколько месяцев, слышу, вынырнул, и именно в том месте, где Макар телят не гонял. Словом, исполнил в точности: стремительно, быстро, без колебаний. Я сначала полагал, что это у них *так* делается: ни с того ни с сего, взял да и удрал или нырнул; но потом убедился, что в них это мало-помалу накапливается. Мы, старцы сороковых годов, видим, как они молчат (при нас они действительно молчат, словно им и говорить с нами не о чем), и посмеиваемся: вот, мол, шалопаи! чай, женский вопрос с точки зрения Фонарного переулка разрешают! А они совсем не о том: у них, просто, в это время накапливается. Накопится, назреет, и вдруг бац! — удеру, нырну, исчезну... И как скажет, так и сделает»¹.

Против этого рассуждения Щедрина ополчился Достоевский в вышеприведенной тираде о самоубийцах, полемически используя отдельные выражения и мысли цитированного отрывка из «Непочтительного Короната». Такая догадка подтверждается и впервые публикуемыми здесь черновыми заметками к «Дневнику писателя» за 1876 год:

«Непочтительный Коронат. Весь комизм мальчиш-

ный в форму сатирического «Письма к графу Д. А. Толстому», министру просвещения, был опубликован без подписи Щедрина в газете «Вперед!», которая издавалась П. Л. Лавровым в Лондоне. В «Непочтительном Коронате» Щедрин мог только намеками выразить свое сочувствие революционной молодежи, и поэтому его возмущили купюры, сделанные в тексте рассказа цензором Лебедевым. «Этот Лебедев, должно быть, глубокий мерзавец», — писал он Некрасову.

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XI, стр. 385—386.

ки, командующему дяде. *Ложь*. Подлизывание к юношеству позор»¹.

Этой теме посвящены и следующие записи:

«— Коронат — да не клевета ли это на молодых людей? Неужели они до такой степени грубы, глупы и тупы?»²

«— Непочтительный Коронат. Плотоядность молодежи. Да ведь вы сами того хотели, чтоб никакого духа, вы истребили бога.

— Но и без бога надо быть гуманным, любить человечество.

— Но на кой черт я буду гуманен. Я хочу, чтоб весело, весело, весело и резать и резать, чтоб есть слабого сильным»³.

И, наконец, запись, удостоверяющая в том, что Достоевский намеревался высказаться в своем «Дневнике» о шедринском очерке:

«Конспект номера. — Непочтительный Коронат (особенно Головлята)»⁴.

Эти заметки определяют, как оценивал автор «Дневника писателя» горячее сочувствие Щедрина передовым людям молодого поколения, выраженное в вышеприведенной характеристике их революционной самоотверженности во имя интересов народа и отчасти в образе Короната. Такое сочувствие представляется Достоевскому в самом превратном свете. С другой стороны, он ставит Щедрина в вину «плотоядность молодежи», заклеявленную сатириком в лице Нонночки, сестры Короната, и в сыновьях Иудушки, «Головлятах». По мысли Достоевского, в этой «плотоядности» — отталкивающей чувственности и непомерном себялюбии — повинен атеизм, прививаемый юношеству общественным лагерем, к которому принадлежит Щедрин. Безрелигиозность и гуманность несовместимы, утверждает Достоевский, и мы еще увидим, как мысль, приписываемая здесь Щедрина: «и без бога надо быть гуманным, любить человечество», будет полемически направлена против него и в «Братьях Карамазовых». В общих же чертах умонастроение Достоевского

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 15, стр. 15.

² Там же, стр. 39.

³ Там же, стр. 17.

⁴ Там же, стр. 22.

в семидесятые годы характеризуется следующей неопубликованной заметкой из его записной книжки:

«Мы видим омерзительно застаревшихся либералишек (Оресты Миллеры), изнашивших свою чужую идейку, почти жалеющих, что состоялось освобождение крестьян и проч. Мы знаем и таких, в которых надвигающиеся тучи социализма и успехи будущей Коммуны (в Европе) породили бы в России голоштаные попытки и страшное право на бесчестие»¹.

Последние слова, внушенные ненавистью к социализму и революции и страхом перед грядущим крушением царского абсолютизма в России, конкретизируют одну недосказанную мысль в «Подростке». В заключении к этому роману Достоевский писал: «Уже не сор приростает к высшему слою людей, а, напротив, от красивого типа отрываются, с веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядкующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники бывших культурных семейств смеются уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы верить их дети. Мало того, с увлечением не скрывают от детей своих свою алчную радость о внезапном праве на бесчестие, которое они вдруг из чего-то вывели целою массой»².

Каких «отцов» имел в виду Достоевский, выясняется из «Дневника писателя» за 1876 год, где он полемизировал с сатириком, как одним из людей сороковых годов, которые «смеются уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы верить их дети».

Такая скрытая полемика содержится во второй главе январского выпуска «Дневника писателя», в которой Достоевский рассказал о своем посещении колонии малолетних преступников. Наряду с другими вопросами его заинтересовало и то, что читают эти дети, и ему показали их библиотеку — «шкаф, в котором есть Тургенев, Островский, Лермонтов, Пушкин и т. д.» В данной связи Достоевский замечает, что, вообще говоря, очень трудно решить, какие именно книги следует «принять к чтению таким детям», и тут же неожиданно добавляет: «Что же до писателей-обличителей и сатириков, то такие ли впечатления духовные нужны этим бедным детям, видевшим и без

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 12, стр. 10.

² Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. VIII, стр. 475.

того столько грязи? Может быть, этим маленьким людям вовсе не хочется над людьми смеяться. Может быть, эти покрытые мраком души с радостью и умилением открылись бы самым наивным, самым первоначально-просто-душным впечатлениям...»¹

Этот внезапный и как будто беспричинный выпад дополняется другим рассуждением Достоевского на тему о семье и воспитании молодежи в декабрьском номере «Дневника» 1876 года. Мы уже видели, что и после окончания работы над «Подростком» тема «отцов и детей» продолжает его занимать в такой мере, что он ставит ее как программную в предисловии к первому же выпуску своего «Дневника» за 1876 год. Затрагивая этот живо-трепещущий вопрос, он полемически обращается к «Благонамеренным речам», где сатирик показал картину разрушения семьи в крепостнически-буржуазном обществе со всей беспощадностью, присущей его «разоблачению краеугольных камней» от всяких идиллических покровов и условной лжи, а также «возвышающего нас обмана». Наряду с отрицательными типами «отцов» и «детей» Щедрин беглыми, но выразительными штрихами очертил симпатичный духовный облик Короната, которого Достоевский в вышеприведенной записи охарактеризовал с яростным ожесточением, словно вымещал на нем свое негодование против его создателя. Как мы теперь знаем, такое негодование Щедрин вызвал своим горячим одобрением лучшей части молодого поколения, не останавливавшейся перед самопожертвованием в борьбе с царизмом за кровные интересы народа. Это-то проявление самоотвержения Достоевский и приравнял к самоубийству человека, который решил лишить себя жизни потому, что ему захотелось того «утробно, а не сознательно», ибо он не подозревает даже, что является «существом бессмертным», не ощущает никакой связи «с бесконечностью бытия» и не способен поставить перед собой «Гамлетовского вопроса:

Но страх, что будет там...»

К этому вопросу Достоевский вернулся в последнем, декабрьском, выпуске «Дневника писателя» за 1876 год, и характерно, что и тут он прикровенно полемизирует с

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 164.

Щедриным, быть может имея в виду и его сатирическую характеристику «Записок из подполья», как «Записок о бессмертии души». В первой главе декабрьского «Дневника», как мы отметили раньше, проводится мысль о том, что «совершенное неверие в свою душу и в ее бессмертие», проникшее в русское интеллигентное семейство, «уж почти что разрушило его». Индифферентизм к «идее о бессмертии души человеческой», по убеждению Достоевского, в конечном счете, прямо или косвенно, является причиной угрожающе возросшего числа самоубийств среди интеллигентной молодежи. Последняя «страдает и тоскует... от отсутствия высших целей в жизни», которые проистекают из единственного источника — «высшей идеи на земле» — «идеи о бессмертии души человеческой». Сказав затем, что об этой идее в интеллигентных семьях «не только вовсе не думают, но даже слишком нередко относятся к ней сатирически, и это при детях, с самого их детства», Достоевский далее, не называя Щедрина, говорит именно о нем:

«Да семейства у нас вовсе нет», — заметил мне недавно, возражая мне, один из наших талантливейших писателей. Что же, это ведь отчасти и правда: при нашем всеобщем индифферентизме к высшим целям жизни, конечно, может быть, уже и распаталась наша семья в известных слоях нации. Ясно, по крайней мере, до наглядности то, что наше юное поколение обречено само отыскивать себе идеалы и высший смысл жизни... От наших умных людей и вообще от руководителей своих она может заимствовать в наше время, повторяю это, скорее лишь взгляд сатирический, но уже ничего *положительного* — то есть во что верить, что уважать, обожать, к чему стремиться, — а все это так нужно, так необходимо молодежи, всего этого она жаждет и жаждала всегда, во все века и везде!»¹.

От этих рассуждений Достоевский переходит к злобе дня — революционной демонстрации в Петербурге, на которой выступил с речью молодой Плеханов. И тут, в своем обращении к «отцам», он опять-таки имеет в виду Щедрина и его большое влияние на молодое поколение.

«Молодежь шестого декабря..., — пишет Достоевский,

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 490—491. (Курсив Достоевского.)

повторяя оценку, которую дал демонстрации катковский орган, — без сомнения, лишь «настаганное стадо» в руках каких-то хитрых мошенников, судя, по крайней мере, *по фактам*, указанным «Московскими ведомостями»... Без сомнения, тут дурь, злостная и безнравственная, обезьянья подражательность с чужого голоса, но все же их могли собрать, лишь уверив, что они собраны во имя чего-то высшего и прекрасного, во имя какого-то удивительного самопожертвования для величайших целей... Что же, кто виноват теперь, что их идеал так уродлив? Уж, конечно, и сами они, но ведь и не одни они. О, без сомнения, даже и теперешняя окружающая их действительность могла бы спасти их от их уродливой оторванности от всего насущного и реального, от их грубейшего непонимания самых простых вещей; но в том-то и дело, что наступили, значит, такие сроки, что оторванность от почвы и от народной правды в нашем юнейшем поколении должна уже удивить и ужаснуть даже самих «отцов» их, столь давно уже от всего русского оторвавшихся и доживающих свой век в блаженном спокойствии высших критиков земли русской»¹.

Эта трактовка темы «отцов и детей» сходна с той, которая раньше была проведена в «Бесах», причем видное место уделено здесь полемике против Щедрина. «Один из наших талантливейших писателей», утверждающий, что «семейства у нас вовсе нет», это — автор «Благонамеренных речей». Его же имеет в виду Достоевский, говоря о «наших умных людях», у которых молодежь может заимствовать лишь «взгляд сатирический, но уже ничего *положительного*». И, наконец, повидимому, он же саркастически причислен к «доживающим свой век в блаженном спокойствии высшим критикам земли русской». Такая характеристика позволяет предположить, что и заявление Достоевского в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год: «считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокоиваться», полемически направлено главным образом тоже против Щедрина.

В черновой тетради «Дневника» за 1876 год к теме «отцов и детей» относятся следующие записи:

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 491. (Курсив Достоевского.)

«У нас нет семьи» — вспомнились мне слова одного из наших талантливейших сатириков, сказавшего мне это»¹.

И в другом месте:

«— *Нет семьи!* — говорит Шедрин»².

Неизданные материалы удостоверяют и в том, что для цитированного выпуска «Дневника» Достоевский намеревался написать статью о сатире. 13 декабря 1876 года он набрасывает «Программу Декабрьского дневника», в которой вторым пунктом обозначено:

«Сатира. Чацкий, Ревизор — Алеко — Шедрин»³.

Ход мыслей Достоевского на эту тему обрисовывается в следующих записях:

«В *Горе от ума* увлек блеск, сатира на Москву, а глубины никакой»⁴.

О Чацком:

«На грош амуниции, да на рубль амбиции = Чацкий»⁵.

Любопытно, что в другой раз, давая отрицательную характеристику герою грибоедовской комедии, Достоевский подкрепляет ее цитатой из Шедрина. Мы имеем в виду одно место в июльско-августовском «Дневнике писателя» за 1876 год. Достоевский говорит там о Чацком, что «сам-то он и был в высшей степени необразованным москвичом, всю жизнь свою только кричавшим об европейском образовании с чужого голоса, так что даже завещания не сумел написать, как оказалось впоследствии, а оставил имение неизвестному лицу, «другу моему Сонечке»⁶. Позднейшие читатели (и историки литературы) могли только недоумевать по поводу этого неведомого им казуса в биографии Чацкого... Но современники, конечно, знали, что Достоевский тут сослался на свидетельство щедринского Молчалина, который заключил свой рассказ о счастливом супружестве Чацкого с дочерью Фамусова Софьей Павловной таким неожиданным сообщением:

«Всю жизнь он мучился, как бы Софья Павловна, по смерти его, на бобах не осталась, — ну, и распорядился так: все имение ей в пожизненное владение отдал, а уж

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 16, стр. 170.

² Там же, стр. 90.

³ Там же, стр. 162.

⁴ Там же, стр. 166.

⁵ Там же, стр. 274.

⁶ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 373.

по ее смерти оно должно в его род поступить, то есть к Антону Антонычу (Загорецкому. — С. Б.). Только вот в чем беда: сам-то он законов не знал, да и с адвокатами не посоветовался. Ну, и написал он в завещании-то: «а имение мое родовое предоставляю другу моему Сонечке по смерти ее»... Теперь Загорецкий-то и спрашивает: какой такой «мой друг Сонечка»?»¹

Своеобразно мотивирует Достоевский отнесение им к области сатиры образа пушкинского Алеко. Он пишет: «Алеко — убил. Сознание, что он сам не достоин своего идеала, который мучает его душу. Вот преступление и наказание. (Вот сатира!)»²

Эта мысль получает развитие в другой заметке:

«Алеко. Разумеется, это не сатира, а трагедия. Но разве в сатире не должно быть трагизма? Напротив, в подкладке сатиры всегда должна быть трагедия. Трагедия и сатира две сестры и идут рядом, и имя им обоем, вместе взятым: *правда*»³.

Следующие записи посвящены гоголевской и современной сатире. О творце «Ревизора» Достоевский говорит:

«О, и Гоголь думал, что понятия зависят от людей (кара грядущего закона), но с самого появления Ревизора, всем хотя и смутно, но как-то сказалось, что беда тут не от людей, не от единиц, что добродетельный городничий вместо Сквозника ничего не изменит. Мало того, и не может быть добродетельного Сквозника»⁴.

Общая оценка Гоголя заключена в такой характеристике его юмора:

«Гоголь по силе и глубине смеха *первый в мире* (не исключая Мольера) (непосредственного, безотчетного) и это бы надо нам, русским, заметить»⁵.

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XII, стр. 321—322.

² ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 16, стр. 162.

³ Там же, стр. 164. Заметка кончается следующими словами: «Вот это бы и взял Островский, но силы таланта не имел, холоден, растянут (повести в ролях) и недостаточно весел, или лучше сказать комичен, смехом не владеет.

Островскому форма не далась. Островский хоть и огромное явление, но сравнительно с Гоголем это явление довольно маленькое, хотя и сказал *новое слово*: реализм, правда и не совсем побоялся положительной подкладки».

⁴ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 16, стр. 166.

⁵ Там же, стр. 164.

Но столь высокая оценка сопровождается следующим критическим замечанием:

«Наши сатирики не имеют положительного идеала в подкладке. Идеал Гоголя странен; в подкладке его христианство, но христианство его не есть христианство. Сатира последнего времени не свободна, бояться красных»¹.

Эта тема варьируется в ряде черновых заметок, которые дополняют суждение Достоевского о «русской сатире», высказанное им в январском «Дневнике» за 1877 год. Там он писал:

«Сатира наша как ни блестяща, она, действительно, страдает некоторой неопределенностью — вот что разве можно про нее сказать. Положительно нельзя иногда представить в целом, в общем: что именно хочется сказать нашей сатире? Так и кажется, что у ней у самой нет никакой подкладки; но может ли это быть?»².

В черновых заметках Достоевский формулирует свою мысль определеннее и резче:

«— Новейшая сатира тем бесплодна, двусмысленна и даже вредна, что не умеет или не хочет сказать, чего хочет. Напротив, над всем противоположным обличаемому ею злу тоже смеется и приравнивает к тому же знаменателю. К чему она так делает? *Бойтся краснее себя*»³.

Затем проводится такая параллель:

«— Превняя сатира не могла и не умела указать своего положительного идеала, а новейшая хоть и не умеет тоже, но и *не хочет*. Напротив, если б умела и могла, то была бы несчастна»⁴.

Из всего сказанного им Достоевский делает следующий вывод:

«А потому сатира наша оставляет одно лишь недоумение и еще способствует даже шатанию мысли, а не то что утверждает ее. Обязана пахнуть своей подкладкой»⁵.

Из цитированной программы декабрьского «Дневника писателя» за 1876 год видно, что высказывания Достоевского о современной сатире относились к Щедрину. Упоминание его имени встречаем и в черновой рукописи сен-

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 16, стр. 162.

² Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1877, 1880 и 1881 годы, ГИЗ, 1929 (Полн. собр. соч., т. XII, стр. 28).

³ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 16, стр. 162.

⁴ Там же, стр. 164.

⁵ Там же, стр. 172.

тябрьского «Дневника» за этот год. Здесь Достоевский полемизировал с внутренним обозревателем «Вестника Европы» по славянскому вопросу. В частности, он возражал против утверждения, что русское общество склонно преждевременно выдавать себе «аттестат зрелости» каждый раз, когда оно проявляет некоторую самостоятельность, после чего, не dokonчив начатого дела, снова погружается в состояние апатии. В такой недооценке сильного общественного возбуждения, вызванного горячим желанием помочь славянам освободиться из турецкой неволи, Достоевский усматривал опасный симптом. За последние десятилетия после отмены крепостного права, писал он, «в недоверии к себе мы доходили... до болезненных крайностей, до непозволительной насмешки над собою, до незаслуженного презрения к себе и уж слишком, слишком далеки были от самоупоения нашими совершенствами»¹. В черновой рукописи эта мысль расшифровывается таким указанием: «Щедрин. Сатирический взгляд на себя. Напротив, у нас этого слишком много (т. е. недоверчивости к себе), а не аттестат зрелости»².

Иначе отнесся к статье внутреннего обозревателя «Вестника Европы» Щедрин. В октябре 1876 года он писал Некрасову: «Славянский вопрос здесь все еще на первом плане, хотя уже замечаются некоторые признаки реакции — в литературе. Мне кажется, что «Вестник Европы» поставил вопрос довольно верно... Мое личное мнение, что вопрос этот для России не полезен. Под шумок его издан, например, закон, разрешающий губернаторам издавать обязательные постановления или, попросту говоря, законы же. Это невероятно, но это правда. Когда я представлял в «Истории одного города» градоначальника, который любил писать законы, то и сам не ожидал, что это так скоро осуществится. Вообще делается почти странным жить на свете»³. В другом письме, обращая на этот факт внимание П. В. Анненкова, Щедрин следующим образом резюмировал свое суждение о нем: «Так-то жизнь иногда идет на перебой самой невероятной сатире»⁴.

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 411.

² Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, 1, 3, стр. 141.

³ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIX, стр. 78.

⁴ Там же, стр. 80.

Интересно, что эта тема об отношении искусства к действительности послужила также предметом беседы между Щедриным и Достоевским при их встрече осенью 1876 года. Об этой беседе Достоевский, не называя Щедрина, рассказал в октябрьском «Дневнике» того же года следующее:

«Недавно как-то мне случилось говорить с одним из наших писателей (большим художником) о комизме в жизни, о трудности определить явление, назвать его настоящим словом. Я именно заметил ему перед этим, что я, чуть не сорок лет знающий «Горе от ума», только в этом году понял как следует один из самых ярких типов этой комедии, Молчалина, и понял именно, когда он же, то есть этот самый писатель, с которым я говорил, разъяснил мне Молчалина, вдруг выведя его в одном из своих сатирических очерков. (Об Молчалине я еще когда-нибудь поговорю, тема знатная.)»

За этим признанием второго рождения классического образа грибоедовской комедии в «Господах Молчалиных» Щедрина следует окончание рассказа:

«— А знаете ли вы, — вдруг сказал мне мой собеседник, видимо давно уже и глубоко пораженный своей идеей, — знаете ли, что, что бы вы ни написали, что бы вы ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведении, — никогда вы не сравняетесь с действительностью. Что бы вы ни изобразили — все выйдет слабее, чем в действительности. Вы вот думаете, что достигли в произведении самого комического в известном явлении жизни, поймали самую уродливую его сторону, — ничуть! Действительность тотчас же представит вам в этом же роде такой фазис, какой вы еще и не предполагали, и превышающий все, что могло создать ваше собственное наблюдение и воображение!..»

По этому поводу Достоевский замечает:

«Это я знал еще с 46-го года, когда начал писать, а может быть и раньше, — и факт этот не раз поражал меня и ставил меня в недоумение о полезности искусства при таком видимом его бессилии. Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: *на чей глаз и кто в силах?* Ведь не только чтоб создавать и писать

художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника»¹.

Этим рассказом Достоевский засвидетельствовал, что он очень высоко оценивает прозорливость «сатирического взгляда» Щедрина и силу его творческой способности воплощать в типических образах жизненные явления. Однако тема, затронутая в данной связи сатириком, — о бессилии художника сравняться с действительностью в изображении ее смешных и уродливых сторон, — выходила за пределы чисто эстетической проблемы, ибо на первый план тут выдвигался вопрос: какова же эта социальная действительность, которая «идет на перебой самой невероятной сатире»?

Образ состарившегося Молчалина, созданный Щедриным, поразил Достоевского потому, что в его изображении сатирическое начало сочеталось с трагическим. Но именно вследствие того, что оба писателя так зорко улавливали трагические черты в обыденных, примелькавшихся явлениях текущей жизни, резкое различие во взглядах на причины страдания людей и пути, ведущие к «очеловечению человечества», с особенной силой обостряло их идейную борьбу.

Выше мы привели критические замечания Достоевского о «русской сатире» в январском «Дневнике писателя» за 1877 год и установили, что в черновых набросках эти замечания, резче сформулированные, были направлены против сатиры Щедрина. К ней возвращается Достоевский и в следующих выпусках «Дневника», развивая полемический мотив, выраженный в его отрывочной записи о «сатирическом взгляде на себя»,

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 422. В черновой тетради «Дневника» к этой беседе относится следующая запись:

«Никогда фантазия не может выдержать сравнения с действительностью. *Щедрин*. Это я знал». (ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 16, стр. 124.) К этой теме относится также заметка:

«В поэзии нужна страсть, нужна *ваша идея* и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличное же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное — ничего и не значит. Такая художественность нелепа: простой, но чуть-чуть наблюдательный взгляд гораздо более заметит в действительности» (ЦГЛА. Фонд Достоевского, опись 1, № 16, стр. 167).

И в другом месте:

«Реалисты неверны, ибо человек есть целое лишь в будущем, а вовсе не исчерпывается весь настоящим» (Там же, стр. 277).

то есть обличительном характере щедринского творчества. В таком плане он цитировал «Современную идиллию» в мартовском «Дневнике». В первой главе этого цикла описано, как рассказчик и его друг Глумов, следуя совету Молчалина «погодить», бесцельно бродят по Петербургу и тем самым публично демонстрируют свой новый, благонамеренный образ жизни. Чтобы скоротать время, друзья ведут приличествующую солидным людям беседу о встречающихся на пути достопримечательностях столицы, пока не доходят до Милютиных лавок. Тут они невольно останавливаются перед заманчивой витриной, хотя программа бесцельного шатания по петербургским улицам, заранее детально выработанная, еще не выполнена. Рассказчик сознается, что его решимость до конца осуществить план, обязывавший «провести время хотя бесполезно, но в то же время, по возможности, серьезно», на минуту была поколеблена. «И как меня вдруг потянуло туда, в задние низенькие комнаты,— говорит он,— в эту провонялую, сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны, на всем пространстве которых, без всякого сомнения, ни одного непропленного места невозможно найти! Прийти туда, лечь с ногами на диван, окружить себя устрицами, пить шабли и в этом положении «годить»!»¹

Два слова из этого отрывка Достоевский включил в такой контекст, который совершенно неожиданно придал им одиозный характер. Приписав одного своего корреспондента за то, что он «отнесся к бедному русскому народу несколько слишком уж свысока», автор «Дневника писателя», по какому-то немотивированному сцеплению идей, связал с ним сатирика следующим замечанием: «Правда, в России и от русских-то не осталось ни одного непропленного места (словечко Щедрина)»...² Poleмическая подоплека такого истолкования щедринского «словечка» раскрывается в дальнейших публицистических выступлениях Достоевского. В апрельском «Дневнике» за 1877 год, опубликованном после издания манифеста о войне с Турцией, он обрушивается на безыменных «мудрецов», которые «свистят на несогласных с ними» и готовы поднять «опять вакханалию самооплевания, по-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XV, стр. 49.

² Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1877, 1880 и 1881 годы, стр. 78.

щечин и самодразнения...» Дальше «мудрецы» эти именуются «общечеловеками» и «самооплевниками»; в сентябрьском же «Дневнике» «самооплевание» Достоевский приписывает «умникам-обличителям», которые «после Севастополя» вообразили себя спасителями России, а через двадцать лет, обратившись в «умных старичков», продолжают быть уверенными в том, что «они-то и есть самые новые и молодые люди и что говорят самые новые слова!»

Как видим, Достоевский подхватил «словечко Щедрина», чтобы резче подчеркнуть, против какого общественного лагеря направлены его полемические высказывания; насмешливое же замечание об «умных старичках», которые воображают себя молодыми людьми, может быть, метило лично в сатирика, напечатавшего перед этим статью «Отрезанный ломоть» за подписью «Молодой человек». Как бы то ни было, полемика Достоевского обращена против его сверстников, людей сороковых годов, которые через двадцать с лишним лет после Крымской войны, в обстановке надвинувшейся новой Восточной кампании, продолжали пессимистически оценивать внутреннее положение России и отрицательно относиться к внешней политике правительства. Из этих сверстников, действовавших на литературном поприще, Достоевский мог иметь в виду главным образом Щедрина, поскольку в ряде его произведений 1876—1877 годов («Тяжелый год», «День прошел — и слава богу!», «Тряпичкины-очевидцы», «На досуге») с совершенной определенностью обрисовался критический взгляд на тогдашнюю «злобу дня».

И действительно, уже в 1876 году, после напечатания Щедриным очерка «Тяжелый год», посвященного воспоминаниям о Крымской войне, Достоевский заговорил по адресу сатирика в том резком тоне, который еще больше обострился в его последующих, вышецитированных высказываниях. Как мы раньше установили по рукописи сентябрьского «Дневника» за 1876 год, Достоевский, полемизируя там с внутренним обозревателем «Вестника Европы» по Восточному вопросу, обнаружил в его аргументации отражение «сатирического взгляда» Щедрина. В печатном тексте имя сатирика не было названо, между тем как раз к нему относился «Post-scriptum» статьи. Закljučая свой спор с оппонентом из либерального ла-

геря, Достоевский писал, что в скептических, но «весьма невинных словах» последнего ему послышались «будущие и возможные голоса», которые «не имеют ничего общего с голосом из «Вестника Европы» — «насмешливые, язвительные, победу празднующие!» Такие голоса перейдут в торжествующий крик, если добровольческое движение постигнет неудача: «Раздастся хохот в глаза этому благородному порыву... И сколько опять, сразу, увидим цинизма, сколько опять неверия в свои силы, неверия в самую Россию»¹.

Вскоре после опубликования этих строк творчество Щедрина подверглось суровому осуждению с других позиций и по иному поводу. В октябрьской книге журнала «Дело», преемника радикального «Русского слова», появилась статья «Горький смех — нелегкий смех», автор которой, Шелгунов, отзываясь на «Благонамеренные речи», охарактеризовал щедринскую сатиру в том же духе, как некогда Писарев. Указав, что писаревская оценка и через двенадцать лет «сохранила всю свежесть правды», Шелгунов в «Благонамеренных речах» усмотрел «смех для смеха», а о сатире писал, что он, «взявшись лепить фигурку, уже заранее ее ненавидит. Он лепит и бьет ее по щекам, бьет и хохочет, хохочет холодно, злорадно, точно сам радуется своей собственной злости»². Таким образом, критик «Дела» охарактеризовал автора «Благонамеренных речей» в тех же выражениях, что и Достоевский, который писал о «хохоте» Щедрина.

Эти резкие суждения о нем, высказанные с разных сторон, сатирик не оставил без ответа. Такой ответ мы обнаруживаем в «Круглом годе» и в очерке «Дворянские мелодии», который особенно примечателен тем, что из него позднее выкристаллизовались два художественных шедевра — сказка-элегия «Приключение с Крамольниковым» и трагедийный монолог «Имярек».

В «Дворянских мелодиях» исповедуется человек сороковых годов, который казнит себя за бессилие. Это

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 и 1876 годы, стр. 413—414.

² В восьмидесятых годах взгляд Шелгунова на общественное значение щедринской сатиры коренным образом изменился. Об этом свидетельствует чрезвычайно высокая оценка, данная им Щедрина в «Очерках русской жизни».

бессилие выражается в том, что, при всей своей симпатии к «новым песням» молодого поколения, он не может самоотверженно бороться в его рядах за интересы «униженных и оскорбленных», которые стали ему близки в давно прошедшей молодости. И теперь, обозревая свой жизненный путь, он приходит к выводу, что «итог... может быть формулирован в следующих немногих словах: ни зла, ни добра...» Этот конечный вывод вместе с тем служит и отправным пунктом для размышлений человека сороковых годов, жадно ищущего примирения со встревожившеюся совестью.

«Нет деятельного, торжествующего зла: право, и это не безделица! — говорит он. — Конечно, это не бог знает какая «почва», а скорее соломинка, но, в качестве человека отживающего, человека иных песней и иных традиций, я хватаюсь за эту соломинку и возлагаю на нее великие надежды»¹.

Далее в рассуждениях рассказчика «Дворянских мелодий» затрагивается тема «хохота», но в совершенно иной интерпретации, чем у Достоевского. «Мы переживаем время, — продолжает человек сороковых годов, — которое, несомненно, представляет замечательно полное осуществление ликующего хищничества. Бессовестность, заручившись союзом с невежеством и неразвитостью, выбросила на поверхность целую массу людей, которые до того упростили свои отношения к вещам и лицам, что, не стесняясь, возводят насилие на степень единственного жизненного регулятора...

Но если даже такое простое слово, как «совесть», оказывается слишком тяжеловесным для современных диалогов, то какое же значение могут иметь слова более мудреные, как, например: любовь, самоотверженность и проч.? Очевидно, что единственная оценка, на которую в этом случае можно рассчитывать, это — хохот. Что-то отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не то салопница, не то Дон-Кихот, выезжающий на битву с мельницами. И всем по этому поводу весело; все хохочут: и преднамеренные бездельники, и искренние глупцы...

Как бы то ни было, но я могу о себе сказать смело, что проявления совести, самоотверженности и проч. никогда не возбуждали во мне позова к хохоту. Напротив

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XII, стр. 515.

того, я относился к ним скорее благосклонно, или, лучше сказать, опрятно... хотя и бессильно»¹.

Но такое отношение к тем, кто самоотверженно борется с «ликующим хищничеством», и обрекает его, человека сороковых годов, еще не утратившего способности стыдиться, на остервенелую расправу, ибо «хохот не только жесток, но и... придиричив. Преследуя непосредственно Дон-Кихота, он придирается и к стороннему человеку: а ты что рот разинул?.. Наступит момент, когда он прямо потребует, чтоб вся наличная армия, и старые и малые, и сильные и хилые, была в строю, чтоб все нижние чины до единого смотрели не кисло, а бодро, весело и решительно. Это будет минута тяжкая и решительная. Человек недоумения, человек, жизненный девиз которого исчерпывался словами: ни зла, ни добра, вдруг очутится если не прямо в положении кознодействующего Дон-Кихота, то, во всяком случае, в положении его попустителя. Покончивши с Дон-Кихотом, и бессильного человека выведут пред лицо хохочущей толпы, прочитают его вины... и в заключение скажут: «Ты даже опаснее, чем Дон-Кихот, ибо настоящий Дон-Кихот по крайней мере всенародно гарцует, а ты забился в угол и оттуда втихомолку льешь потоки донкихотствующего яда...» Ведь хохоту-то по этому случаю, пожалуй, еще больше будет! Помилуйте! дурак ничего не делал, хотел спрятаться, а его на свежую воду вывели!»².

Этот неожиданный финал, впоследствии легший в основу сказки «Приключение с Крамольниковым», ставил самого сатирика на место человека сороковых годов. И уже прямо от своего лица Щедрин писал, отвечая Достоевскому и Шелгунову в «Круглом годе»:

«Я никого не бью по щекам, хотя некоторые «критики» и уверяют, что я только этим и занимаюсь. Моя резкость имеет в виду не личности, а известную совокупность явлений, в которой и заключается источник всех зол, угнетающих человечество...

Я очень хорошо помню пословицу: было бы болото, а черти будут... Воистину болото родит чертей, а не черти создают болото. Жалкие черти! как им очиститься, просветлеть, перестать быть чертями, коль скоро их

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XII, стр. 515—516.

² Там же, стр. 516—517.

насквозь пронизывают испарения болота! Жалкие и смешные черти! как не смеяться над ними, коль скоро они сами принимают свое болото всерьез и устроят там целый нелепый мир отношений, в котором бесцельно кружатся и мнутя, совершенно искренно веря, что делают какое-то прочное дело! Да, смешны и жалки эти кинутые в болото черти, но само болото — не жалко и не смешно...»¹

Как и в «Дворянских мелодиях», Щедрин отвечает здесь критикам без полемической запальчивости. Да и отвечает, быть может, только потому, что их суждения о характере его творчества помогают ему глубже разъяснить читателям свое писательское кредо². Дальнейшее развитие эта тема об отношении к «основам» и их охранителям получила в вышеприведенном письме Щедрина к Е. Утину, которое явилось ответом на сочувственную статью последнего о «Круглом годе». Характеристикой блюстителей «основ», как «жалких и смешных чертей», Щедрин напомнил читателям о «бесах» в романе Достоевского, чтобы таким образом нагляднее противопоставить свой взгляд на охранителей «краеугольных камней» его отношению к «потрясателям основ»... Но когда автор «Круглого года» писал вышецитированные строки, ему не могло прийти на мысль, что в этом же публицистическом произведении он уделит немало места открытой полемике с Достоевским по поводу одного эпизода в его новом романе «Братья Карамазовы».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Замысел «Братьев Карамазовых», по словам Достоевского, созрел у него «неприметно и невольно» на протяжении 1876—1877 годов, когда он вел «Дневник писа-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIII, стр. 266—267.

² Попутно заметим, что в цитированной (восьмой) главе «Круглого года» Щедрин отвечал, не называя их, и другим своим критикам, — например, Ткачеву, напечатавшему под псевдонимом П. Никитин в январской книге «Дела» за 1878 год статью «Безобидная сатира».

теля». Ощувив настоящую потребность в разработке и оформлении накопленного материала, Достоевский прекратил издание «Дневника», который отнимал много времени и сил, и с 1878 года весь отдался работе над созданием своего последнего художественного произведения. «Братья Карамазовы» начали печататься в январской книге «Русского вестника» за 1879 год, и уже в первой части романа наметилась полемическая тенденция автора, направленная против враждебных ему литературных деятелей. Мы имеем в виду обрисовку характера «семинариста-карьериста» Ракитина.

В критической литературе давно был высказан взгляд, что карикатурным образом Ракитина Достоевский метил в Елисеева — соредактора Щедрина по «Отечественным запискам» и их внутреннего обозревателя, а также в издателя радикального журнала «Дело» Благовосветлова. Наличие такого полемического умысла мы можем теперь обосновать свидетельствами самого Достоевского. Так, в доселе не изданной тетради «Дневника писателя» читаем:

«Не единым хлебом жив человек. То есть человек, если только он человек, и сытый не успокоится, а накормите корову и она будет спокойна так же, как г. Благовосветлов и иной либерал, купивший наконец на свой либерализм собственный дом»¹.

В другом отрывке, озаглавленном «Торговля либерализмом», Достоевский высказывает ту же мысль, что и в первой записи:

«Эта сытая корова, успокоившаяся подобно г. Благовосветлову, насытившемуся от Дел своих и достигшему собственного дома (на углу Надеждинской и Манежной)»².

При создании образа «семинариста-карьериста» Достоевский использует и нападки Суворина на внутреннего

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 16, стр. 275.

² Там же, стр. 276. Эти строки могли быть непосредственно внушены Достоевскому чувством возмущения, вызванным одним местом в некрологе историка Шапова, который был напечатан в благовосветловском журнале «Дело». Анонимный автор некролога, говоря об участии Шапова во «Времени», утверждал, что издатель этого журнала, любимый брат Достоевского, Михаил Михайлович, обижал в денежных расчетах своего непрактичного сотрудника. Достоевский горячо опровергал это обвинение, доказывая его нелепость, в апрельском выпуске «Дневника писателя» 1876 года (статья «За умершего»).

обозревателя «Отечественных записок» Елисеева, который в сороковых годах был профессором казанской духовной академии. Об этом выступлении издателя «Нового времени» в воспоминаниях Михайловского рассказано следующее:

«В 1878 г. один писатель, в жару полемики, попрекнул Елисеева его первым специальным литературным трудом — «Житием Гурия, Варсонофия и Германа». В особенности подчеркивалось посвящение книжки казанскому архиерею, в котором автор называл свой труд «малою лептою моего делания»... Попрек не имел никакого отношения к предмету полемики и был выдвинут, как у нас это часто бывает, с единственной целью уколоть противника, причинить ему неприятность. Но попрекавший, как это тоже часто бывает, ошибся в расчете. Елисеев нимало не сконфузился и с достоинством поднял брошенную ему перчатку, не пытаясь ни замолчать выкопанный из его далекого прошлого факт, ни отрицать его, ни как-нибудь криво истолковать. Ни в чем подобном и надобности не было. Задавался вопрос: «когда г. Елисеев был искренним человеком, тогда ли, когда в нем кипела юношеская кровь и он писал «малые лепты», или теперь, когда опыт жизни умудрил его и он пишет «внутреннее обозрение»?» Вопросавший не мог не понимать, что в течение тридцати лет человек может резко изменить свое мирозерцание, оставаясь вполне искренним. Не мог он также не понимать, что в духовном сословии существуют, может быть, и теперь, а тем паче существовали тридцать лет тому назад, свои особые формы эпистолярного стиля, столь же условные, как наши теперешние «милостивый государь» и «с истинным почтением имею честь быть покорнейшим слугой». Но Елисеев не ограничился этими слишком уже элементарными возражениями. Он указал на черты единства всей своей деятельности»¹.

Как использовал Достоевский, создавая образ нигилиста Ракитина, и собственную отрицательную характеристику издателя радикального журнала «Дело» и суворинские выпады против одного из редакторов «Отечественных записок», можно проследить по двум эпизодам

¹ Н. К. Михайловский, Литературные воспоминания и современная смута, т. 1, стр. 444—445.

в «Братьях Карамазовых». Содержание первого эпизода раскрывается в беседе Ракитина с Алешей. Второй эпизод разыгрывается во время суда над Дмитрием Карамазовым, когда его защитник, знаменитый адвокат Фетюкович, неожиданно дискредитирует «семинариста-карьериста», выступавшего на процессе в качестве «свидетеля прокурорского».

В разговоре с Алешей Ракитин сообщает, какую будущность саркастически предсказал ему его брат Иван:

«Изволил выразить мысль, что если я-де не соглашусь на карьеру архимандрита в весьма недалеком будущем, и не решусь постричься, то непременно уеду в Петербург и примкну к толстому журналу, непременно к отделению критики, буду писать лет десяток и в конце концов переведу журнал на себя. Затем буду опять его издавать, и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком, с маленьким даже лоском социализма... Конец карьеры моей, по толкованию твоего братца, в том, что оттенок социализма не помешает мне откладывать на текущий счет подписные денежки и пускать их при случае в оборот... до тех пор, пока не выстрою капитальный дом в Петербурге, с тем чтобы перевести в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов. Даже место дому назначил: у Нового Каменного моста через Неву, который проектируется, говорят, в Петербурге, с Литейной на Выборгскую...

— Ах, Миша, ведь это, пожалуй, как есть все и сбудется, до последнего даже слова! — вскричал вдруг Алеша, не удержавшись и весело усмехаясь»¹.

В этом предсказании будущности семинариста Ракитина легко отделить тенденциозно объединенные и таким же образом истолкованные факты, относящиеся к далекому прошлому в биографиях Благовосветлова и Елисеева.

Второй эпизод связан со свидетельскими показаниями Ракитина на суде по делу об обвинении Дмитрия Карамазова в отцеубийстве. Его выступление «пленило публику независимостью мысли и необыкновенным благородством ее полета», ибо «трагедию судимого преступления он изобразил как продукт застарелых нравов крепо-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. IX, стр. 84.

стного права и погруженной в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений». Однако в своей речи Ракитин допустил важный по последствиям промах — он с презрением отозвался о Грушеньке, как о «содержанке купца Самсонова», и это дало возможность адвокату Фетюковичу, который в короткий срок успел в «интимных подробностях ознакомиться с делом», добиться дискредитации «опасного свидетеля».

«— Позвольте узнать, — начал защитник с самую любезною и даже почтительною улыбкой, когда пришлось ему в свою очередь задавать вопросы, — вы, конечно, тот самый и есть г. Ракитин, которого брошюру, изданную епархиальным начальством, *Житие в бозе почившего старца отца Зосимы*, полную глубоких и религиозных мыслей, с превосходным и благочестивым посвящением преосвященному, я недавно прочел с таким удовольствием?»

— Я написал не для печати... это потом напечатали, — пробормотал Ракитин, как бы вдруг чем-то ошеломленный и почти со стыдом.

— О, это прекрасно! Мыслитель, как вы, может и даже должен относиться весьма широко ко всякому общественному явлению. Покровительством преосвященного ваша полезнейшая брошюра разошлась и доставила относительную пользу...»

От этого благочестивого сюжета, воспроизводящего уже известные нам суворинские разыскания в биографии Елисеева¹, знаменитый адвокат внезапно переходит к совершенно другому вопросу — знакомству Ракитина с Грушенькой и некрасивой роли, которую он сыграл, взяв у нее деньги за то, что привел к ней Алешу. Свидетель окончательно растерялся и «сошел со сцены несколько подсаженный. Впечатление от высшего благородства его речи было-таки испорчено...» Довершил же его разоблачение сам подсудимый. Когда по окончании опроса Ракитина председатель спросил Дмитрия, нет ли у него каких-либо замечаний, тот отозвался во весь голос:

«Он у меня уже у подсудимого деньги таскал взаймы!»

¹ Указание на этот источник мы обнаруживаем в следующей записи к «Братьям Карамазовым», не вошедшей в текст романа: «Семинарист о Гурии и Варсонофии» (Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования, под ред. А. С. Долинина, Л. 1935, стр. 249).

Бернар презренный и карьерист, и в бога не верует, пресвященного надул!»¹.

Все вышесказанное не оставляет сомнений в полемической направленности образа Ракитина. Это подметил еще Михайловский, подчеркнувший в «Записках современника» (1881), что в предсказании будущности Ракитина «всякий узнает... внешнюю сторону истории одного недавно умершего журналиста», то есть Благосветлова. От Михайловского, конечно, не укрылся и умысел Достоевского, относившийся к Елисееву, но этого вопроса неудобно было касаться в «Отечественных записках». Посему он ограничился дополнительным общим замечанием, что при создании образов, подобных Ракитину, Достоевский «берет несколько черт, по которым если не все, то очень многие могут узнать, о ком речь идет...» Быть может, Михайловский заметил еще одну особенность в изображении «семинариста-карьериста», но не коснулся ее по той же причине, почему он умолчал о Елисееве. Эта до сих пор не обращавшая на себя внимания исследователей особенность носит также полемический характер, но она задевает не Благосветлова и Елисеева, а давнишнего идейного противника и оппонента Достоевского — Щедрина.

II

Остановимся еще на общей характеристике Ракитина. По словам автора, он «везде имел связи и везде добывал языка. Сердце он имел весьма беспокойное и завистливое»². В другой раз подчеркивается, что ему «решительно все в их городишке было известно», и на суде «оказалось, что он все знал... у всех-то он был, все-то видел, со всеми-то говорил, подробнейшим образом знал биографию Федора Павловича и всех Карамазовых»³. Ум у него озлобленный, он «всех бранит». Ракитин — нигилист, атеист, стремится примкнуть к «отделению критики» толстого журнала радикального направления, а между тем весь поглощен мыслью о наживе и пока что

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений т. X, стр. 331—332.

² Там же, т. IX, стр. 86.

³ Там же, т. X, стр. 330.

печатает пасквильные корреспонденции в столичной газете «Слухи». Нетрудно заметить, что Ракитину Достоевский придал отрицательные черты, которыми раньше, в журнальной полемике с Щедриным, наделил «Молодое перо» и Щедродарова, тоже подвизавшегося в «отделении критики»... Однако наиболее резко эти черты выступают в образе Липутина («Бесы»). Заслуживает быть отмеченным тесное родство характеров Липутина и Ракитина, несмотря на то, что Достоевский наделил их чертами реальных прототипов, по своему духовному складу не похожих друг на друга. Такое родство можно, повидимому, объяснить тем, что главным объектом нападения и в «Бесах» и в «Братьях Карамазовых» было одно и то же лицо, стоявшее за спиной этих прототипов. Если в таком плане сопоставить Липутина и Ракитина с традиционным, по приему изображения, карикатурным портретом — Кармазиновым, то их отличие от него выйдется совершенно отчетливо.

После этих общих замечаний обратимся к одной особенности в описовке Ракитина, о которой мы упомянули выше. Особенность эта является отчасти потаенным полемическим штрихом, который может быть обнаружен только по неизданным записям Достоевского. Выше мы привели неопубликованный отрывок из «Дневника писателя», где автор «Непочтительного Короната» обвинялся в атеизме. Там же Достоевский набросал диалог, в котором сатирику приписывалось утверждение, что «и без бога надо быть гуманным, любить человечество», а его оппоненту — такое возражение: «Но на кой черт я буду гуманен. Я хочу, чтоб весело, весело, весело...» К этой теме Достоевский возвращается в «Братьях Карамазовых». Его мысли развивает здесь Иван, утверждающий, что «на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных», и что «если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие». Тут же Иван делает знаменитое заявление: «уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие», и «тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено...»¹

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. IX, стр. 71.

Против этой теории восстает Ракитин, которому Достоевский, следовательно, поручает здесь роль, присвоенную им в неизданном отрывке из «Дневника писателя» автору «Непочтительного Короната». «Семинарист-карьерист» выступает против Ивана в беседе с Алешей. «— ...Эк ведь Иван вам загадку задал! — с явною злобой крикнул Ракитин. Он даже в лице изменился и губы его перекосились.— Да и загадка-то глупая, отгадывать нечего. Пошевели мозгами — поймешь. Статья его смешна и нелепа. А слышал давеча его глупую теорию: «нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, все позволено»... Соблазнительная теория подлецам... Я ругаюсь, это глупо... не подлецам, а школьным фанфаронам с «неразрешимую глубиной мыслей». Хвастунишка, а суть-то вся: «С одной стороны — нельзя не признаться, а с другой — нельзя не сознаться!» Вся его теория — подлость! Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! В любви к свободе, к равенству, братству найдет...»¹

Помимо основной мысли, заключенной в вышеприведенном фрагменте из «Дневника писателя», филиппика Ракитина обращает на себя внимание тем, что раздвоенность Ивана Карамазова характеризруется им щедринской формулой: «С одной стороны — нельзя не признаться, с другой — должно сознаться». Этот штрих, возникший из рассмотренного полемического замысла Достоевского, и составляет доселе не замеченную в критической литературе особенность рассуждений «семинариста-карьериста». Неслучайный характер цитирования Щедрина подтверждается в той же беседе еще в трех случаях. «Что сей сон означает?» — иронически допытывается Ракитин у Алеши, имея в виду земной поклон старца Зосимы Дмитрию Карамазову. И тут же добавляет, что это «кажись, всегдашние благоглупости». «Что сей сон означает?» — излюбленный щедринский оборот, а «благоглупости» — словообразование сатирика, впервые появившееся в его рассказе «Деревенская тишь» (1863), где помещик Кондратий Трифонич дразнит им гостя — «батюшкина брата», который уснащает свою речь выражениями, начинающимися словом «благо», И дальше, сказав Алеше:

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. IX, стр. 83—84.

«ты всегда правду говоришь», Ракитин добавляет: «хотя всегда между двух стульев садишься»¹. Здесь Достоевский относит к своему герою брошенное сатириком (в статье «Тревоги «Времени»; 1863 г.) по его собственному адресу полемическое утверждение, что он «сидит между двумя стульями»...

Вероятно, от Щедрина не ускользнули рассмотренные особенности изображения Ракитина, и, быть может, с этим связано одно место в третьей главе «Убежища Монрепо» («Монрепо-усыпальница»; 1879 г.). Мы имеем в виду неожиданное возвращение сатирика к мотиву, прозвучавшему в «Благонамеренных речах», — упоминанию о людях со «злою, долго задерживающей памятью», которые «мертвыми дланями стучат в мертвые перси» и «выкликают: «звон победы раздавайся!», готовые «настроить мертвыми руками бесчисленные ряды костров» для тех, «кто не стучит в перси и не выкликает вместе с ними»².

Дальше мы увидим, что в ответе Щедрина на выступление против него Достоевского с политическим обвинением в «Братьях Карамазовых» повторится этот обличительный мотив.

III

Трудно с уверенностью сказать, что именно побудило Достоевского в «Братьях Карамазовых» открыто выступить против сатирика. Вероятнее всего, самую важную роль тут сыграла одна причина общего характера — крайне напряженная политическая обстановка 1879 года в связи с покушениями на Александра II. В этой обстановке «Отечественные записки», унаследовавшие «предания» «Современника» Чернышевского, должны были особенно тяжело ощущать усиление правительственной реакции, и беспощадный ответ Щедрина Достоевскому проникнут именно такими переживаниями «страшного года». Еще раньше они отразились на цитированной обличительной речи сатирика в «Убежище Монрепо». В свою очередь эта инвектива могла подстрекнуть Достоевского предъявить Щедрина политическое обвинение. Во всяком

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений т. IX, стр. 80.

² Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIII, стр. 97—98.

случае, совокупность различных и недостаточно выясненных обстоятельств привела к тому, что в 1879 году, после долголетнего скрытого спора с Щедриным, Достоевский впервые в произведении, подписанном его именем, открыто выступил против своего политического противника.

Мы имеем в виду сцену свидания Мити с Хохлаковой, описанную в восьмой книге романа (глава «Золотые прииски»). Митя в крайнем волнении прибегает к Хохлаковой, подгоняемый надеждой занять у нее деньги, необходимые ему для увоза Грушеньки, но уже на пороге хозяйка оглушает его потоком речей. Барынька тараторит о том, что разуверилась в чудесах и «теперь вся за реализм», что она исцелит Митю как «опытный душевный доктор» и заодно даст ему «бесконечно, бесконечно больше, чем три тысячи», которые он просит; подобно гоголевской даме, приглашавшей Чичикова в пустыню, Хохлакова советует Мите отправиться на золотые прииски, для которых он предназначен самой природой, что она безошибочно узнала по его твердой походке, обличающей в нем энергичный характер; тут же заверяет его, что он вернется с золотых приисков миллионером, будет помогать бедным и таким образом «станет известным и необходимым министерству финансов, которое теперь так нуждается»; наконец, требует «ответить математически», согласен ли он немедленно последовать ее совету отправиться на прииски, и, чтобы не дать благодетельствованному Мите уклониться от предначертанного ею пути к счастью, она торопливо надевает ему на шею «крошечный серебряный образок», с благоговейным пояснением: «Это из Киева... от мощей Варвары великомученицы...» И вдруг ее бессвязная болтовня разрешается такой тирадой:

«— ...Я вовсе не прочь от теперешнего женского вопроса, Дмитрий Федорович. Женское развитие и даже политическая роль женщины в самом ближайшем будущем — вот мой идеал. У меня у самой дочь, Дмитрий Федорович, и с этой стороны меня мало знают. Я написала по этому поводу писателю Щедрину. Этот писатель мне столько указал, столько указал в назначении женщины, что я отправила ему прошлого года анонимное письмо в две строки: «Обнимаю и целую вас, мой писатель, за современную женщину, продолжайте». И подписалась: «мать». Я хотела было подписаться «современная мать» и колебалась, но остановилась просто на ма-

тери: больше красоты нравственной, Дмитрий Федорович, да и слово «современная» напомнило бы им *Современник* — воспоминание для них горькое ввиду нынешней цензуры...»¹

Эти строки были напечатаны в октябрьской книжке «Русского вестника» за 1879 год, а в ноябрьском номере «Отечественных записок» появился первый ответ сатирика. Приведя тираду Хохлаковой в постскрипуме к «Круглому году», он отозвался на полемическую выходку Достоевского следующим образом:

«Такого письма я не получал, и вся эта «выдумка», очевидно, сочинена салопницей Хохлаковой для того, чтоб напомнить: был, дескать, журнал «Современник», так вот не он ли устами «писателя» Щедрина продолжает говорить. Ах, эти салопницы! То из старой одежды чего-нибудь на бедность просит, а то вдруг ни с того ни с сего съязвит. Съязвит глупо, беззубо, но в то же время ужасно противно, хоть форточки отворяй. Вот хоть бы в данном случае: об чем докучает салопница Хохлакова? — об том, чтоб я *продолжал* писать о назначении *современной* женщины. Но я об этом-то именно предмете всего менее и писал, а следовательно, не только не мог «столько» указать г-же Хохлаковой, но просто ничего. Вот если б вы, салопница Хохлакова, поблагодарили меня за изображение людей, «которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси», — такой благодарности, быть может, я заслуживал бы. Подобных людей я действительно изображал и надеюсь изображать и в будущем без ваших просьб. Останетесь довольны»².

Свой ответ Щедрин писал в то время, когда после мучительных для него передраг в цензурном ведомстве ему удалось добиться снятия ареста с сентябрьской книжки «Отечественных записок», согласившись на вырезку целой главы из «Круглого года» и купюру в «Finis Монрепо». Арест явился следствием доклада цензора, писавшего, что в «Круглом годе» «содержится протест против мер строгости, принимаемых правительством для устранения ненормальных явлений, которыми отмечается у нас последнее время». Под «ненормальными явлениями» цензор имел в виду участвовавшие революционные акты,

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. X, стр. 64.

² Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIII, стр. 570.

а «меры строгости» были не чем иным, как правительственным террором, воскрешавшим в памяти действия Муравьева-вешателя после каракозовского выстрела. Как и в 1866 году, усилились репрессии против печати, и особое внимание соответствующих органов привлекало направление «Отечественных записок».

Как отнесся Щедрин к выступлению Достоевского в момент, когда создалась угроза существованию «Отечественных записок», а вместе с тем и продолжению его собственной литературной деятельности, отчасти уже показывает вышеприведенный ответ. Прежде всего сатирик привел в ясность и выдвинул на первый план самое опасное для себя — обвинение, что его устами продолжает говорить запрещенный правительством в 1866 году «Современник», и ни одним словом не оспорил этого. Затем Щедрин вскрыл несостоятельность попыток поставить его в смешное положение, навязав ему в почитательницы Хохлакову, и закончил указанием на то, чей образ мыслей, какую идеологию он разоблачает, изображая людей, «которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси».

Однако этот спешный ответ, написанный перед самым выходом книжки журнала, не удовлетворил Щедрина, и в следующем, декабрьском номере «Отечественных записок» он вернулся к объяснению с Достоевским. Имея в виду, что читателям уже известен предмет полемики, сатирик прямо приступил к его обсуждению.

«Остановлюсь на минуту,— писал он,— на г-же Хохлаковой, которую г. Достоевский так некстати и неуклюже подsunул мне в прошлом месяце.

Письма, возвещенного ею, я не получал.

Очевидно, она лгала, говоря, что написала его. Зачем она лгала?»

Для объяснения этого Щедрин охарактеризовал Хохлакову как тип, который был впервые воплощен Гоголем «в двух незабвенных личностях: даме просто приятной и даме приятной во всех отношениях». Отметив самую выдающуюся черту гоголевских прототипов «несметного Хохлаковского воинства» — то «неотвязное пустодушие, которым почти поголовно обуреваются общество в известные исторические моменты», сатирик подчеркнул, что «жизнь этих дам есть сплошное лганье во всех формах и видах, начиная от простого пускания пыли в глаза и кончая несомненным предательством». Что Достоевский

воспроизводил этот тип, Щедрин считал совершенно понятным, поскольку писатель-реалист и «один из наиболее чутких последователей Гоголя» не мог отвернуться от действительности. Однако, на его взгляд, при разработке образа Хохлаковой романист допустил погрешности, которые существенно «затемнили тип, первоначально начерченный Гоголем с поразительной ясностью». Такие погрешности в обрисовке Достоевским образа Хохлаковой сатирик усматривал в том, что, «с одной стороны, он утрировал его до степени полоумия, с другой — снабдил свойствами, совершенно ему чуждыми, и даже пристегнул к этому типу какие-то полемические цели».

Это свое утверждение Щедрин обосновал с особой тщательностью, стремясь объективным анализом образа Хохлаковой, как разновидности гоголевского типа, ясно и убедительно определить те характерные черты, которыми Достоевский мог наделить ее без нарушения художественной правды. На взгляд сатирика, природная емкость этого типа такова, что творческая фантазия может представить его в самых различных и неожиданных воплощениях, не отступая от реальной действительности. По определению Щедрина, сочетающему в себе художественно-объективное суждение с резкой полемической мыслью, Хохлакова «есть не что иное, как проезжий шлях, который всякий может топтать ногами: и мудрец, и глупец, и человек убежденный, и человек, стучащий мертвыми дланями в пустые перси, и человек добра, и изувер, мечтающий о кострах. Ее можно заставить и фригийский колпак надеть, и облечься в костюм сердобольной, — все это она сделает, и притом непременно уладится так, что оба костюма будут ей одинаково к лицу». Но при всех индивидуальных отличиях людям этого типа присуща одна общая и коренная черта — «инстинктивное отвращение к какой бы то ни было работе мысли» и неспособность на чем-либо сосредоточить внимание. Эта черта свойственна и Хохлаковой. «А потому все серьезное (а в том числе и серьезная подлость) противно ее природе. В силу своей беспутной подвижности она ко всему прислушивается и присматривается, но ежели это слышанное и виденное хотя сколько-нибудь выходит за пределы самой несомненной низменности, то она положительно ничего не поймет... Конечно, в крайнем случае и ее можно заставить вытвердить фразу более или менее

сложную, но все-таки это будет предприятие очень рискованное, потому что она, наверное, либо слова переставит, либо что-нибудь пропустит, либо от себя нечто присочинит. И в конце концов никого не убедит, а только сконфузит и выдаст того, кто ее научил.

Поэтому, если писателю нужно, чтобы Хохлакова произносила «страшные слова», то надлежит выбирать таковые исключительно из замоскворецкого лексикона. Например: «жупел», «кимвал», «металл». Такие слова по плечу Хохлаковой, потому что они приобрели право гражданственности в той среде, в которой она вращается. А если б она даже и переврала их, переставила один слог на место другого, то и тут большой беды нет: кому какое дело, так или иначе то или другое глупое слово произнесено? Но писатель поступит несогласно с истиной и совершенно бестактно, если в уста Хохлаковой вложит «страшные слова» иного, не замоскворецкого пошиба. Таковы, например: «прозелит», «преуспеяние», «Современник» и другие. Перед этими словами Хохлакова может только трепетать, но произносить их отчетливо, безошибочно и притом самостоятельно она не в силах. Она наверное перепутает, смешает: «прозелита» с «протодиакон», «преуспеяние» с «успением», «Современник» с «Временем» или «Эпохой». Да и с какой стати ей придет в голову такое, например, мудреное слово, как «Современник»? Где она могла слышать это слово? А если даже случайно и слышала, то правдоподобно ли, чтоб ее необузданно-легковесная память могла задержать его?»¹

Эта характеристика замечательна тем, что проникающая ее полемическая мысль не привносится, как нечто инородное, извне, а естественно возникает из художественного раскрытия образа Хохлаковой. В то же время резкая отповедь Достоевскому сочетается в ответе сатирика с чрезвычайно высокой оценкой его как художника, что придает еще больший вес аргументации оппонента. Мы имеем в виду указание Щедрина, что Хохлакова потому «выдала» Достоевского, что вторую половину тирады (о «Современнике») он «заставил ее вымолвить совершенно вопреки тому верному художественному чутью, которое составляет отличительное достоинство этого талантливейшего из последователей Гоголя». Такое

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIII, стр. 571—572.

признание свидетельствует о том, что, несмотря на непримиримую полемику, которую Щедрин вел с автором «Бесов» и «Дневника писателя» на протяжении семидесятих годов, он нимало не снизил оценки его творческого дарования, данной в анонимном отзыве в начале этого десятилетия.

Однако в этих отзывах Щедрина о Достоевском нельзя не заметить и существенного различия. В рецензии 1871 года сатирик еще выражал надежду, что Достоевский преодолет «уродливые тенденции» в своем творчестве, если они являются случайностью. В «Круглом годе» об этом уже нет речи. И не только потому, что Щедрин отвечал здесь на крайне предосудительное выступление Достоевского в «Братьях Карамазовых», а главным образом вследствие того, что уже гораздо раньше, после опубликования «Бесов», ему окончательно уяснился неслучайный характер реакционной направленности образа мыслей их автора.

И все же нападение в «Братьях Карамазовых» явилось для сатирика столь же неожиданным, сколь и тяжелым ударом. Оно совпало с очень трудными для «Отечественных записок» и их ответственного редактора обстоятельствами. После расправы с Щедриным в сентябрьской книге журнала цензурное ведомство заставило его изъять еще один очерк в ноябрьском номере. Вместе с тем из источников, близких к официальным кругам, до него дошли слухи о готовящемся закрытии «Отечественных записок» — слухи, которые в обстановке «белого террора» могли предвещать пагубные последствия для журнала, уже получившего два предостережения. Обо всем этом не мог не знать Достоевский, и его указание в такой момент, что Щедрин следует направлению «Современника», закрытого навсегда после покушения на Александра II в 1866 году, означало не что иное, как напоминание о политической неблагонадежности сатирика и редактировавшихся им «Отечественных записок».

Этим объясняется уничтожающий характер отповеди Достоевскому в заключительной части ответа Щедрина, к которой мы сейчас переходим. Придерживаясь принятой им формы литературно-критической оценки, сатирик указал здесь на то, как автор «Братьев Карамазовых» мог бы избежать нарушения художественной правды при осуществлении своего полемического замысла.

«Таким образом, — писал он, — если уж непременно требовалось потревожить прах «Современника» и сопоставить его с моею фамилией, то, мне кажется, г. Достоевский поступил бы несравненно целесообразнее, возложив это поручение на старика Карамазова. Этот развратный и насквозь прогнивший старикашка, действительно, должен быть сердит на меня, и так как он, по природе своей, на всякие предательства способен, то, конечно, мог и в данном случае соорудить что-нибудь воистину язвительное. Я думаю даже, что он не ограничился бы напоминанием о «Современнике», но при сем присовокупил бы, что мои сочинения нужно сжечь рукой палача или что я проповедую презрение к России, а потом, помаленьку да полегоньку, пустил бы, пожалуй, букетами и по части событий, которые, в последнее время, так глубоко взволновали Россию... Повторяю: если бы г. Достоевский какую угодно выходку, даже самую омерзительную, относительно меня внушил не Хохлаковой, а старику Карамазову, я не только не увидел бы в ней ничего неожиданного или бестактного, но, напротив того, нашел бы ее вполне резонною, злопыхательному сердцу свойственною и с обстоятельствами дела согласною...

Но страшную, даже и в Карамазовских устах, я все-таки ее не нашел бы».

Этот беспощадный саркастический ответ — ответ не только на выступление Достоевского в «Братьях Карамазовых», но и на реплику Шатова в «Бесах», на «проплеванное место» и другие одиозные выпады в «Дневнике писателя» — был вместе с тем вызовом всему лагерю реакции. Такой вызов, проникнутый нескрываемым презрением к политическим врагам, еще отчетливее слышится в дальнейших словах сатирика:

«...я могу совершенно искренно заверить Карамазовскую семью, — продолжал Щедрин, — что «страшные слова» давным-давно утратили в моих глазах всякий престиж. Я знаю, конечно, что легкомысленное Хохлаковское воинство (обоего пола) и доньше не упразднилось, а следовательно, у Карамазовых всегда найдется готовая к их услугам аудитория, которую они могут, по своему усмотрению, повергать в суеверный трепет; но я знаю также, что наряду с легковесным Хохлаковским воинством уже существует достаточное количество и таких людей, в ко-

торых такие личности, как гнилой старик Карамазов, ничего, кроме отвращения, возбудить не могут. В самом деле, что такое Карамазов? — это не человек, а оборотень; это нечистое животное, которому горькая случайность дала возможность восхитить человеческий образ. Вот истина, которая сделалась понятною уже для очень многих... А коль скоро это достаточно ясно, то весьма естественно, что против Карамазовских каверз никакого другого корректива и искать не требуется, кроме того, который указывается в общеизвестной мудрой русской пословице: «Бог не попустит — свинья не съест». Именно так: не съест свинья — только и всё...

Вижу я, правда, особенно в последнее время, как бродят около меня нечистые животные и обнюхивают меня... Но чтобы они так-таки съели, потому что такова их свиная фантазия... помилуй бог!..

Вот почему я нимало не сомневаюсь и в ответ на отвратительные обнюхивания уверенно восклицаю: жив есмь и жива душа моя!»¹

В этом финале ответа Достоевскому обращает на себя внимание превращение, под пером сатирика, Федора Павловича Карамазова в свинью-оборотня. Полемическая подоплека такого превращения была нами раскрыта раньше. Разъясняя смысл щедринского изображения «тургеневских людей в старости», как чиновников на службе у тезки старика Карамазова — Федора Павловича Кротикова, мы указали, что сатирик обличал в «Помпадуре борьбы» тех людей сороковых годов, которые вращались в кругу Белинского и Грановского и «обратились потом в стадо свиней», став ренегатами, деятелями и пособниками реакции. Таким переосмыслением евангельского сказания, поставленного эпиграфом к нашумевшему роману Достоевского, сатирик подчеркивал, что в нем не изображены «бесы», которые действительно заслуживают разоблачения. В непосредственном ответе Достоевскому он чрезвычайно резко заострил эту мысль, характеризуя Карамазова-отца. Но, как мы уже отметили выше, Щедрин бросил здесь вызов всем врагам революционной демократии, в особенности реакционной печати. К такому выводу мы приходим, устанавливая тот факт, что свою характеристику старика Карамазова Щедрин

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIII, стр. 573—574.

затем положил в основу знаменитого «Разговора свиньи с Правдою», написанного после 1 марта 1881 года, когда правительственный террор, достигший апогея, сопровождался неистовством реакционной прессы, которую возглавлял Катков, когда-то причастный к кругу Белинского и Станкевича. Образ «торжествующей свиньи», «изменически-подло» допрашивающей Правду, явился автору во сне, и свои переживания он передал словами, которые вызывают в памяти заключительные строки его ответа Достоевскому:

«Я лежал как скованный, в ожидании, что вот-вот сейчас и меня начнут чавкать. Я, который всю жизнь в легкомысленной самоуверенности повторял: бог не попустит, свинья не съест! — я вдруг во все горло заорал: съест свинья! съест!»¹

IV

К выступлению Щедрина в «Круглом годе» Достоевский не отнесся безразлично. Напротив, оно, повидимому, сильно затронуло его, и он собирался ответить сатирику. Это важное обстоятельство впервые установил В. Комарович, который связал одно полемическое заявление Щедрина в «Круглом годе»² со следующим черновым наброском Достоевского:

«Мертвые руки, бьющие по мертвым персям.

Зосима и который верит, что во Христе заключаются все правды и всякий исход»³.

Эти строки содержатся в черновике письма Достоевского к редактору «Русского вестника» Н. А. Любимову, что указывает на намерение автора «Братьев Карамазовых» именно в такой форме публично выступить с «некоторыми разъяснениями идеи романа для косвенного ответа на некоторые критики, не называя никого», как он сообщал своему корреспонденту 12 декабря 1879 года⁴. Этого намерения Достоевский не привел в исполнение, но ряд эпизодов романа удостоверяет, что он ответил сатирику иным образом.

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIV, стр. 247.

² См. стр. 316.

³ «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования», под ред. А. С. Долинина, Л. 1935, стр. 376—377.

⁴ «Былое», т. XV, стр. 117.

Первый из этих эпизодов заключен в диалоге, который происходит между тринадцатилетним Колей Красоткиным и пригостишкой Смуровым в десятой книге «Братьев Карамазовых», озаглавленной «Мальчики». Попутно заметим, что другой разговор Коли Красоткина — с Алешей Карамазовым — уже явился однажды предметом разбора, причем исследователь, Г. Чулков, обнаружил в его рассуждениях пародию на некоторые высказывания Белинского в знаменитом письме к Гоголю. Алеша, неприятно пораженный этими рассуждениями, с досадой допытывается у своего собеседника:

«— Ну где, ну где вы этого нахватались? С каким это дураком вы связались?»

На что не по летам развитый мальчик, рекомендуящий себя Алеше «неисправимым социалистом», простодушно отвечает:

«— Помилуйте, правды не скроешь. Я, конечно, по одному случаю часто говорю с господином Ракитиным, но... Это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил»¹.

Таким образом, Достоевский пародирует революционные взгляды Белинского устами бойкого мальчика, дурно развиваемого нигилистом и атеистом Ракитиным. Отсюда возникает у автора «Братьев Карамазовых» и другой замысел — высмеять Щедрина посредством детских разглагольствований того же Коли Красоткина, нахватавшегося обрывков нигилистической премудрости у «семинариста-карьериста», который, как мы выяснили раньше, представлен единомышленником сатирика. Эта идея (в общей форме, быть может, подсказанная Достоевскому острым сатирическим приемом самого Щедрина в «Испорченных детях») прикровенно выражена следующим диалогом:

«— Я люблю наблюдать реализм, Смуров, — заговорил вдруг Коля. — Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются? Тут какой-то общий у них закон природы.

— Да, какой-то смешной.

— То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то наверно бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отноше-

¹ Сб. «Достоевский», 1928, стр. 66—67.

ниях между собою людей, их повелителей,— если не гораздо больше; это я повторяю потому, что я твердо уверен, что глупостей у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смуров.

— А что такое социалист? — спросил Смуров.

— Это коли все равны, у всех одно общее имение, нет браков, а религия и все законы как кому угодно...»¹

Полемический подтекст этого рассуждения юного «наблюдателя реализма» раскрывается его признанием, что он лишь повторил «замечательную мысль» Ракитина, и акцентируется объяснением, повидимому заимствованным из того же источника, «что такое социалист», которое заканчивается загадочной фразой «как кому угодно...» В этой фразе заключен намек на незавершенный цикл Щедрина «Как кому угодно», уже раньше окарикатуренный Достоевским в «Записках из подполья». Как мы знаем, в данном цикле сатирик положил начало «разоблачению краеугольных камней», осуществленному впоследствии в «Благонамеренных речах», «Господах Головлевых» и «Круглом годе». Из «Круглого года» мы выше привели одно место, полемически направленное против автора «Бесов». Напомнив пословицу: «было бы болото, а черти будут», сатирик писал об охранителях «краеугольных камней»: «Жалкие и смешные черти! как не смеяться над ними, коль скоро они сами принимают свое болото всерьез и устроивают целый нелепый мир отношений, в котором бесцельно кружатся и мнутятся, совершенно искренно веря, что делают какое-то прочное дело!» Эту щедринскую характеристику Достоевский пародирует устами Коли Красоткина, который с ребяческой важностью разъясняет, со слов Ракитина, приготовишке Смурову, что люди лишь по крайней глупости не замечают, как они смешны «в социальных отношениях между собою». Для усиления комического эффекта в наставительные разглагольствования «неисправимого социалиста» вводится неожиданное противопоставление людям собак, которые, не в пример своим повелителям, открыли бы смешные стороны в их общественных отношениях, если бы обрели критические способности... ну, хотя бы в той

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. X, стр. 195.

мере, в какой ими наделен Ракитин, высказавший эту «замечательную мысль».

Более непосредственный отклик на выступление Щедрина в «Круглом годе» с полемическими характеристиками Хохлаковой и старика Карамазова можно усмотреть в том направлении, какое придал Достоевский литературной деятельности Ракитина. В анонимной газетной корреспонденции «семинарист-карьерист» пишет пасквиль на Хохлакову, изображая эту экспансивную молодящуюся барыньку так, что вспоминаются слова сатирика о ее «распутной подвижности» и его замечание, что «народ очень своеобразно и метко заклеил подобных женщин именем «шлюх». Помимо того, Ракитин собирается писать о Карамазовых в связи с процессом Мити и, чтобы раздобыть необходимые сведения, посещает его в тюрьме. По этому поводу Митя говорит Алеше: «Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалуется. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд». Смеется, злобно так»¹.

И дальше — в пояснение этой мысли:

«— ...А не любит бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются. «Что же, будешь это проводить в отделении критики?» — спрашиваю. «Ну, явно-то не дадут», говорит, смеется. «Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь все позволено, все можно делать?» — «А ты и не знал?», говорит. Смеется: «Умному, говорит, человеку все можно, умный человек умеет раков ловить; ну а вот ты, говорит, убил и влопался, и в тюрьме гниешь!» Это он мне-то говорит. Свинья естественная!»².

К Ракитину, по словам одного критика семидесятых годов, Достоевский «чувствует ненависть и злобу... как к своему личному врагу и обидчику»³. Тогдашним читателям, помнившим недавний ответ Щедрина на выступле-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. X, стр. 254—255.

² Там же, стр. 255.

³ М. Антонович, Избр. статьи, Гослитиздат, 1938, стр. 270.

ние против него в «Братьях Карамазовых», намек критика был понятен без дальнейших пояснений. Раkitин ошельмован за его утверждение, что «можно любить человечество и без бога». За эту мысль он с позором изгоняется из семьи «настоящих русских людей», которые суть философы, и презрительно обзывается «смердом». Так устами Дмитрия Карамазова Достоевский заключает свою полемику на эту тему с Щедриным, начатую в неизданной записи к «Дневнику писателя». Тут уместно будет отметить, что Елисеев, перечитав за границей сочинения Достоевского, посланные ему Щедриным, именно эту тему выделил в объяснение того, почему мысль автора «Бедных людей» после возвращения из Сибири «направилась в другую сторону». «Он никогда не вышел бы из той области мысли, в которую раз попал,— писал Елисеев Щедрина 28 декабря 1884 года,— он стал бы разрабатывать ее одну, и только ее одну до бесконечности. А он ведь с начала своего писательства был на другой стороне. И надобно было много усилий, чтобы свернуть его отсюда. Только посредством бога могли его свернуть отсюда»¹.

Из краткой записи в черновых материалах к «Братьям Карамазовым» видно, что Достоевский в каком-то смысле сближал черта Ивана с семинаристом Михаилом Раkitиным. Эта запись — «Сатана и Михаил»² напоминает об одном эпизоде в «Бесах», который не был перенесен автором из журнального текста в отдельное издание романа. Мы имеем в виду разговор Ставрогина с Дашей о его галлюцинации, впоследствии образно воспроизведенной Достоевским в знаменитой главе «Братьев Карамазовых» — «Черт. Кошмар Ивана Федоровича». «—...Теперь начнется ряд его посещений,— говорит Ставрогин.— Вчера он был глуп и дерзок. Это тупой семинарист, самодовольство шестидесятых годов... Я злился, что мой собственный бес мог явиться в такой дрянной маске». «Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с на-smорком, из неудавшихся»³.

¹ «Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину». Подготовка текста писем и примечания И. Р. Эйгеса, редакция и вступительная статья Я. Е. Эльсберга, под общей редакцией Н. Л. Мещерякова, М. 1935, стр. 163.

² «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования», стр. 288.

³ «Русский вестник», 1871, № 9, стр. 143—144.

В «золотушном бесенке с насморком» мы обнаруживаем замысел, идентичный тому, какой был раньше воплощен Щедриным в сатирическом образе «Девушкина, сидящего в сатанах». Этот образ остался неизвестен Достоевскому, но одна существенная черта его была выявлена в опубликованной полемической статье Щедрина «Тревоги «Времени»... «...Ваше сентиментальничание с либерализмом,— писал публицист «Современника», обращаясь к своему оппоненту,— есть тысячекратно повторяемое трясение гоголевской «Шинелью». В записной книжке шестидесятых годов Достоевский как бы парирует этот полемический выпад, причем парирует в такой пародийной форме, которая уясняет смысл язвительной характеристики, затем вложенной им в уста Ставрогина. Вот эта запись:

«— От гражданских слез у них болят глаза и все они с красными слезливыми глазами, точно в насморке»¹.

Ивана Карамазова мучает тот же мелкий бес, что и Ставрогина, но он является к нему не в облиции семинариста, а в образе «приживальщика хорошего тона», уже заметно потрепанного жизнью. Впрочем, маска могла бы быть и иной: «Я вот думал давеча, собираясь к тебе, для шутки предстать в виде отставного действительного статского советника...» — говорит черт. Но в каком бы виде он ни предстал, его сущность не изменилась бы. «Ты, кажется, решительно принимаешь меня за поседелого Хлестакова, и, однако, судьба моя гораздо серьезнее,— рекомендуется он Ивану.— Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между тем я искренно добр и к отрицанию совсем неспособен. Нет, ступай отрицать, без отрицания де не будет критики, а какой же журнал, если нет «отделения критики»? Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтоб «осанна»-то эта переходила через горнило сомнений... Ну и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь. Мы эту комедию понимаем: я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких

¹ ЦГЛА. Фонд Достоевского, опись 1, № 3, стр. 73.

происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь... Ну, а я? Я страдаю, а все же не живу. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала...»¹

Эта тирада, как и некоторые краткие реплики «беса отрицания», воскрешает в памяти разные места из исповеди «подпольного» человека, пародированного Щедриным в образе «смешного черта» — «Девушкина, сидящего в сатанах». Но эта пародия, запрещенная цензурой, осталась неизвестна Достоевскому, и полемическая направленность вышеприведенной тирады относится не к ней, а к рассуждению сатирика в «Круглом годе» о «жалких и смешных чертах» — охранителях общественных «основ». Само это рассуждение Достоевский окарикатурил устами Коли Красоткина, с ссылкой на Ракитина, как автора «замечательной мысли», а в рассматриваемой сцене карикатурно-фантастическими чертами наделяется тот реальный прототип, который стоит за спиной Ракитина и не отразился в нем какой-либо внешней приметой биографического свойства. Цитированная запись: «Сатана и Михаил», сближающая черта Ивана с Ракитиным, может быть, и намекает на этот полемический замысел. Другой намек брошен Достоевским уже в самой знаменитой сцене, в словах черта, что он «для шутки» собирался предстать Ивану «в виде отставного действительного статского советника». Если бы эта «шутка» осуществилась, то такая биографическая подробность в отношении «беса отрицания», царящего в «отделении критики» журнала, сразу бы прояснила для многих затаенную мысль автора; поэтому он ограничился лишь косвенным дразнящим намеком на возможную ситуацию... Но Достоевский предварил свой намек таким штрихом, который должен был напомнить Щедрина об одном его сатирическом очерке. Для уяснения сути дела мы должны обратиться к рассмотрению этого эпизода.

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. X, стр. 306—307.

В январской книге «Отечественных записок» 1875 года начал печататься роман Достоевского «Подросток». Там же была помещена статья Михайловского «Записки профана», где факт сотрудничества Достоевского в некрасовском журнале объяснялся таким образом:

«Отечественные записки», как и всякий другой журнал, не могут, разумеется, брать на себя полную ответственность за все в них печатаемое. Условия нашей печати для этого слишком неблагоприятны. Я разумею не одни цензурные условия, а и количество и качество наличных литературных сил. Достойный внимания фактический материал, талантливость его обработки и известная точка зрения на вещи — вот три фактора всякой журнальной статьи. К сожалению, гармоническое сочетание этих трех факторов не составляет заурядного явления. Всякому журналу приходится печатать вещи или только ради их богатого фактического содержания, или только ради таланта автора. Последнее обстоятельство обуславливает чаще всего, разумеется, беллетристический отдел журнала. Но и тут материал и точка зрения автора все-таки не могут упускаться из виду. Например, с этой же книжки «Отечественных записок» начинается печатание романа г. Достоевского «Подросток». В нем читатель найдет... сцену у Дергачева, где молодые люди ведут какой-то странный политический разговор. В сцене есть некоторые подробности, весьма напоминающие недавнее дело...¹ Я уже говорил однажды, именно по поводу «Бесов», о странной и прискорбной мании г. Достоевского делать из преступных деяний молодых людей, немедленно после их раскрытия, исследования и наказания, тему для своих романов. Повторять все это тяжело, да и не нужно. Скажу только, что редакция «Отечественных записок» в общем разделяет мой взгляд на манию г. Достоевского. И тем не менее «Подросток» печатается в «Отечественных записках». Почему? Во-первых, потому, что г. Достоевский есть один из наших талантливейших беллетристов, во-вторых, потому, что сцена у Дергачева со всеми ее подробностями имеет чисто эпизодический характер. Будь роман именно на этом мотиве построен, «Отечественные записки» принуждены были бы отказаться от че-

¹ Михайловский имел в виду процесс революционного кружка «долгушинцев», состоявшийся в июле 1874 года.

сти видеть на своих страницах произведение г. Достоевского, даже если б он был гениальный писатель»¹.

Мы видим, таким образом, что, начав печатать роман «Подросток», редакция «Отечественных записок» сочла нужным тут же решительно высказаться против склонности Достоевского к использованию в своих произведениях материалов судебных процессов политического характера. Отсюда можно заключить, что упомянутая Михайловским «сцена у Дергачева» явилась предметом особого внимания редакции и вызвала определенно отрицательное отношение. Это косвенно подтверждается другим источником. Мы говорим об очерке Щедрина «Между делом», напечатанном в той же январской книжке «Отечественных записок», где были опубликованы первые главы «Подростка» и цитированная статья Михайловского.

Тема этого очерка — «психология как орудие травли». Так определяет ее в беседе с рассказчиком, благодушным, всюду усматривающим «отрадные явления», человеком сороковых годов, его сверстник и друг Глумов — персонаж с желчным характером, резко-парадоксальным складом ума и саркастической речью. Глумов заводит разговор о пореформенном суде и делает рассказчику интимное признание, которое своей неожиданностью и странностью огорошивает собеседника. Он заявляет:

«— Люблю, братец, видеть, как связанного человека бьют. Нет для моего нутра усладительнее этого зрелища! Искращения человеческого лица, корчи, подавленные вздохи... прелесты!

— Да где же ты ухитришься нынче отыскивать подобные зрелища?

— Везде, голубчик, на каждом шагу; а чтоб не захватывать слишком широко, ограничимся хоть камерой суда.

— Помилуй! отправление правосудия...

— Отправление правосудия — само собой, а травля — сама собой. В том-то и вещь, душа моя, что отправление-то правосудия интересует меня на золотник, а от травли — у меня дыхание в зобу спирается»².

Из дальнейших слов Глумова рассказчик узнает, что «действующим лицом в новейшей травле является не плеть, а психология», которая «только делает вид, что

¹ Н. К. Михайловский, Сочинения, 1897, т. III, стр. 301—302.

² Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XV, стр. 329.

доказывает, а в действительности ничуть ничего не доказывает. Она только для формы признает своим основным пунктом суровый факт, называемый поличным, но на деле сейчас же оставляет его и сочиняет по поводу его роман, роман косвенных улик, который по очереди принимает то обвинительный, то защитительный характер». Перейдя таким образом от «психологических приемов» прокурора и адвоката к художественному творчеству, Глумов утверждает, что «Шекспир одинаково отказался бы и от роли защитника, и от роли обвинителя». Свою мысль Глумов обосновывает следующим доводом: «Ведь его психология,— говорит он,— чувствовала себя гораздо свободнее и независимее, имея под руками Гамлета и Ричарда III, нежели тот уголовный материал, который украшает скамьи подсудимых в современных судах»¹. Рассказчик пытается возражать, но не находит доводов, которые опровергли бы категорическое утверждение Глумова: «Психология в смысле орудия травли — не только не прогресс, но шаг назад. Она менее убеждает, нежели плеть и пощечина, и большее уязвляет, ибо захватывает не только тело человека, но и его внутреннее существо». Эта беспомощность рассказчика ясно выражена в его недоуменных словах: «Итак, вот оно, вот откуда ведет начало психология! — думалось мне, покуда Глумов разъяснял свою теорию родства психологии с пыткой. — Прекрасно; но почему же, однако, вмешательство психологического расследования в сферу телесных истязаний все-таки повсюду принимается, как признак смягчения нравов?»².

Объяснение редакции «Отечественных записок» с читателями по поводу «Подростка» не могло не задеть Достоевского. По крайней мере в близком ему кругу и много лет спустя с негодованием вспоминали цитированное место «Записок профана», причем тут же утверждалось, что в некрологе Достоевского, составленном Михайловским, и в его известной статье «Жестокий талант» «беспрестанно чувствуется рука Салтыкова»³. Этот вымысел отчасти, может быть, обязан своим происхождением и рассмотренному очерку Щедрина «Между делом», в котором индифферентно затронута тема, впоследствии разработанная автором «Жестокоего таланта». Но как бы то ни было,

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XV, стр. 339.

² Там же, стр. 333—334.

³ «Гражданин», 1882, № 94.

Достоевский во всяком случае мог усмотреть связь между задевшим его местом в «Записках профана» и этим щедринским очерком, что, на наш взгляд, и отразилось в знаменитой сцене «Черт. Кошмар Ивана Федоровича». Мы имеем в виду саркастический штрих, о котором упомянули выше в связи с двусмысленной репликой «беса отрицания» из «отделения критики» о его намерении «для шутки» предстать Ивану «в виде отставного действительного статского советника». Этот штрих возник таким образом. Ночной посетитель Ивана Карамазова рассказывает ему легенду о некоем «мыслителе и философе», который отвергал загробную жизнь, и когда она ему открылась после смерти, то он «изумился и вознегодовал: «Это, говорит, противоречит моим убеждениям». Вот его за это и присудили... чтобы прошел во мраке квадриллион километров... и когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и все простят...» В этом месте слушатель останавливает словоохотливого рассказчика не относящимся к самой легенде, но, видимо, заинтересовавшим его по другому поводу вопросом:

«— А какие муки у вас на том свете, кроме-то квадриллиона? — с каким-то странным оживлением прервал Иван.

— Какие муки? Ах, и не спрашивай: прежде было и так и сяк, а ныне все больше нравственные пошлы, «угрызения совести» и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось, от *«смягчения ваших нравов»*... То-то вот реформы-то на неприготовленную-то почву, да еще списанные с чужих учреждений,— один только вред! Древний огонек-то лучше бы»¹.

Полемическая подоплека этого ответа становится ясной при сравнении с цитированными местами щедринского очерка «Между делом». На одно из этих мест Достоевский выразительно указал, взяв в кавычки, как цитату, слова сатирика о «смягчении нравов», а другое — тенденциозно переосмыслил, отдав предпочтение «древнему огоньку» пред нравственными муками... Что же касается сделанного сатириком сопоставления «психологических приемов» прокурора и защитника с «романом», то Достоевский использовал его в главах, посвященных опи-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. X, стр. 308. (Курсив наш. — С. Б.)

санию судебного процесса Дмитрия Карамазова. Так, адвокат Фетюкович по поводу «психологических глубин» речи прокурора замечает, что «психология подзывает на роман», а в другом месте прямо говорит: «Обвинению понравился собственный роман...»¹ В свою очередь и прокурор не остается в долгу. «...Нас упрекают,— говорит он в ответ знаменитому адвокату,— что мы насоздавали романов. А что же у защитника, как не роман на романе? Недоставало только стихов»².

Прокурор начинает сочинять свой «роман» уже во время первого допроса Мити в Мокром. В окончательный текст «Братьев Карамазовых» не вошел характерный в этом смысле диалог между следователем и прокурором. В черновых тетрадях он записан в нескольких вариантах. Собеседники делятся впечатлениями о характере Мити. Прокурор утверждает, что у него твердый характер; молоденький следователь склоняется к тому, что он невыдержан. Тогда прокурор приводит тот факт, что Митя, свалив ударом старика Григория наземь и пустившись затем бежать, тут же возвращается обратно к поверженному им слуге, чтобы убедиться, дышит ли он. На основании этого факта прокурор заключает: «Я не знаю, выдержанный он или нет, но решимость и расчетливость в критические минуты у него есть»³. Такое истолкование поступка Мити, обнаружившее совершенное непонимание его характера и явившееся одним из ложных психологических выводов в сочиненном прокурором «романе», вызывает восторженный отзыв со стороны следователя. Он восклицает: «Браво, Иннокентий Кирилыч, я бы этого просто не заметил. Экой вы психолог! Да с вами оставаться страшно: этак вы и мою душу вынете и анатомически рассечете! Блеснете-с!»⁴. Словечко «блеснете-с» характеризует ту особенную атмосферу честолюбивых чаяний, в которой сочинял свой «роман» о Мите Карамазове обиженный служебными неудачами прокурор. Это словечко Достоевский включает и в остальные варианты рассматриваемой беседы. В одном из них следователь говорит о процессе Дмитрия Карамазова, как об «инте-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худ. произведений, т. X, стр. 394.

² Там же, стр. 411.

³ «Ф. М. Достоевский, Материалы и исследования», стр. 241.

⁴ Там же.

ресном дельце прокурору», которым «на всю Россию можно блеснуть», и на возражение собеседника, что у преступника «может явиться рука, выпишут защитника», следует ответ: «Да, но вы их раздавите...— надо служить истине, общему делу». И тут же, в скобках, Достоевский записывает и подчеркивает то имя, которое вспоминается ему в связи с проведенной уже однажды аналогией между «психологическими приемами» прокурора и адвоката и «романом» — художественным вымыслом. Имя это: «Щедрин»¹. Упоминание сатирика в данном контексте носит насмешливо враждебный характер, поскольку следователь как бы цитирует его, употребляя фразу о «служении истине и общему делу», прикрывающую карьеристское стремление прокурора «блеснуть» сочинением «романа», который должен губительно повлиять на судьбу Мити. В скрытой форме эта тенденция проявилась в том, что свою обвинительную речь прокурор подкрепил цитатами из статьи «семинариста-карьериста» Ракитина, по его словам «глубоко и близко созерцавшего всю семью Карамазовых...»

Так завершилась полемика Достоевского с Щедриным в «Братьях Карамазовых». Как мы выяснили, его открытое выступление против сатирика в главе «Золотые прииски» было лишь одним из ее эпизодов. Этому выступлению предшествовал ряд скрытых выпадов, и в такой прикровенной форме Достоевский продолжал полемизировать с Щедриным и после его ответа в «Круглом годе». Что привнесла эта полемика в обрисовку отдельных персонажей и ситуаций романа, мы пытались установить посредством литературного анализа, который, нам думается, уяснил смысл ряда мест в «Братьях Карамазовых», до сих пор остававшийся нераскрытым.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I

«Братья Карамазовы» были закончены Достоевским в ноябре 1880 года, и вскоре он приступил к подготовитель-

¹ «Ф. М. Достоевский, Материалы и исследования», стр. 240. Под словом «Щедрин» в рукописи значится: «кн. Урусов» — фамилия известного адвоката, защищавшего нечаевца Успенского, одного из реальных прототипов Липутина в «Бесах».

ной работе над «Дневником писателя», который намеревался издавать, по примеру прошлых лет, ежемесячными выпусками. Стремление к публицистическим выступлениям не оставляло романиста и в периоды самой напряженной творческой деятельности. Так, летом 1879 года Достоевский писал Победоносцеву:

«Я вот занят теперь романом (а окончу его лишь в будущем году!), — а между тем измучен желанием продолжать бы «Дневник», ибо есть, действительно имею, что сказать, — и именно, как Вы желали, — без бесплодной одноколейной полемики и твердым, не боящимся словом»¹.

Однако полемики Достоевский все же не мог избежать. В следующем, 1880 году, еще не закончив «Братьев Карамазовых», он издал единственный выпуск «Дневника писателя», куда включил свою речь на Пушкинском празднике и обширный полемический ответ ее критику, профессору А. Градовскому. Возражая И. Аксакову, который в связи с этим ответом упрекал его за то, что, «проповедуя нравственные высшие начала, он в изображении безнравственных явлений излишне реален и словно смакует их», Достоевский писал ему 4 ноября 1880 года:

«Ваш тезис мне о тоне распространения в обществе святых вещей, то есть без исступления и ругательств, не выходит у меня из головы. Ругательств, разумеется, не надо, но возможно ли быть не самим собою, не искренним? Каков я есмь, таким меня и принимайте: вот как бы я смотрел на читателей. Заволакиваться в облака величия (тон Гоголя, например, в «переписке с друзьями») есть неискренность, а неискренность даже самый неопытный читатель узнает чутьем. Это первое, что выдает. Ну, как отказаться от полемики и иногда горячей?»²

И действительно, черновые материалы январского выпуска «Дневника писателя» за 1881 год — последнего произведения Достоевского — подтверждают, что он не отказался от горячей полемики со своими идейными противниками. Как бы объясняя необходимость этого страстного спора объективными, не зависящими от него обстоятельствами, Достоевский констатирует:

¹ «Красный архив», т. II, стр. 245.

² Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., изд. 1883 г., т. I, стр. 346. Poleмику с политическими противниками Достоевский издавна считал одним из важных средств распространения своих идей

«Две партии в бою, в настоящем организованном бою. Ложно, если говорят, что нет партий»¹.

Затем следует ряд полемических заметок, направленных против Щедрина и редактировавшегося им журнала, из которых приводим два наиболее цельных отрывка:

«Вас трепещет вся литература, особенно Сатирического старца. — Никто против него не посмеет: дескать, либерал, проеден либерализмом. — Нет, вы полиберальничайте, когда это невыгодно, вот бы я на вас посмотрел»².

Эта тема затронута и в другой записи Достоевского — по поводу щедрина цикла «За рубежом». В первой главе нового произведения сатирика его внимание остановила беседа рассказчика с «бесшабашными советниками» Удавом и Дыбой, из которых один преуспел еще при Аракчеве, исправляя должность «чиновника для чтения в сердцах», а другой сделал значительную карьеру при Муравьеве-вешателе в качестве «чиновника для преступлений»... Эти случайные спутники рассказчика по заграничной поездке, как только пересаживаются в немецкий вагон, начинают развязно фрондировать, пытаются и соседа вовлечь в «вольный разговор». Но последний отвечает на «интимное сквернословие» такими дифирамбами бюрократии и российским порядкам, что ставит тайных советников втупик. Впрочем, за неумеренные восторги рас-

в их среде, чему он придавал особое значение. В этом смысле представляет интерес следующая неопубликованная запись:

«...наши идеи должны заменить нигилизм и проч., и тогда все будет спасено в нашей родине.

Они проникают в философию и даже в подпольное движение». (Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, I $\frac{3}{17}$, стр. 1).

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 17, стр. 2. (Подчеркнуто Достоевским.) Смысл этого утверждения отчасти разъясняется другой, более ранней, записью Достоевского:

«(Михайловскому) Жаловаться: вот, дескать, как с нами поступили (расстреляли Комунаров, Декабристы) — на то шел, да ведь ты сам то же бы сделал — не глупо ли кричать: О как меня мучили. Грустно не это, а то, что не умиротворишь и миром ни за что не кончишь. Да и невозможно примирить ни за что и — и не желательно (ибо лишь на основании Христа примирение возможно). А тут на экономическом расчете, следовательно, чем скорее, тем лучше. Только бедные наши внуки... а может, даже и дети. И уж, конечно, не пройдет этот род и увидит этот божий гром хоть кто-нибудь из теперь живущих». (Там же, опись 1, № 15, стр. 24—25).

² ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 17, стр. 6. (Подчеркнуто Достоевским.)

сказчик поплатился: когда причину неурожаев в России он объяснил тем, что «много уж очень у нас свобод развелось», его замутило: «Сказал, и стошнило меня». В этих мнимых похвалах властям предержащим щедринский сарказм особенно резок и беспощаден.

Во второй главе «За рубежом», посвященной характеристике милитаристского духа германской столицы, Достоевский обратил внимание на одно место, относившееся к Петербургу. Сказав, что берлинские улицы производят гнетущее впечатление «каким-то озабоченным, почти вымученным движением», Щедрин мимоходом заметил: и на Невском в предобеденный час голодные чиновники спешат, не осматриваясь по сторонам, потому что «не до гляденья тут, а как бы подобра-поздорову домой добежать, да чтоб по дороге в участок не свели». Эти последние слова Достоевский прежде всего и комментирует в своей полемической записи:

«Щедрин. Очерки: За рубежом. Отеч. Зап. Сентябрь и октябрь 80 г. «Отведут в участок». То-то и есть, что совсем не отводят в участок. Вот тут-то бы и сатире. Оскорбление женщине (у Палкина) ¹, кража и оскорбление личное, стрельба в Лорис-Меликова, а они только под козырьки. Когда-то, лет сорок назад, отвели Щедрина в участок и вот он испугался. А ведь на прокурорское место. Чуть тюрьму и ссылку не написал. Разговоры с советниками Дыбой и Удавом — верх глупости и лакейства. О Берлинском офицере. А разве вы не выпяливаете самито *грудей* у себя дома? Не ставите себя героем? НВ. Хвалят Щедрина из-за страха перед либерализмом и даже «Отечественными Записками» ².

¹ Петербургский ресторан.

² ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 17, стр. 9. В связи с этой нота-бене и вышецитированной записью Достоевского о «Сатирическом старце» любопытно привести следующую поддержку из рецензии на октябрьскую книжку «Отечественных записок» за 1880 год, помещенной во враждебном им органе периодической печати:

«Со смертью Некрасова, — читаем мы здесь, — Щедрин является царящею силою в журнале... на эту силу идут читатели, ею держится журнал на той высоте, в том почете, какого он, правду сказать, не всегда заслуживает... Для многих он «единственный русский писатель»; кроме него, не признается никто другой достойным носить такой громкий титул... Это полуофициальное признание хотя и грешит сильно против правды в стране, где есть такие колоссы, как Л. Тол-

В январском выпуске «Дневника писателя» за 1881 год цитированные заметки не нашли прямого отражения. Быть может, Достоевский предполагал использовать их в дальнейшем, связав с развернутой критикой нового щедринского цикла. Это тем более вероятно, что уже в первых главах «За рубежом» он мог обратить внимание на полемические высказывания, относившиеся к его Пушкинской речи и ответу А. Градовскому. В первой главе «За рубежом» содержится ироническое замечание Щедрина по поводу утверждения Достоевского в споре с Градовским, что «наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его». Это замечание вложено в уста «мальчика без штанов», и тут же, в репликах собеседника последнего, Достоевский мог уловить сатирическую интерпретацию своих заявлений о России и Европе, сделанных им в Пушкинской речи и в предисловии к ней.

Достоевский в «объяснительном слове» к речи о Пушкине указывал на то, что экономически могущественная Европа «завтра же рухнет», ибо «подкопан и заражен» ее общественный порядок, раздираемый социальными противоречиями. В России же, утверждал он, господствует такое «духовное единение» народа, которое предохранит ее от революционных потрясений. Отсюда следовал вывод, что «вмещать и носить в себе силу любящего и всеединящего духа можно и при теперешней экономической нищете нашей...» На ту же «силу любящего и всеединящего духа» указал Достоевский и в речи о Пушкине, усматривая ее «в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей». Заявляя, что после петровской реформы, в продолжение двух столетий, Россия «служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой», Достоевский видел в этом ее исторический удел, свидетельствующий о том, что ей «предназначено в человечестве высказать новое слово», а именно — «изречь окончательное слово великой,

стой, Гончаров, Достоевский и Тургенев, но тем не менее факт все-таки остается фактом... Сил в литературе, равных Щедрину, — нет. Исключение только представляет г. Достоевский. Он один и только один. Ибо Л. Толстой молчит, Гончаров молчит, Тургенев тоже...»

общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по христову евангельскому закону».

Эта славянофильская концепция «служения Европе» и идеализация материальной нищеты русского народа, который, вопреки ей, якобы являл миру высокий образец «духовного единения» — нерушимый оплот существующего порядка вещей, как будто над ним не тяготел политический и социальный гнет самодержавия и господствующих классов, — нашли сатирическое истолкование в знаменитом разговоре «мальчика в штанах и мальчика без штанов». Узнав от «мальчика без штанов», что в России «весь хлеб нынче саранча сожрала», его собеседник замечает:

«— Слышал я об этом, и очень об вас жалел. Когда наш добрый школьный учитель объявил нам, что дружественное нам государство страдает от недостатка питания, то он тоже об вас жалел. Слушайте, дети! — сказал он нам: — вы должны жалеть Россию не за то только, что половина ее чиновников и все без исключения аптекаря — немцы, но и за то, что она с твердостью выполняет свою историческую миссию... вынося иго саранчи, она... Европе оказывает неоцененнейшую из услуг!»¹.

Далее «мальчик в штанах» бросает и другую реплику, которая дополняет саркастический ответ сатирика на цитированное место из Пушкинской речи Достоевского. «Вот уже двадцать лет, — говорит он, — как вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, а некоторые из вас даже и о каком-то «новом слове» поговаривают, — и что же оказывается? — что вы беднее, нежели когда-нибудь...»²

Эти слова обращены к русскому крестьянскому мальчику, который со своей стороны указывает на существующий государственный и общественный порядок как на основную причину бесправия и нищеты народных масс. Такая мысль выражена в простодушном замечании «постреленка», что он «без штанов *по правилу* ходит». И тут же «мальчик без штанов» поясняет недоумевающему собеседнику сущность этого загадочного «порядка вещей», представляя его наглядным образом: «У нас, брат, без правила ни на шаг... Задуматься, слово молвить — нельзя

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIV, стр. 88—89.

² Там же, стр. 94.

без правила... И в конце всякого правила — или поронцы, или в холодную»¹. Такие «правила» в действительности не располагали к «духовному единению», и это подчеркивает «мальчик без штанов», настойчиво повторяя: «надое-ло, надоело, надоело» и высказывая уверенность в том, что «будет и на нашей улице праздник!..»

III

К вопросу о материальной бедности и единении народа Достоевский вернулся в «Дневнике», который он начал писать в первых числах января 1881 года, за несколько недель до своей внезапной смерти. Попрежнему отстаивая ту мысль, что «основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей по крайней мере, не зависят от экономической силы», Достоевский вместе с тем обращает внимание на такие стороны народной жизни, которые объективно противоречат его утверждению, будто «наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек». Оказывается, что как раз народ — или «корень», как Достоевский именует здесь народ, давая другое название «почве», — нуждается в оздоровлении, ибо он «духовно болен». Эта «жестокая болезнь» проистекает из неутоленной жажды правды, которую народ безуспешно ищет после отмены крепостного права, когда он стал неудержимо стремиться к «полному гражданскому воскресению своему». Отсюда возникло в нем «нравственное беспокойство», сделавшее его беззащитным перед «нигилистической пропагандой». Касаясь проявлений «нравственного беспокойства» в народе, Достоевский характеризует их известным ему случаем, когда крестьяне, волнуемые слухами о переделе наделов, раздумали покупать у соседа-помещика землю, решив, что они ее и «без денег возьмут».

Чтобы внушить народу доверие, надо прежде довериться ему самому. Для этого необходимо смириться пе-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIV, стр. 87. Разговор «мальчика в штанах и мальчика без штанов» был напечатан в сентябрьской книжке «Отечественных записок» 1880 года. Полемический смысл указанных мест в этом диалоге мог быть тем легче разгадан внимательным читателем, что в том же номере журнала появились «Литературные заметки» Михайловского, также направленные против Пушкинской речи Достоевского и его спора с Градовским.

ред ним, преклонившись перед его религиозным сознанием. И Достоевский призывает «интеллигентные сословия», в особенности «светлую, свежую молодежь», к духовному слиянию с народом, убеждая ее бросить «те крайние бредни, которые увлекли было столь многих из нее, вообразивших, что они нашли истину в крайних европейских учениях»¹.

Духовное единство нации, по его мнению, устранило бы и самые острые экономические кризисы, которые побуждали многих, мечтавших об упорядоченных «европейских финансах», желать введения парламентского правления в России. И в первую очередь — «частное землевладение» могло бы «ужиться рядом с мужичьим, с определенной рабочей силой, но здоровой и твердой, а не на пролетариате и кабаке основанной»². Такую «гармонию» помещичьих и крестьянских интересов Достоевский считал осуществимой при установлении социального мира, который в свою очередь мог наступить только в том случае, если интеллигенция проникнется верованиями и идеалами народа. Эту мысль он выразил следующими словами, обращенными от лица крестьянина к «русскому европейцу»: «Полюби сперва святыню мою, почти ты то, что я ты, и тогда ты точно таков, каков я, мой брат, не-

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1877, 1880, 1881 годы, ГИЗ, 1929, стр. 441. Эта мысль поясняется и дополняется следующей неопубликованной записью Достоевского: «Искусственное возбуждение социализма есть (и у нас) — наши юноши уже 30 лет идут (за это) в ссылку за эти бредни. Ибо если там, в Европе, и вопрос, то у нас бредни. У нас много своих социальных вопросов, но совсем не в той форме и совсем не про то. Во-вторых, у нас ужасно много совсем нового и непохожего против Европы, а в-третьих, у нас есть древняя нравственная идея, которая, может быть, и восторжествует. Эта идея — еще издревле понятие свое, что такое честь и долг и что такое настоящее равенство и братство между людьми. На Западе жажла равенства была иная, потому что и господство было иное» (ЦГЛА. Фонд Достоевского, опись 1, № 15, стр. 69).

² К весьма немногочисленным высказываниям Достоевского по крестьянскому вопросу относится следующая неизданная запись второй половины семидесятых годов:

«Всякий должен иметь право на землю. У нас это народное начало. Декабрис[т] Якушкин. Мы ваши, а земля наша. Собствен[ность] — святейшая вещь: личность. Но до известного предела. Немещие бароны, отдельные государи, сплотились же в государство. Безграничную собственность можно сравнить с баронством: у них пролетарии. Но эта безграничность неправильна. Собствен[ность] должна быть ограничена. Но у нас и на Западе! Полное уничтожение собственности ужасно. Не надо бояться неестественностей социаль-

смотря на то, что ты одет не так, что ты барин, что ты начальство...»¹

Достоевский считал, что «духовное слияние сословий» вскоре станет совершившимся фактом. Что же касается «доктринеров сороковых и пятидесятих годов», которые «с ядовитым и преступным азартом препираются... за свои идеи», то эти «умники», полагал он, сами себя разоблачат тем, что останутся в стороне «от всех жаждущих... общей пользы». Не сомневался Достоевский и в том, что осуществление его проекта «оздоровления корней» окажет самое благотворное влияние на всю экономическую жизнь страны. «О, господа министры финансов, — писал он, — не такие бы годовые бюджеты составляли вы тогда, какие составляете ныне! Молочные реки потекли бы в царстве, все идеалы ваши были бы достигнуты разом!»² В обобщенном виде Достоевский формулировал свою мысль такими словами: «Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней — и получишь финансы». И тут же Достоевский добавил: «Ну, разумеется, тотчас же раздастся смех»³. Это последнее замечание дополняется следующим неопубликованным

ных. Коммуна парижская — вредна, потому что бунт и насилие. Лучше позволить по частям охотникам. Что неестественно в этих мечтаниях, то уничтожится само собою, и чем скорей тем лучше. Лучший акробат (вверх ногами). Кончит же тем, что пойдет как все, на ногах» (ЦГЛА. Фонд Достоевского, опись I, № 16, стр. 80). Декабрист Якушкин упоминается здесь как автор мемуаров, из которых приводится заявление крестьян: «Мы ваши, а земля наша». К суждениям Достоевского на эту тему имеют отношение и впервые публикуемые отзывы его о крестьянской общине (из записной книжки 1877 года):

«Уничтожьте у нас общину, и народ тотчас же будет у нас развращен в одно поколение и в одно поколение доставит собой материал для проповеди социализму и коммунизму». (Там же, стр. 158.)

И далее:

«Община держит человека у земли. У нас страсть к бродяжеству и к приключениям... Дайте власть — не справитесь. Лучше держать в узде в общине. В самоуправлении же могли бы быть сделаны изменения». (Там же, стр. 174.)

¹ Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1877, 1880 и 1881 годы, стр. 436.

² Там же, стр. 437.

³ Там же, стр. 429.

диалогом из черновой тетради к январскому «Дневнику писателя» за 1881 год:

«Проект. — Твой проект сатира.

— Какая сатира? Я в самом деле.

— Да вот в «самом-то деле» самые лучшие сатиры и выходят.

— Так, ты думаешь, за сатиру примут?

— Очень может быть.

— На кого? на что? О, если б только они знали, как я искренно»¹.

IV

Рассуждение Достоевского «о финансах и оздоровлении корней» за сатиру никто не принял, но в сатирическом аспекте, как это уже отмечалось в литературе о Щедрина², оно было действительно истолковано. Мы имеем в виду то место в «Современной идиллии» (1882), где между тайным советником Перекусихиным 1-м и странствующим полководцем Редедей, командовавшим в Африке зулусами, происходит следующий разговор:

«— А что, в этой Зулусии... финансы есть? — обратился он к Редее.

— Настоящих финансов нет, а вроде финансов — как не быть!..

— А внутренняя политика у них есть?

— И внутренней политики настоящей нет, а есть оздоровление корней»³.

Но еще раньше, чем в «Современной идиллии», а именно в «Письмах к тетеньке» (1881), то есть к русской интеллигенции, Щедрин полемически отозвался на последний выпуск «Дневника писателя», присвоив Расплюеву роль «делопроизводителя комиссии «Оздоровления корней». И тут же он дал резко отрицательную сатирическую оценку рассуждениям Достоевского о «бреднях», «общей пользе» и внушении доверия народу, характеризуя их, как выражение идеологии отступничества. Так, уже в первом письме, намекая на то, что известная

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1, № 17, стр. 48.

² М. Е. Салтыков (Щедрин), Сочинения, ГИЗ, 1927, т. IV, стр. 690.

³ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIV, стр. 158—159.

часть интеллигенции, сочувствовавшая революционному движению в стране, после царевубийства поспешила оправдаться перед властью ренегатскими поступками, Щедрин высказал свой взгляд на этот знаменательный факт таким саркастическим обращением к «тетеньке»:

«Иногда мне кажется, — писал он, — что управа, рассмотрев наш прежний образ мыслей и приняв во внимание наш образ мыслей нынешний (какой, с божьею помощью, поворот!), просто-напросто возьмет да и сдаст наше дело в архив. Или, много-много, внушение сделает: смотрите, дескать, чтобы на будущее время «бредней» — ни-ни!

— Помилуйте, вашество! кто же нынче о бреднях думает? Бредни... фуй!

Это, впрочем, скажете, тетенька, вы, а не я...

И поедете вы, вся в кружевах и прошивочках, вашу волну по городу с визитами развозить. «Бредни... но ведь это смех, право! Бредни!.. но разве можно без омерзения об этом говорить!» Вот сколько предательства нынче, милая тетенька, развелось!»¹ И дальше Щедрин к этому добавляет: «Я твердо верю, что... так называемые «бредни» ежели и не восторжествуют вполне, то, во всяком случае, будут иметь свое значение на весах будущего»².

Во втором письме к «тетеньке» сатирик вновь затрагивает тему «бредней», но теперь — в связи с вопросом о внушении доверия народу, который он иносказательно именует здесь Корелой, и требованием, чтобы «умники» оставили свои заблуждения ради «общей пользы».

«...Внушать доверие», — замечает Щедрин, — значит перемещать центр «бредней» из одной среды (уже избредившейся) в другую (еще не искушенную бредом). Например, мы с вами обязываемся воздерживаться от бредней, а Корела пусть бредит. Мы с вами пусть не надеемся на сложение недоимок, а Корела — пусть надеется. И все тогда будет хорошо, и мы еще поживем. Да как еще поживем-то, милая тетенька!»³

Высказавшись, таким образом, в том смысле, что если народ проникнется доверием к лживым посулам правительства улучшить его положение, то от этого выиграют

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIV, стр. 291.

² Там же, стр. 346.

³ Там же, стр. 306.

только имущие классы, сатирик затем связывает тему «бредней» с вопросом об «общей пользе».

«С одной стороны, я очень хорошо понимаю, — пишет он «тетеньке», — что, ввиду общей пользы, необходимо отказаться от заблуждений; но, с другой стороны, как только начну приводить это намерение в исполнение, так, незаметно для самого себя, слагаю заблуждениям панегирик. Но, право, это зависит не от меня. Вся обстановка нашего существования такова, что никаким образом от двоегласия не убежишь. В молодости за нами наблюдали, чтоб мы не предавались вредной праздности, но находились на государственной службе, так что все усилия наши были направлены к тому, чтоб в одном лице совместить и человека и чиновника. Это ли было не двоегласие? Теперь от нас требуют, чтоб мы исключительно об общей пользе радели, а между тем далеко ли время, когда в «бреднях» (упразднение крепостного права — разве это не величайшая из «бредней»?) не только ничего потрясательного не виделось, но и прямо таковые признавались благопотребными и споспешествующими? Как тут сообразить?

Знаю я, голубушка, что общая польза неизбежно торжествует, и что затем, хочешь не хочешь, а все остальное придется «бросить». Но покуда как будто еще совестно. А ну, как в этом «благоразумном» поступке увидят измену и назовут за него ренегатом?» Отказ от «бредней» во имя «общей пользы» является ренегатским поступком потому, поясняет далее Щедрин, что на деле эта «общая польза» мало в чем изменилась с тех времен, когда «старинными определениями» она отождествлялась «с пользою квартальных надзирателей»¹. И, желая нагляднее представить, как решительно противоречит требование отказаться от «бредней» свободолюбивому духу передовой русской литературы, Щедрин в третьем письме к «тетеньке» передает то впечатление, которое она должна производить на «трезвенного» интеллигента восьмидесятих годов.

«На днях, — пишет он, — пообедавши, достал я старинные книжки: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Полежаева, еще кой-кого — и стал читать. Хорошо — слова нет, но как-то странно... Для чего все это писалось?

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIV, стр. 312 и 313.

Блестящие мысли, раздражающие подстрекательства, мечты, бредни, а трезвенных слов — ни одного. Скажите, разве современному человеку мечты нужны? нет, ему гораздо приятнее знать, снабжены ли городовые свистками и бодрствуют ли дворники. Ежели снабжены и бодрствуют — он спокоен; ежели не снабжены и спят — он дрожит. Не до Пушкиных нам. Вот когда все устроится прочно, когда во всех сердцах поселится уверенность, что с внутренней смутой покончено, — тогда и опять за Пушкина с Лермонтовым можно будет взяться. Ибо, в сущности, они писали недурно — этого нельзя отрицать.

Не дальше как вчера я эту самую мысль подробно развивал перед общим нашим другом, Глузовым, и представьте себе, что он мне ответил! «К тому, говорит, времени, как все-то устроится, ты такой скотиной сделаешься, что не только Пушкина с Лермонтовым, а и Фета с Майковым понимать перестанешь!»¹

Это неожиданное умозаключение «парадоксалиста» Глузова воскрешает в памяти аналогичный вывод, сделанный Щедриным в «Круглом годе», где им была дана уже известная нам характеристика Федора Павловича Карамазова, как «нечистого животного». Выразив уверенность в том, что «не съест свинья — только и всё», Щедрин продолжал:

«Помилуйте! если бы бог попускал, чтобы свиньи одолевали людей, где же была бы справедливость?»

Ведь эти прожорливые животные вскорости истребили бы весь человеческий род, и в таком случае ужели они управляли бы вселенною?.. Ведь, таким образом, мы будем, пожалуй, лишены возможности читать стихотворения Майкова и наслаждаться произведениями г. Достоевского!»²

Эти мысли отчасти выражены сатириком и в третьем письме к «тетеньке»: «...не надо думать, — читаем мы здесь, — что общество когда-нибудь погибнет под гнетом... уныния и что оно вынуждено будет воспринять хлевные принципы в свои нравы... Надо сейчас же говорить себе: нет, этому нельзя стать! не может быть, чтоб бунтующий хлев покорил себе вселенную!»³ И как раз в этой связи Щедрин и высказал твердое убеждение

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIV, стр. 343—344.

² Там же, т. XIII, стр. 573—574.

³ Там же, т. XIV, стр. 345—346.

в том, что «так называемые «бредни»... будут иметь свое значение на весах будущего».

Наконец, в третьем письме к «тетеньке», как мы отметили выше, Расплюев выведен в роли «делопроизводителя комиссии «Оздоровления корней». В одном из рукописных вариантов этого письма полемическая нота звучит еще отчетливее. Намакая на призыв правительства к обществу оказать ему поддержку в деле искоренения революционной крамолы, Щедрин насмешливо замечает, что насчет цели такого содействия мнения разошлись: «Идеалисты полагают, что оно должно, по преимуществу, иметь в виду изобилие плодов земных; практики думают, что временно можно обойтись и без плодов земных, главной же задачей минуты должно быть оздоровление корней». Председатель же «комиссии практического оздоровления корней» статский советник Дубина считает, что для осуществления этого содействия наступил, после события 1 марта, самый благоприятный момент, так как «умники-то повывелись или попрятались...»¹

Таким-то «умником», якобы образумившимся после правительственного запрещения в 1884 году «Отечественных записок», и представил себя Щедрин в «Пестрых письмах», заявив, что вслед за тем, как «совершенно неожиданно лишился употребления языка», он «сделался способен произносить только служительские слова: «чего изволите?», «как прикажете?», «не погубите!» С презрительной издевкой над властью предрежащей характеризую свое мнимое превращение из обличителя современного ему порядка вещей в благонамеренного обывателя, сатирик пускает полемическую стрелу во враждебный общественный лагерь. Этот выпад заключен в следующей тираде:

«Мало обличать — любить надо», прорицали когда-то наши «почвенники», тонко инсинуируя, что обличение равносильно отсутствию патриотизма и измене. Я же, от себя, в превосходной степени прибавляю: «Мало любить; надо, сверх того, представить несомненные таковой любви доказательства». Раз эти доказательства представлены, можно смело глядеть в глаза будущему»².

Здесь уместно будет указать на тот литературный ис-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XIV, стр. 556.

² Там же, т. XVI, стр. 260.

точник, которым пользовался Щедрин, когда писал цитированные строки. Этот источник — программное «Объявление о подписке на журнал «Эпоха» 1865 г.», основная мысль которого была формулирована такими словами: «Направление журнала неуклонно остается прежнее... Мы попрежнему убеждены, что не будет в нашем обществе никакого прогресса, прежде чем мы не станем сами настоящими русскими. Признак же настоящего русского теперь, это — знать то, что именно теперь надо не бранить у нас на Руси. Не хулить, не осуждать, а любить уметь — вот что надо теперь наиболее настоящему русскому. Потому что, кто способен любить и не ошибается в том, что именно ему надо любить на Руси, — тот уж знает, что и хулить ему надо... и полезное слово умеет он лучше и понятнее всякого другого сказать, — полезнее всякого присяжного обличителя»¹.

Анонимное программное заявление «почвенников» вспомнилось «присяжному обличителю» во время работы над «Пестрыми письмами», может быть, потому, что оно незадолго перед тем было напечатано в первом томе собрания сочинений Достоевского, как принадлежащее его перу. Вслед за журнальным «Объявлением» там был помещен юмористический фельетон «Из дачных прогулок Кузьмы Прутоква и его друга», опубликованный в «Гражданине» 1878 года, причем и в отношении данного произведения авторство Достоевского устанавливалось впервые. Этот фельетон тем более мог привлечь внимание Щедрина, что в нем упоминалось его имя. Говоря в шутовском тоне о самых разноречивых и сенсационных толках, которые возбудил на Елагином острове, близ Петербурга, всплывший в пруду мифологический Тритон, Достоевский приводит имевшее «особенный и почти колоссальный успех мнение известного нашего сатирика, г. Щедрина». Случилось так, что последний, вместе с другими дачниками, оказался свидетелем необычайного происшествия. «Быв тут же на гулянье, он не поверил Тритону, — продолжает Достоевский, — и, рассказывали мне, хочет включить весь эпизод в следующий же номер «Отечественных записок», в отдел «Умеренности и Аккуратности». Взгляд нашего юмориста очень тонок и чрезвы-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., изд. 1883 г., т. I, стр. 35—36 (приложения).

чайно оригинален: он полагает, что всплывший Тритон просто-напросто переодетый, или, лучше сказать, раздетый донага квартальный, отряженный еще до начала сезона, тотчас же после весенних наших петербургских волнений, на все лето в пруд Елагинского острова, на берегах которого столь много гуляет дачников, для подслушивания из воды преступных разговоров, буде таковые окажутся. Догадка эта произвела впечатление потрясающее, так что даже дамы перестали спорить и задумались»¹.

Эти иронические строки связаны с известной нам записью Достоевского о том, что «тема сатир Щедрина — это спрятавшийся где-то квартальный, который его подслушивает и на него доносит»², — записью, вызвавшей сатирика на вышеприведенный ответ в беседе с Г. И. Успенским (см. стр. 287). Полемический эпизод в фельетоне Достоевского «Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга» косвенно отразился и в пятом «Пестром письме», где сатирик, снова воспроизводя цитированную выше фразу из программного заявления редакции «Эпохи», выразился таким образом: «Не обличать надо, а любить», говаривал покойный Прутков, а я с своей стороны присовокупляю: не сомневаться надо (сомневаться-то всякий умеет!), а радоваться»³.

Из нашего анализа видно, что на публицистические высказывания Достоевского в его последнем произведении — январском «Дневнике писателя» 1881 года — Щедрин прямо отозвался в «Письмах к тетеньке», «Современной идиллии» и косвенным образом в «Пестрых письмах». Эти полемические отклики оправдали предвидение Достоевского, что по поводу его «проекта оздоровления корней» «раздастся смех». Но бичующий смех сменяется скорбными размышлениями, когда сатирик обращается к теме «единения с народом». Мы имеем в виду заключительную главу цикла «За рубежом», непосредственно предшествовавшую в печати первому письму к «тетеньке» (о «бреднях») и посвященную теме «исторических утешений и единения с народом».

«Утешайся историей и живи одной мыслью с наро-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., изд. 1883 г., т. I, стр. 44.

² Там же, стр. 370 (вторая пагинация).

³ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XVI, стр. 323.

дом — вот обязательные условия существования современного человека, — писал Щедрин. — И точно: когда жизнь кидает, вместо хлеба, камень, тогда поневоле приходится искать утешений в истории; но ведь, по правде говоря, не история должна утешать, а сама жизнь». И, имея далее в виду высказанную в «Дневнике писателя» мысль о необходимости единения интеллигенции с народом на почве безусловного признания его верований и идеалов, а также намекая на новый правительственный курс так называемой «народной политики», который после события 1 марта был официально провозглашен призывом к населению содействовать верховной власти в ее борьбе с революционной крамолой, Щедрин продолжал:

«Что же касается до единения с народом, то это вопрос едва ли еще не более жестокий, нежели вопрос об исторических утешениях... Не призыва требует народ, а подчинения, не руководства и ласки, а самоотречения. Вы задаете себе задачу: мир, валяющийся во тьме, призвать к свету, на массы болящие и недугующие пролить исцеление. Но бывают исторические минуты, когда и этот мир, и эти массы преисполняются угрюмостью и недоверием, когда они сами неспособны упорствовать, оставаясь во тьме и в недугах»¹.

Эти размышления относились к той «исторической минуте», когда в стране бушевал правительственный террор и реакционные силы стремились погромной агитацией разжечь чувство национальной розни и натравить отсталые, несознательные элементы на передовую русскую интеллигенцию призывом «топить умников»... В это время и была образована придворными кругами «Священная дружина» — антиреволюционная террористическая организация, которую сатирик вскоре разоблачил в знаменитом третьем письме к «тетеньке». И крайне характерно для мировоззрения Щедрина, что именно тогда, напоминая своим читателям о «личностях исключительных», для которых «история служит только свидетельством неуклонного нарастания добра в мире», он делает такое знаменательное признание:

«Этот изумительный тип глубоко верующего человека, — пишет он, — нередко смущал мое воображение, и я

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XVI, стр. 271.

не раз пытался воспроизвести его. Но задача оказывалась непосильною. Нужно иметь и громадную подготовку, и почти сверхъестественное художническое чутье, чтоб отыскать неисчерпаемое богатство содержания в этом внешнем однообразии веры. Часто представлял я себе человека, забытого, затерянного и все-таки обращающего глаза к востоку. Он ясно видит, как горит и пламенеет этот восток, и совсем не замечает, что, на самом деле, и восток и запад, и север и юг — все кругом охвачено непроглядною тьмой. Но ведь это картина — и только; картина, характеризующая лишь момент известного душевного настроения. Повторите этот момент хотя бесчисленное множество раз, вы не выйдете из пределов однообразия, не получите ничего, кроме утомительных перифраз. Чтобы выйти из этого однообразия, необходимо прежде всего понять, что тут главным действующим лицом является «вера» и что представление о «вере» объемлет собой не только всего человека, но весь мир, всю область знания. И вот тот, кто сумеет раскрыть всю беспредельность этого содержания, кто найдет в себе мощь воспроизвести все разнообразие идеалов, которое составляет естественный вывод этого содержания, — тот, несомненно, напишет картину, бесконечное разнообразие и яркость которой зажжет все сердца. Слово утратит вялость, образы будут полны жизни и огня. Но спрашиваю по совести: где тот художник, которому были бы под силу такие глубины?»¹

Какие реальные образы волновали воображение Щедрина, когда он пытался решить огромную художественную задачу создания «изумительного типа глубоко верующего человека», мы узнаем из его письма к Анненкову. Сообщая ему об этом своем творческом замысле, Щедрин в пояснение писал:

«Чернышевский или Петрашевский, все равно. Сидит в мурье, среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают на родину и насвистывают «Боже, царя храни»... И все ему говорят: стыдно, сударь! у нас царь такой добрый — а вы что! Вопрос: проклял ли жизнь этот человек, или остался он равнодушен ко всем надругательствам и все в нем старая работа, еще давно, давно до ссылки начатая, продолжает-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XVI, стр. 268.

ся? Я склоняюсь к последнему мнению. Ужасно только то, что вся эта работа в заколдованной клетке заперта»¹.

Таким конкретным раскрытием давно волновавшей его темы об «исторических утешениях» Щедрин еще раз высказал свое непоколебимое убеждение, что только самоотверженная и бескомпромиссная борьба за кровные интересы угнетенных масс выковывает подлинный исторический оптимизм, прямую противоположность которому являют ренегатские обвинения и сетования и верноподданнический «свист» «примиренных декабристов и петрашевцев».

Этот «свист» возвращает нас к первому выступлению Щедрина против программных заявлений журнала Достоевского «Время» и объясняет причину возникновения спора уже без всяких иносказаний. В подцензурной же печати сатирик, как мы помним, мог только намекнуть на нее саркастической перифразой стиха из «Опасного соседа» В. Л. Пушкина; «Из чести лишь одной я в доме сем *свищу*»... Подчеркнутым им словом, помимо непосредственного адресата, Щедрин отвечал и другим противникам «Современника» и добролюбовского «Свистка», присвоившим их сотрудникам презрительную кличку: «свистуны». Аналогичный характер носит и полемический отклик в «Пестрых письмах», где о людях сороковых годов, изменивших передовым убеждениям своей молодости и перешедших в лагерь реакции, сказано, что они «обратились потом в стадо свиней». Это замечание навело читателей на мысль об евангельском сказании, поставленном эпитафией к «Бесам». И то же евангельское сказание сатирик вспомнил в сказке «Гиена», где завершил его *долголетний спор с Достоевским*. По словам Щедрина, эту сказку он написал для того, «чтобы наглядным образом показать, что «человеческое» всегда и неизбежно должно восторжествовать над «гиенским». Представив реакцию восьмидесятых годов в образе пятнистой гиены-оборотня, наводящей суеверный страх душераздирающим хохотом и визгом, Щедрин выражает свое глубокое убеждение, что, как только люди проникнутся сознанием, «что «гиенство» вовсе не обладает теми волшебными чарами, которые приписывает ему безумный

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XVIII, стр. 323—324.

и злой предрассудок», оно будет «все дальше и дальше удаляться вглубь, покуда, наконец, море не поглотит его, как древле оно поглотило стадо свиней»¹.

Не покидавшее Щедрина убеждение, что «человеческое» всегда и неизбежно должно восторжествовать над «гиенским», воодушевляло его на борьбу с «безумным и злым предрассудком». Из этого убеждения зародилась у него заветная путеводная идея, что «действия героические, подвиги самоотвержения», признаваемые тупо-самодовольными и ограниченными людьми «не более как красивыми безумствами, от которых никаких подспорий в жизни ожидать нельзя», в действительности «освещают тьму будущего», и «плодами их, несомненно, воспользуются грядущие поколения». Отсюда обращение Щедрина к социалистическому будущему человечества. На эту основу своего творческого вдохновения он с наибольшей силой и выразительностью указал в предсмертном шедевре — «Пошехонской старине», из цензурной необходимости назвав социалистические идеалы «отвлеченностями и обобщениями».

«...Прошу читателя не думать, — писал здесь Щедрин, — что я считаю отвлеченности и обобщения пусто-порожнею фразой. Нет, я верил и теперь верю в их живую силу; я всегда был убежден и теперь не потерял убеждения, что *только с их помощью человеческая жизнь может получить правильные и прочные устои. Формулированию этой истины была посвящена лучшая часть моей жизненной деятельности, всего моего существа.* — Не погрязайте в подробностях настоящего, — говорил и писал я, — но воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и сердцам вашим, вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недалезорким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности; в сущности же они представляют собой не отрицание прошлого и настоящего, а результат всего лучшего и человеческого, завещанного первым и вырабатывающегося в последнем. Разница заключается только в том, что, создавая идеалы будущего,

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XVI, стр. 223.

просветленная мысль отсекает все злые и темные стороны, под игом которых изнывало и изнывает человечество»¹.

У

В воспоминаниях современников о Щедрина запечатлены характерные черты его духовного облика, наблюдаемые в продолжительном общении или при случайных встречах. Но, быть может, наиболее живым и цельным предстает нам его образ в следующем коротеньком рассказе о последнем прощании с ним:

«Еще раз и последний я видел его в гробу. Он лежал там как-то съежившись, точно придавленный непобедимой, необъятно-могучей силой. Даже его голова стала как-то меньше. Я не мог смотреть на это тело, задавленное роком, и плакал над ним, как ребенок. Ни одни литературные похороны не производили на меня такого потрясающего впечатления — даже похороны Достоевского. Ведь тот, в конце жизни, все же покорился и даже сделал принципом своей проповеди «смирение» и «покорность». Поэтому его смерть не была такой трагедией, как смерть Салтыкова. Этот не покорялся судьбе до последнего издыхания, боролся за жизнь, за мысль до последнего момента, и даже в гробе, даже мертвый, сохранил на своем лице такое выражение, что, мне казалось, его сжатые уста каждую минуту готовы крикнуть грубым, хриповатым голосом:

— А я все же не покорюсь!

Таково мое общее впечатление и от этого человека, и от его сочинений, и даже от его мертвого тела»².

Это непосредственное и яркое впечатление, возбужденное необычайной силой и целеустремленностью воинствующей мысли Щедрина, дополняется рассказом Михайловского об одной беседе с последним.

«Однажды, — вспоминал Михайловский, — по некоторому особенному случаю, мы разговорились с Салтыковым о картине Каульбаха «Каталаунская битва» или «Сражение с гуннами», — не помню, как она называется.

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XVII, стр. 99. (Курсив наш. — С. Б.)

² Л. Е. Оболенский, «Литературные воспоминания», «Исторический вестник», 1902, № 1, стр. 137.

На этой картине, внизу, на земле, гунны дерутся с римлянами и их союзниками, а сверху, на небе, души погибших в сражении продолжают яростную битву. Салтыкову очень нравилась эта мысль о загробном продолжении земной битвы. В нем, в его личности, эта мысль получила свое осуществление: он умер, но живет и продолжает свою битву жизни; мне кажется, именно потому, что он при жизни много жил будущим»¹.

Впечатление, произведенное на Щедрина картиной «Битва гуннов», объясняется тем, что своеобразно воплощенная художником фантазия была близка его представлению об историческом процессе как бесконечном развитии человечества. «...Если человеческие скитания прекратятся, — писал он в статье «Современные призраки» (1863), — то, стало быть, и отношения человека к внешней природе сделаются когда-нибудь нормальными. Нормальными же они могут сделаться только тогда, когда природа откроет человеку, так сказать, всю грудь свою, когда в ней не останется ни единой тайны... Но это положительно невозможно... Всякое новое открытие заключает в зерне своем новую тайну; впоследствии тайна эта обнаруживается или в виде нового закона, или в виде новой комбинации законов уже исследованных, но и это новое обнаружение повлечет за собой целый ряд новых тайн... Открытия эти доказывают, что не только непрерывно являются новые роды и виды творения, но что и самые законы творения, или, лучше сказать, взгляды человечества на эти законы, непрерывно изменяются».

Высказав свой взгляд на непрестанное овладевание неистощимыми силами природы, как на естественно-исторический фактор беспредельного развития человечества, Щедрин затем обращается к противникам такого воззрения:

«...Если бы можно [было] себе представить, — пишет он, — природу исследованную, истощившуюся и лишенную своей творческой силы, я не понимаю, что же тут будет утешительного? Желать чего-либо подобного, указывать на такое положение вещей, как на цель человеческих стремлений, не значит ли преуказывать на что-то вроде светопреставления? Что тут лестного? Между тре-

¹ Н. К. Михайловский, Полн. собр. соч., изд. 4-е, 1908, т. V, стр. 154.

возною жизнью и спокойною смертью — куда склонится выбор наш? Даже старосветские помещики Гоголя, которые именно *почти* так жили, как должны жить добрые после светопреставления, даже и те только *почти* так жили. Если бы у них не было... более и желаний, они, очевидно, не могли бы существовать иначе, как в спячем виде»¹.

Как мы знаем, почти одновременно с Щедриным на тему о будущем человечества высказался Достоевский. Но, поскольку эта проблема ставилась им в религиозном плане, исходный пункт его размышлений и выводы, к которым он пришел, были совершенно другими, чем у Щедрина.

У Щедрина выбор «между тревожною жизнью и спокойною смертью» не вызывал сомнений. Он не только не усматривал ничего утешительного и «лестного» в мысли о предстоящей гибели человечества и в том, что ожидает его, по религиозным верованиям, после «светопреставления», но до конца дней своих остался убежденным противником учения о смирении и покорности, глашатаем непреклонной борьбы за земные интересы «униженных и оскорбленных». Со сдерживаемым волнением и прозрачною ясностью выстраданной мысли Щедрин сказал об этом в своем последнем обращении к читателю, в вышецитированной главе «Пошехонской старины», выразив заветное убеждение в «живоносной силе» социалистического идеала, осуществление которого — единственный залог светлого будущего человечества.

Характеризуя неразрывную связь с этим будущим людей «убежденной и верующей мысли», Щедрин писал, что она создается их участием в «борьбе настоящего», которая «неизбежно откликнется в тех глубинах, в которых таятся будущие судьбы человечества, и заронит в них плодотворное семя». Это сознание «заставляет усиленное биться сердца поборников правды и укрепляет силы, необходимые для совершения подвига».

Подвиг, благодаря которому Щедрин живет как участник в борьбе настоящего, заключается в том, что свой творческий гений, могучий ум и отважное сердце он безраздельно отдал угнетенным массам, пробуждая и воспитывая ненависть к открытым врагам и лицемерным

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. VI, стр. 385.

друзьям демократии. В продолжение десятилетий наш великий сатирик и публицист непреклонно боролся с реакцией, выставляя на позор и осмеяние попытки оправдать общественный строй, основанный на эксплуатации человека человеком. Какими бы покровами ни облакалось такое оправдание, какими бы казуистическими хитросплетениями ни затемнялось оно, Щедрин разоблачал его подлинную сущность — стремление увековечить социальное неравенство людей, классовый гнет.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

«РАСКОЛ В НИГИЛИСТАХ»

В майском номере журнала «Эпоха» за 1864 год была напечатана статья Достоевского, озаглавленная «Господин Щедрин, или раскол в нигилистах». Этот полемический документ возбудил повышенный интерес у современников, главным образом потому, что в нем нашел отражение нашумевший спор между Щедриным и радикальным «Русским словом». К рассмотрению этого спора, знаменательного тем, что он положил начало резкому и открытому размежеванию в демократическом лагере, неоднократно обращались и историки литературы.

В результате их изысканий появилось несколько версий, характеризующих позицию зачинщика полемики. Статьи Щедрина оценивались то как бестактные выпады желчного публициста «Современника», «бьющего по своим» без всяких принципиальных оснований, то как действия, продиктованные его желанием придать некрасовскому журналу новое направление, то как выступления, свидетельствующие о народнической позиции этого органа, то как высказывания писателя, вообще говоря, более близкого к революционно-демократическому лагерю, нежели Писарев и его группа, но идеологически в начале шестидесятых годов еще не оформившегося.

Что же касается знаменитой полемической статьи Писарева «Цветы невинного юмора», в которой Щедрину давался совет «бросить Глупов» и заняться полезным делом — составлением естественно-научных компиляций, то она трактовалась всего лишь как курьезная обмолвка талантливого критика, не позволяющая судить о сущности его принципиальных расхождений с оппонентом.

Эти выводы, при всем различии точек зрения авторов, писавших о полемике, объединяет, в большей или меньшей мере, одна общая черта, а именно то, что они не являлись результатом конкретного изучения вопроса. Судя по итогам изысканий, не все исследователи

стремились найти обоснование своим утверждениям даже в материале самой полемики; и во всяком случае, никто из них не привлек со стороны материал, который помог бы определить действительное содержание спора и правильно охарактеризовать позиции идейных противников. Отсюда — существенные пробелы в освещении основных моментов полемики.

Чтобы хотя отчасти восполнить эти пробелы, необходимо выяснить следующее:

Чем было вызвано первое выступление Щедрина против «Русского слова» и какие принципиальные разногласия публициста «Современника» с радикалами обнаружились в этом выступлении?

Каково идейное значение статьи Писарева «Цветы невинного юмора», к чему призывала изложенная в ней положительная программа?

Почему Щедрин отвергал не только положительную часть радикальной доктрины, но и нигилистически-отрицательное отношение к действительности, высказанное с наибольшей определенностью Писаревым в статье о романе Тургенева «Отцы и дети»? Какой смысл вкладывал Щедрин в понятие практической деятельности, противопоставляя ее общественному индифферентизму, выраженному в форме безоговорочного и вместе с тем пассивного отрицания окружающей жизни?

Ответ на эти вопросы, характеризующие сущность разногласий и конкретное содержание ожесточенного спора между Щедриным и «Русским словом», мы попытаемся дать в дальнейшем изложении.

I

Полемическая статья Щедрина, опубликованная в январской книге «Современника» за 1864 год, не содержит прямых указаний на обстоятельства, которые побудили его выступить против «Русского слова». Однако, если ее рассматривать не изолированно, а в связи с публицистикой «Русского слова» 1863 года, то обнаружится, что она явилась ответом на ряд принципиальных высказываний главных сотрудников этого журнала — Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, а также его анонимного внутреннего обозревателя. Различные по оттенкам мысли, эти высказывания в общем выдерживали одно направление, всего яснее выраженное в работах Писарева.

В 1863 году Писарев поместил в «Русском слове» две обширные статьи: «Наша университетская наука» и «Очерки из истории труда». Первую статью он заключил утверждением, что только выдающиеся успехи в области естественных наук могут привести к тому, чтобы

«вся жизнь человечества представляла... меньше лишений и страданий, меньше горя и бедности»¹. Затрагивая эту тему вторично, в «Очерках из истории труда», Писарев не игнорировал того кардинального факта, что при капитализме эксплуатация человека человеком не умалется, а неуклонно возрастает, несмотря на все учащающиеся научные открытия. Однако это обстоятельство не побудило его усомниться в том, что он нашел верное средство разрешения мучившей его социальной проблемы. Такое положение вещей, писал он, могло бы заставить «принять эти открытия за новое видоизменение монополий и привилегий, если бы неподкупный дух анализа, пробужденный естественными науками, не проник в исследование существующих форм общественной и экономической жизни»². Поскольку же естествознание несомненно оказывает благотворное воздействие на научное формирование общественных и экономических доктрин, можно надеяться, что последние «со временем обнаружат свое влияние на практическую жизнь, со временем убедят людей в том, что людоедство не только безнравственно, но и невыгодно». «Со временем, — резюмировал Писарев свои размышления, — многое переменится, но мы с вами, читатель, до этого не доживем, и потому нам приходится убажывать себя тем высоко-бесплодным сознанием, что мы до некоторой степени понимаем нелепости существующего». В этом сознании Писарев видел сущность своего «нигилистического» воззрения на действительность, роднящего его с Базаровым, что он выразительно подчеркнул, тут же приведя следующую выдержку из разговора тургеневского героя с Павлом Петровичем Кирсановым:

«— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом! — повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью»³.

Мы далее увидим, как отнесся Щедрин к этим рассуждениям Писарева, пока же ознакомимся с тематически близкими им высказываниями другого видного сотрудника «Русского слова» — В. Зайцева.

Зайцев также придавал чрезвычайно большое значение распространению естествознания, но, в отличие от Писарева, он полагал, что в условиях российской действительности такого рода пропаганда не может содействовать «изменению в социальном быту». «Значение естественных наук, — писал Зайцев, — несравненно скромнее для нас, чем какое они имеют на Западе; оно состоит в том, что в скорбные

¹ «Русское слово», 1863, август, стр. 53.

² Там же, сентябрь, стр. 121.

³ Там же, стр. 134. (Разрядка наша. — С. Б.).

времена нам все-таки остается материал, которым мы можем поддерживать существование наших умственных способностей и препятствовать их совершенному притуплению... На скромном поприще естествознания мы можем встречать человеческие мысли и человеческие понятия. Правда, из этого выходит только то, что мы впадаем в рефлексию и, сидя в трущобе, решаем судьбы мира, который видим в шелку. Практического же приложения не выходит для нас никакого... Мы остаемся только дилетантами естествознания и, вместо того чтобы трудиться, предпочитаем пускаться из своей трущобы в самые смелые гипотезы. Но у нас есть драгоценное сознание, что нам и нечего больше делать...»¹

Эти-то высказывания имел в виду Щедрин, когда в своей полемической статье он писал о «зайцевской хлыстовщине», то есть о сектантском отчуждении «мыслящих реалистов» от практической деятельности.

Общественный индифферентизм, осложненный построением «самых смелых гипотез», Щедрин замечал еще раньше в кружках молодежи, считавшей свой образ мыслей опасным с точки зрения предержавшей власти. Касаясь этой темы, сатирик писал, что некоторые молодые люди «больше всего любят беседовать с приятелями и преимущественно беседуют о светопредставлении», то есть о коренном изменении существующего порядка вещей в отдаленном будущем. Подобное проявление протеста Щедрин признавал совершенно безобидным в политическом отношении. «Это последнее занятие, — указывал он, — до такой степени неподозрительно, что даже люди сведущие и опытные, специально занимающиеся устранением подозрительных занятий, и те находят, что это ничего, допустить можно! «Лишь бы о текущих-то вопросах не рассуждали, лишь бы на практическую-то арену не выходили!» — говорят эти опытные люди и сладко вздыхают, видя, как кротко выносят «дети» невзгоды жизни и как они убиваются над поднятием таинственной завесы будущего»².

Тут же Щедрин указал и на то, какое содержание вкладывается им в понятие «практическая арена». Напомнив, что отмена крепостного права произошла вследствие крестьянских волнений, он сделал для своего читателя из этого обстоятельства такой вывод:

«...Если ты задумываешь что-нибудь вроде возрождения, то должен обращаться за материалами... в то место, где таковые матери-

¹ «Русское слово», 1863, сентябрь, стр. 45. (Разрядка наша. — С. Б.)

² «Наша общественная жизнь», «Современник», 1863, май, стр. 254.

алы действительно обретаться могут. И с этою целью я возобновил в твоей памяти... современную нам крестьянскую реформу». «Вот к этой-то силе и должны мы обращаться и помнить, что какова бы ни была деятельность, но если она ищет себе опору инде, то эта деятельность пройдет мимо, каковы бы ни были ее намерения»¹.

Мы видим, таким образом, на какой «практической арене» Шедрин считал необходимым разрешать «текущие вопросы», — борьба против самодержавного режима и помещичьего господства настоятельно требовала, по его убеждению, сближения передовой интеллигенции с крестьянской массой. Тем самым он подчеркнул, что его характеристика «мальчишества» как политической силы неприложима к той части радикально мыслящей молодежи, которая «убивается над поднятием таинственной завесы будущего», ничего не предпринимая для решения «текущих вопросов».

Шедрин не сомневался в том, что построение «самых смелых гипотез» о судьбах человечества при нигилистическом характере отрицания действительности неизбежно приводит к «малым делам» в оппортунистическом духе. В этом он мог только лишний раз убедиться, ознакомившись с программными высказываниями внутреннего обозревателя в декабрьской книжке «Русского слова» за 1863 год.

Первую часть своего обозрения безыменный автор резюмировал под заголовком: «Что мы сделали в 1863 году и какие наши надежды на 1864-й?» Развивая эту тему, он писал: «Что мы сделали и какие результаты наших дел за 1863 год?.. Что остается за нами и что предвидится хорошего впереди нас?.. Все эти... размышления нам полезны не потому, чтобы можно было бы извлечь из них какие-нибудь назидательные истины. Что прошло, того не воротишь... и мы можем быть уверены, что завтрашний день не будет походить на вчерашний...» Оценивая далее прошедший год, принесший демократическому лагерю тяжкие разочарования, обозреватель подытожил эту часть своих размышлений таким образом: «Наши более чем скромные ожидания не сбылись, наши преждевременные расчеты потерпели злостное банкротство, и вот, сидя у моря, нам приходится снова ожидать погоды»².

Что касается будущего, то автор редакционной статьи возлагал надежды исключительно на рост образования в стране. «Главным... двигателем всякой человеческой деятельности, — аргументировал он свою мысль, — служит степень умственного развития, руководящего нашими силами. Чем меньше ума у народа, тем меньше энергии и

¹ «Наша общественная жизнь», «Современник», 1863, май, стр. 229 и 231.

² «Домашняя летопись», «Русское слово», 1863, ноябрь—декабрь, стр. 43—44.

способности в выполнении своего дела, тем ниже общий итог народного труда... Мозги плохи — значит, плоха и негодна вся общественная жизнь»¹. Не ограничиваясь этими теоретическими положениями, заимствованными у Бокля, автора «Истории цивилизации в Англии», обозреватель затем перешел к формулированию практических предложений, приложимых, на его взгляд, к конкретным условиям русской действительности.

«На что же учиться-то? — спрашивал он. — А на казенный счет или благотворительными мерами нельзя обучить все пятьдесят миллионов безграмотных людей. Поэтому, чтобы не ловить журавлей в небе и действовать более практически, — пока не изменится положение нашего крестьянства, мы должны идти к его образованию другим путем — сближением его с тем образованным классом, какой находится у нас. Пусть этот класс, имеющий возможность и время приобретать познания, расширяет свой круг, пусть купец, мещанин, городской ремесленник, одним словом, все, кто ближе соприкасается с народом, сделаются поумнее, чем мы же видим их теперь. Через них пройдет знание в массу...» И, в соответствии с такой программой действий, внутренний обозреватель радикального органа, неоднократно заявлявшего о политической солидарности с «Современником», провозгласил «первейшей потребностью настоящей минуты» — распространение «элементарных учебных заведений для образования более достаточных классов»².

Выступления сотрудников «Русского слова» дали Щедрина основание заявить о «понижении тона» в лагере радикалов. Такое явление представлялось ему особенно опасным в обстановке правительственной и общественной реакции, которая и без того заметно дезорганизовала ряды сторонников революционно-демократического фронта, породив немало ренегатов и еще больше людей колеблющихся. Последние, естественно, должны были ухватиться за ту мысль, что лучшее будущее для эксплуатируемых масс неизбежно наступит «со временем», без освободительной борьбы, с помощью только одной науки. А что Писарев в это время считал такую борьбу неэкономной тратой сил, следовало из его рассуждений о революционных эпохах в истории человечества. «В истории, — писал он, — трудно отыскать хоть один такой факт, в котором энергия народа, его героические усилия, его жертвы, приносимые трудом и кровью, произвели бы в его образе жизни действительное улучшение, соответствующее подобным затратам... Поэтому все великие эпохи дали до

¹ «Домашняя летопись», «Русское слово», 1863, ноябрь — декабрь, стр. 45.

² Там же, стр. 51.

сих пор людям... приращение налогов и то чувство утомления, которое всегда следует за напряжением сил»¹.

Рассуждения Зайцева и анонимного хроникера «Русского слова» только варьировали этот вывод Писарева. По существу же все вышеприведенные заявления радикалов, в той или иной форме, были направлены против курса на революционное сближение передовой интеллигенции с крестьянством. Поскольку такое направление настойчиво проводили люди, которых многие считали политическими единомышленниками Чернышевского, «Современник» не мог безучастно отнестись к их выступлениям.

II

Полемизировать на тему о необходимости ведения революционной пропаганды в массах мыслимо было, разумеется, только намеками. Поэтому Щедрин, сатирически интерпретируя цитированные рассуждения радикалов, не упоминал о «Русском слове» — его статья предназначалась для узкого круга читателей, которые знали или должны были дознаться, кому и на что она отвечает.

Вначале Щедрин саркастически отозвался по поводу рассуждений внутреннего обозревателя «Русского слова» об итогах старого года и его надеждах на «погодку», которая должна наступить для России после того, как в результате сближения купцов, мещан и ремесленников с «образованным классом» просветится крестьянство... Сказав, что ему «уж давно перестали нравиться «годы», что он «перестал вспоминать о старых и ожидать чего-нибудь от новых», сатирик продолжал, обращаясь к «птенцам» — радикалам:

«Вы, которые еще полагаете различие между старыми и новыми годами... вы, которые надеетесь, что откуда-то сойдет когда-нибудь какая-то чаша, к которой прикоснутся засохшие от жажды губы ваши, вы все, стучащие и ни до чего не достучивающиеся,— все вы можете успокоиться и прекратить вашу игру. Новый год, наверное, будет повторением старого... никакой чаши ниоткуда не сойдет по той причине, что она уж давно стоит на столе, да губы-то ваши не сумели поймать ее; стучать и просить вы будете попрежнему (такое уж крохоборническое назначение ваше), и попрежнему ничто не откроется перед вами...»².

¹ «Очерки из истории труда», «Русское слово», 1863, ноябрь—декабрь, стр. 59.

² «Наша общественная жизнь», «Современник», 1864, январь, стр. 25.

Щедрин, таким образом, дал понять читателям, что неверие радикалов в возможность подготовки массового революционного движения толкает их к оппортунистическому прожектерству, обреченному на очевидную неудачу. Далее сатирик намекнул, что смехотворно-фантастический проект о просвещении русского народа, предложенный хроникером радикального органа, он ставит в один ряд с «самыми смелыми гипотезами» Зайцева относительно судьбы вселенной и размышлениями Писарева насчет «приятного труда», который когда-нибудь станет возможным без революционного изменения существующего порядка вещей. Вместе с тем, стремясь резче подчеркнуть различие направлений Чернышевского и членов группы «Русского слова», Щедрин намекнул на то, что последние, с сочувствием относясь к изображенным автором «Что делать?» подробностям будущей счастливой жизни людей, на основной вопрос эпохи, поставленный в заглавии романа, отвечают: «Нам нечего больше делать», как «сидя в трущобе, решать судьбы мира» и мечтать, что «со временем», когда результатами великих научных открытий «можно будет поделиться со всем человечеством», наступит «новая эра справедливости, физического здоровья и материального благосостояния»¹. Против такой проповеди абсентеизма и пассивного выжидания лучших времен направлена следующая тирада сатирика:

«Ждите же, пенцы, и помните, что на человеческом языке есть прекрасное слово «со временем», которое в себе одном заключает всю суть человеческой мудрости...

Поверьте, что это великое слово, которое может принести немало утешений тому, кто сумеет кстати употребить его. Когда я вспомню, например, что «со временем» дети будут рождать отцов, а яйца будут учить курицу, что «со временем» зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что «со временем» милые нигилистки будут бесстрастно рукою рассекают человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать «Ни о чем я, Дуня, не тужила» (ибо «со временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтоб до тех пор совесть моя была чиста... И так я в своей жизни на эту «чистую совесть» надеюсь, что стараюсь поселить мои надежды даже в сердцах петербургских нигилистов»².

В заключение своей первой полемической статьи Щедрин указал, что она направлена против «раскаившихся нигилистов», которые на-

¹ «Очерки из истории труда», «Русское слово», 1863, сентябрь, стр. 121.

² «Наша общественная жизнь», «Современник», 1864, январь, стр. 26.

чали «исподволь поговаривать о «скромном служении науке», мотивируя это тем, что «наука... все даст со временем». Воспроизведя почти текстуально утверждения Зайцева и Писарева, сатирик подчеркнул, что они рассуждают «уже слишком приблизительно к «Русскому вестнику»¹.

III

Этот полемически-заостренный вывод, сделанный в анонимной редакционной статье, не позволял усомниться, что «Современник» решительно порвал со своим недавним союзником. Поскольку «Современник» и «Русское слово», начиная с осени 1861 года, совместно вели ожесточенную борьбу против соединенных сил реакционно-либерального лагеря, внезапный разрыв между ними, естественно, вызвал злорадный интерес всей печати, враждебной демократическому фронту. «Раскол в нигилистах» стал злобой дня. Еще большую сенсационность неожиданное событие приобрело после выхода в свет очередной, февральской, книжки «Русского слова», где были помещены статьи Писарева «Цветы невинного юмора»² и фельетон Зайцева «Глуповцы, попавшие в «Современник».

Крайне отрицательная характеристика литературной деятельности Щедрина, данная в «Цветях невинного юмора», общеизвестна. И если бы содержание этой статьи исчерпывалось утверждениями Писарева, что сатирик — типичный представитель «чистого искусства», потешающий невзыскательную публику «невинной» юмористикой, безидейный писатель, лишенный способности сколь-нибудь самостоятельно мыслить, случайный и временный гость в демократическом лагере, то оставалось бы только указать, что такие оценки являлись почти дословным повторением полемических выпадов Достоевского против Щедрина. Но дело в том, что Писарев, в отличие от Достоевского, с присущей ему прямоотой и горячей убежденностью раскрыл перед читателями и то принципиальное основание, из которого исходила его решимость «разрушить пьедестальчик маленького кумира» передовой молодежи. Эти объяснения радикального критика, занимающие центральное место в его полемике с Щедриным, до сих пор не обращали на себя должного внимания исследователей, вследствие чего существенное содержание

¹ «Наша общественная жизнь», «Современник», 1864, январь, стр. 27 и 28.

² Писаревская статья была написана до выхода в свет январской книжки «Современника» (вышла 14 февраля — см. «С.-Петербургские ведомости» от 14 февраля 1864 г.); редакция «Русского слова» получила ее 15 февраля.

«Цветов невинного юмора» оставалось не до конца выясненным. В дальнейшем изложении мы попытаемся восполнить этот пробел.

Главное обвинение, предъявленное Писаревым сатирику, сводилось к тому, что он, мастерски владея формой словесного выражения, «не имеет потребности высказывать обществу какие-нибудь идеи» и не желает сознательно воздействовать на «развитие общества в том или другом направлении». Отсюда Писарев делал вывод, что Щедрин «не мыслитель, не общественный деятель и не поэт в высочайшем и забытом теперь значении слова», а всего-навсего лишь жрец «чистого искусства», по недоразумению принимаемый молодым поколением за выразителя передовых идей современности. Считая необходимым раз навсегда покончить с таким вредным для молодежи заблуждением, Писарев подверг крайне пристрастному и одностороннему разбору некоторые произведения Щедрина и без всяких оговорок заявил, что интеллектуальная бедность автора, «толкующего с чужого голоса», низводит его сатиру до жалкого уровня «невинного хихиканья».

С чьего же голоса, по наблюдению Писарева, толковал Щедрин и в чем именно выразились эти толки в «Невинных рассказах» и «Сатирах в прозе», над которыми произнес беспощадный приговор знаменитый критик? Как мы сказали выше, на эти вопросы автор «Цветов невинного юмора» ответил совершенно недвусмысленно.

«Смеяться над безобразием глуповца,— писал он,— все равно что смеяться над уродством калеки или над дикостью дикаря, или над неопытностью ребенка; все эти смехи не дают решительно ничего ни тому, кто смеется, ни тому, кого осмеивают... Что же касается до ограждения молодежи от возвращения к старине, то и тут смех г. Щедрина равняется нулю. Нас ограждает от пошлости не смех над пошлостью, а то внутреннее содержание, которое дает нам чтение и размышление... У нас есть теперь это содержание, и есть основание думать, что оно у нас с каждым годом будет увеличиваться; это содержание заключается в изучении природы и в изучении человека... Наука создает мыслящих людей; если она таким образом перевоспитывает человеческую личность, если ее влияние неотступно следует за человеком... то, без сомнения, скромное изучение химических наук и органической клеточки составляет такую двигательную силу общественного прогресса, которая рано или поздно — и даже скорее рано, чем поздно, — должно подчинить себе и переработать по-своему все остальные силы... Если естествознание обогатит наше общество мыслящими людьми, если наши агрономы, фабриканты и всякого рода капиталисты выучатся мыслить, то эти люди, вместе с тем, выучатся понимать как свою собственную пользу, так и потребности того мира, который их окру-

жает. Тогда они поймут, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собою; поймут, что выгоднее и приятнее увеличивать общее богатство страны, чем выманивать или выдавливать последние гроши из худых карманов производителей и потребителей... Для того, чтобы подобные превращения были возможны и даже обыкновенны, необходимо только, чтобы в нашем обществе постоянно поддерживалась та свежая струя живой мысли, которую вносит к нам зарождающееся естествознание»¹.

Мы видим, что Писарев именно в полемике с Щедриным обстоятельно разъяснил, каким образом, по его представлению, научные доктрины — и прежде всего естествознание — «со временем обнаружат свое влияние на практическую жизнь». Но в этой основной части своего выступления он задевал не только Щедрина.

Положительная программа радикалов, изложенная Писаревым в «Цветах невинного юмора», решительно противоречила направлению «Современника». Еще в 1859 году Добролюбов, говоря об упованиях «прекраснодушных ученых» на «дальнейшие успехи просвещения в европейских капиталистах», разъяснял читателям, что «с развитием просвещения в эксплуатирующих классах только форма эксплуатации меняется и делается более ловкою и утонченною, но сущность все-таки остается та же, пока остается... возможность эксплуатации»; а такая возможность останется у господствующих классов до тех пор, покуда «сила и власть общественная будут в их руках...» Эта «практическая истина», проверенная опытом истории, предостерегает от наивных надежд «на великодушие старших братьев в отношении к меньшим». Она же учит и тому, что «идеального совершенства» в области политических и социальных отношений невозможно достигнуть «без всяких жертв и потрясений». Ожидать мирного, не революционного общественного развития в России, как и в Европе, не приходится, ибо «совершенно логического, правильного, прямолинейного движения не может совершать ни один народ при том направлении истории человечества, с которым она является перед нами с тех пор, как мы ее только знаем...» Следовательно, «уклонения, перерывы необходимы»; иначе говоря, революционный процесс — явление совершенно закономерное. В создавшихся условиях «существенные улучшения народного быта» могут произойти только под воздействием «практических требований народа», а не в результате «убеждения умных людей», как полагают те, кто надеется просвещением эксплуататоров существующий порядок вещей «изменить и совершенствовать исподволь, понемножку»².

¹ «Цветы невинного юмора», «Русское слово», 1864, февраль, стр. 38—41.

² Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 391—394.

Эти суждения Добролюбова, замечательные по широте кругозора и глубокому проникновению в сущность исторического процесса, с совершенной ясностью свидетельствуют о том, как бы он отнесся к позиции Писарева. Но сам Писарев на первых порах был убежден, что Добролюбов точно так же, как он, оценил бы факт возросшего в России интереса к естественным наукам.

«Если бы Добролюбов был жив,— писал Писарев в «Цветях невинного юмора»,— то можно поручиться за то, что он бы первый понял и оценил это явление. Говоря проще, он посвятил бы лучшую часть своего таланта на популяризирование европейских идей естествознания и антропологии. В его время интерес еще не был пробужден, и такие статьи рисковали остаться не прочитанными; теперь дело пошло на лад, и, сообразно с обстоятельствами, должна измениться задача прогрессивного литератора; но г. Щедрин, разумеется, этого не понимает, и все тянет попрежнему старую ноту, завещанную ему его молодым учителем»¹.

Последней фразой Писарев засвидетельствовал, что он выступает против Щедрина как выразителя революционно-демократического направления в литературе. Под «старой нотой», завещанной сатирику Добролюбовым, разумелся «смех над безобразием глуповца», в котором звучал призыв готовиться к освободительной борьбе в тесном единении с народными массами. Этот смех Писарев воспринимал как «невинное хихиканье» не в годы деятельности Добролюбова, разумеется, а в то время, когда он полемизировал с Щедриным, потому что был убежден в его совершенной безвредности для самодержавного режима и эксплуататорского строя жизни. Но зато, на взгляд Писарева, он «вредил разумному общественному развитию», поскольку «отвлекал только от настоящего дела некоторую часть нашей свежей и умной молодежи», мешая ей усвоить то положение, что «акклиматизация естествознания в нашем обществе неизмеримо полезнее для нашего народа... чем всякие добродетельные толки о необходимости сблизиться с народом...»².

Сущность разногласий вождя «мыслящих реалистов» с направлением «Современника» в этом важнейшем вопросе рельефно оттенена сравнительной характеристикой Добролюбова и Писарева, данной горячим приверженцем последнего, Н. В. Шелгуновым, в 1870 году. В статье Шелгунова, в которой он, по собственным словам, «бросил перчатку молодому поколению за Писарева»³, мы читаем:

«И Добролюбов и Писарев, в сущности, оба популяризаторы; но

¹ «Русское слово», 1864, февраль, стр. 40.

² «Цветы невинного юмора», «Русское слово», 1864, февраль, стр. 41.

³ «Литературное наследство», 1936, № 25—26, стр. 396.

Добролюбов говорит гораздо строже, точно он обращается к людям солидным и равным; Писарев говорит проще и пространнее... В манере Добролюбова, если хотите, есть нечто берневское, на которого он и походит по своему политическому мировоззрению; в Писареве же больше гейневской расплывчивости и многообразия... Добролюбов пишет иногда, точно пришла пора действовать; Писарев знает, что действовать нечего, и потому популяризирует... Добролюбов указывает дорогу общественным стремлениям, Писарев заставляет задумываться над единичным поведением; Добролюбов хочет пробудить энергию, Писарев — научить думать. Добролюбов дает чувствовать свою страстность; убеждая, он возбуждает, горячит, злит; Писарев находит, что возбуждать страсть незачем... Добролюбов действует через страсть на ум и верит в прогрессивные силы общества; Писарев не верит в эти силы и думает, что сначала нужно исправить суждение и научить мыслить»¹.

Легко заметить, что Шелгунов ошибался, когда настойчиво подчеркивал как совершенно оригинальную черту Писарева его желание «научить мыслить» читателей. Эта задача, без сомнения, стояла на первом плане и перед Добролюбовым. Но зато он вдумчиво отобрал и ярко выделил отличительные особенности мировоззрения Добролюбова, характеризующие его страстное желание пробудить революционную энергию, возбудить ту великую «жажду подвига», которую призывал «развивать и воспитывать» в молодом поколении Щедрин.

К этому необходимо только добавить, что в последний период своей жизни Писарев примкнул к революционно-демократическому направлению русской общественной мысли. Наглядным свидетельством серьезного поворота в литературной деятельности замечательного критика служит одно из самых выдающихся его произведений — «Генрих Гейне»². В этой работе Писарев дал блестящую по форме и глубокую по идейному содержанию самокритическую оценку «гейневской расплывчивости и многообразия», в самых существенных пунктах солидаризовавшись со «страстным политическим бойцом» Берне, который «сурово-печально» об-

¹ «Литературное наследство», 1936, № 25—26, стр. 403.

² Еще недавно принято было считать, что «Генрих Гейне» написан в 1862 году; с такой датой эта статья была включена в одно издание сочинений Писарева, вышедшее в свет после его смерти. В действительности же, как совершенно ясно видно из самой работы (здесь цитируются VII и XI томы сочинений Гейне, изданные на русском языке в 1866 году), она могла быть написана не ранее 1866 года. Неверная дата, принятая без критики исследователями, повлияла на их анализ развития общественных взглядов Писарева, а иных авторов привела и к ошибочной характеристике последнего периода его литературной деятельности.

личал Гейне в несерьезном, двойственном отношении к революционному действию. Такое отношение Писарев объяснял «политическим безверием» Гейне, тем, что он, как «разочарованный прогрессист», был «заранее убежден... что народ и после переворота останется при своей прежней, грязной нищете»¹.

Тут же Писарев разъяснял читателям, что ущерб, который проистекает из революционных переворотов, вызванных настоятельной необходимостью разрешить социальные противоречия, «ничтожен в сравнении с тем вредом, от которого они спасают, так точно, как вред, наносимый меркуриальным лекарством, ничтожен в сравнении с тем вредом, который причинило бы развитие сифилитической болезни»². Найти действительный выход «из лабиринта лишений и страданий» угнетенные массы могут только на путях революции, в ином случае их ждет неминуемая гибель. «Тот народ, который готов переносить всевозможные лишения и терять все свои человеческие права, лишь бы только не браться за оружие и не рисковать жизнью, находится при последнем издыхании. Его непременно поработят соседи или уморят голодной смертью домашние благодетели»³.

Эти высказывания Писарева настолько определены, что не требуют комментариев. И потому мы отметим только одно относящееся к ним обстоятельство. После того, как Писарев пришел к убеждению, что революционные перевороты являются великими двигателями общественного прогресса, резко изменилась и его оценка роли масс в историческом процессе. Он теперь видит, что «в цивилизованной Европе трудно найти хоть один уголок, в котором самосознание масс не обнаруживало бы, хоть мимолетными проблесками, самого серьезного и неизгладимо-благодетельного влияния на общее течение исторических событий»⁴. Теперь он считает несомненным, что когда «в этой массе... начинает созревать неотложная потребность отдать себе строгий и ясный отчет в том, что мешает ей жить здоровою человеческою жизнью», в недрах ее «вырабатывается, из бесчисленного множества разнороднейших элементов и под влиянием тысячи содействующих и препятствующих условий,— тот великий глас народа, который действительно, рано или поздно, всегда... определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий».

¹ Д. И. Писарев, Полн. собр. соч., изд. 5-е, Ф. Павленкова, 1911, т. II, стр. 296.

² Там же, стр. 295.

³ Там же.

⁴ «Французский крестьянин в 1789 году», «Отечественные записки», 1868, июнь, стр. 223.

Такая решительная перемена в воззрениях Писарева произошла незадолго до его безвременной смерти (он утонул 4 июля 1868 г.). Еще в 1867 году Писарев высказывал противоречивые суждения, которые свидетельствовали о происходившей в нем внутренней борьбе. То, что эти колебания поборола «старая нота», завещанная Чернышевским и Добролюбовым молодому поколению, и сделало для Писарева возможным его присоединение к «Отечественным запискам» Некрасова и Щедрина.

IV

Такой развязки конфликта нельзя было предвидеть в 1864 году, и вторую полемическую статью Щедрин написал еще более резко, чем первую. Ему пришлось отвечать сразу двум противникам. Правда, Зайцев ничего не добавил к писаревскому выступлению в смысле принципиальном, но зато он извратил самую суть спора полемическим маневром, рассчитанным на доверчивую аудиторию. Зайцев представил дело таким образом, что Щедрин, после того как «целый год... носил костюм Добролюбова», сбросил, наконец, маску и выказал реакционное нутро «экс-администратора», бывшего царского бюрократа, ныне вновь «возвращающегося под родительский кров»¹. Этот вымысел о коварном политическом враге, пробравшемся в редакцию «Современника», «обосновывался» утверждением, что саркастическая тирада Щедрина относительно «раскаившихся нигилистов» была якобы обращена ко всему молодому поколению, а его скептический отзыв об элементах утопизма в романе «Что делать?» имел целью унижить Чернышевского. Отсюда следовал тот вывод, что «совместить в себе тенденции остроумного фельетониста с идеями Добролюбова журнал, уважающий себя, не может», и «Современнику» «надо выбирать одно из двух: или идти за автором «Что делать?», или смеяться над ним»².

Выступив с защитой молодого поколения против мнимых злоумышлений «будурующего сановника», Зайцев по сути дела за чужой спиной укрылся от обличений сатирика, направленных в его собственный лагерь — радикалов из «Русского слова». На этом обстоятельстве главным образом и остановил внимание читателей Щедрин во второй полемической статье, опубликованной в мартовской книге «Современника» за 1864 год под названием «Наша общественная жизнь».

Свой ответ сатирик начал с указания на то, что прекращаю-

¹ «Русское слово», 1864, февраль, стр. 34.

² Там же, стр. 42.

щиеся толки о молодом поколении, которые вызвал Тургенев романом «Отцы и дети» (1862), нисколько не уясняет истинного значения возбужденного вопроса, поскольку они «смешивают понятие о деятелях с понятием о деле и, ставя на главный план первое, значительно заслоняют второе»¹. Вследствие ревнивого цензурного наблюдения, касаться этой запретной темы приходится «с величайшей осторожностью и крайнею, почти рабскою изворотливостью»; мысль автора известного направления «обязывается отыскивать самый, что называется, из бисеру бисер и притом с таким расчетом, чтобы ни один слишком любознательный читатель не мог сказать: а-а! да вот ты откуда, почтеннейшая, идешь! но чтобы можно было во всякое время такому читателю ответить: нет, ты клеветашь! я совсем не оттуда иду, а я просто гуляю!»².

Безусловная невозможность хотя бы в самых общих чертах охарактеризовать положительное содержание идеологии передовой молодежи и того дела, которому она призвана служить, препятствует вскрыть до конца всю бессмысленность злостной выдумки, гласящей, что молодое поколение «сплошь одарено способностью испускать из себя гангрену разрушения»³. Эта инсинуация сродни широко распространенной мысли, будто демократическая молодежь заражена «нигилизмом», то есть руководится в своем резко отрицательном отношении к окружающему не положительным идеалом лучшего социального порядка, а исключительно принципом отрицания для отрицания. Хотя такое утверждение в корне ложно, «слово «нигилизм», не имеющее смысла и всего менее характеризующее стремления молодого поколения, в которых можно, пожалуй, различить всякого рода «измы», но отнюдь не нигилизм», приобрело «право гражданственности». Но произошло это «совсем не потому, что его пустил в ход г. Тургенев (это-то бы еще не большая беда), а именно благодаря тем вислоухим, которые ухватились за него, словно утопающие за соломинку, стали драпироваться в него, как в некую златотканную мантию, и из бессмыслицы сделали себе знамя»⁴.

Чтобы уяснился конкретный смысл обвинения, брошенного сатириком по адресу радикалов, надо припомнить, как была интерпретирована врагами «Современника» статья Писарева о Базарове, провозгласившая тургеневского героя типическим представителем молодого поколения.

Одним из первых отозвался на писаревское выступление Катков и использовал его для опровержения оценки «Отцов и детей», ко-

¹ «Современник», 1864, март, стр. 47.

² Там же, стр. 48.

³ Там же, стр. 49.

⁴ Там же, стр. 58.

тору дал «Современник» в статье Антоновича, напечатанной Чернышевским. Заявив о своем убеждении, что критик «Современника» проявил «неискренность в дурных отзывах о Базарове», что на самом деле его «гнетет определенность этого образа» и он желал бы «замазать эту живую фигуру», Катков с торжеством констатировал тщетность стараний Антоновича ввиду диаметрально противоположных высказываний «совершенно единомышленного ему писателя». «Г. Писарев,— указывал Катков,— восторженно благодарит автора за художественное изображение Базарова, в котором он видит истинный тип лучших и сильных умов нового поколения... Он с удовольствием и признательностью принимает титул нигилиста. Он приветствует героя именно в этом качестве». «Теперь спрашивается, каким же образом критик «Современника» отрицает существование нигилизма? Каким образом не признает он никакой связи между Базаровым и действительностью и отнимает у него право быть героем нашего времени? Допустим, что он искренно так думает, но вот г. Писарев показывает ему свою особую, что он ошибся»¹.

Так истолковал выступление Писарева злейший враг «Современника» Катков, который опубликовал в своем журнале роман Тургенева с политической целью — нанести удар демократическому фронту, и в дальнейшем немало упражнялся над «доказательством» того, что революционное мировоззрение исчерпывается бессмысленным «отрицанием ради отрицания».

Во враждебном «Современнику» духе использовал статью Писарева и сподвижник Каткова — Щербань, близкий в то время и к Тургеневу. «Для всех непринужденных глаз,— писал он,— Базаров — неприятная личность, чтобы не сказать более... Восхищаться неказистыми чертами, составляющими особенность базаровского типа, или даже только признавать, что эти черты существенная его принадлежность — значит компрометировать себя и ронять свое направление... Г. Писарев, как прогрессист молодой, отчасти не сообразил этого, отчасти увлекся юношеским желанием хоть рискнуть, «да показать себя толпе» и решился, аплодируя Базарову, узнать в нем своего человека. Но г. Антонович муж осторожный и опытный. «Показываться толпе» ему невыгодно, на заведомый риск его не подденешь, и вот он бранит характеристические признаки тургеневского Базарова, кричит, что настоящие Базаровы не такие, что г. Тургенев налгал на молодое поколение. Не верьте этому крику... Это он притворяется... Это истинный змей по премудрости, змей не простой — кандидат в очковые змеи!.. Вот послушайте г. Писарева:

¹ «Роман Тургенева и его критики», «Русский вестник», 1862, май, стр. 409—411.

он в восторге от Базарова, он видит в нем не урода, а истинного героя, в его мнениях — самую передовую мудрость...»¹

Критик «почвеннического» «Времени» Страхов, который еще раньше, полемизируя с «Современником», убеждал читателей, что «г. Чернышевский и г. Писарев не расходятся в своих существенных взглядах», хотя первый «полагает, что он строитель», а второй «прямо говорит, что он разрушитель»², также не преминул использовать писаревскую статью с целью уложить революционно-демократическое направление в плоскую формулу «отрицания ради отрицания». Чуть ли не первый, Страхов печатно указал, что «система убеждений, круг мыслей, которых представителем является Базаров», выражались в литературе «двумя журналами: «Современником», уже несколько лет проводившим эти стремления, и «Русским словом», недавно заявившим их с особенною резкостью». Поэтому компетентными судьями для решения вопроса, «верно ли схвачено базаровское направление» в тургеневском романе, Страхов считал «те самые журналы, которые прямо заинтересованы в деле»³. Обратившись к мартовской книге «Современника», он узнал, что «Отцы и дети» «представляют клевету на молодое поколение», и из этого отзыва заключил о намерении журнала Чернышевского «убить г. Тургенева во мнении читателей».

Однако опасения Страхова, навеянные отзывом «Современника», вскоре рассеялись: «не успела выйти в свет его грозная книжка, как явилась статья г. Писарева, составляющая столь радикальное противоядие злым намерениям «Современника», что лучше ничего не остается желать». Тем самым задача критика «Времени» значительно облегчилась, ибо его защиту Тургенева могли заподозрить «в задних мыслях» (поскольку он выказал себя идейным противником «Современника»), но «кто усомнится в г. Писареве? кто ему не поверит?» Всем известно его исключительное прямодушие, которое «состоит в безутайном и ничем не ограничиваемом проведении своих убеждений до края, до последних выводов». И «благодаря этому драгоценному свойству, роман Тургенева получил блистательнейшее подтверждение...» Отныне уже не приходится сомневаться в тождестве «базаровского направления» со взглядами передовой молодежи, раз Писарев, «человек молодого поколения, свидетельствует о том, что Базаров есть действительный тип этого поколения и

¹ «Диковинки русской журналистики», «Современная летопись», 1862, № 18, стр. 17—18.

² «Пример апатии», «Время», 1862, январь, Н. Страхов, «Из истории литературного нигилизма», стр. 102—103.

³ «Время», 1862, апрель, стр. 55.

что он изображен совершенно верно»¹. А так как для автора «Отцов и детей» (насколько можно судить по некоторым указаниям, которые «похожи на дело») «публичным представителем» молодого поколения служил «Современник», то свидетельство Писарева, единомышленника Чернышевского, является порукой и тому, что Тургенев «понимает идеи «Современника» вполне». Такое понимание художник доказал, воплотив в образе главного героя «Отцов и детей» наиболее характерные «современные черты», выражающие «веяние нового духа». Базаров — теоретик-аскет, для которого «деятельное участие в окружающей жизни невозможно». Базаров «отрицает эстетические наслаждения... не хочет любоваться природою и не признает искусства», потому что «не желает примириться с жизнью» и «отвергает поклонение идеалам». Базаров отрицает и науку, так как не признает «никаких общих методов, общих законов», достоверными считает лишь «факты, частные явления». Наконец, Базаров последовательно отвергает пропаганду, ибо проповедь является свидетельством «признания прав мысли, силы идеи», между тем как право он признает только за силой и свое отрицание выводит исключительно из личного ощущения.

Такие отклики на писаревского «Базарова» объясняют, почему Щедрин обвинил радикалов, что главным образом с их помощью утвердилась в 1862 году выгодная для врагов революционного лагеря клеветническая версия о «нигилизме» молодого поколения². Но он говорил не только о прошлом. И в 1863 году, когда, вследствие объединения сил правительственной и общественной реакции, эти провокационные толки еще больше обострились, «Русское слово», в статье Зайцева, продолжало настаивать, что «Базаров — живой человек» и Тургенев мог нарисовать такой реалистический образ, потому что «знает молодежь» и «принадлежит к ней... по желаниям и

¹ «Время», 1862, апрель, стр. 56.

² Вышеприведенные отзывы на писаревскую характеристику Базарова не учтены в статье Н. Четуневой («Добролюбов и Писарев — критики Тургенева», «Литературный критик», 1938, № 11). Автор утверждает, что своим шумевшим выступлением Писарев «отвоевал Базарова у реакционеров», в противоположность Антоновичу, «статья которого не противостояла реакционной критике, а, хоть и против своей воли, целиком отдавала Базарова в руки этой критики». Между тем статья Антоновича, редактировавшаяся Чернышевским, имела то неоспоримое принципиальное достоинство, что в ней было совершенно отчетливо указано на допущенное Тургеневым при обрисовке образа Базарова тенденциозное смешение идеологии «Современника» и «Русского слова». Антонович писал, что Тургенев «перепутал современные направления, перетолковал чужие мысли, взяв понемногу из разных воззрений и сделал из всего этого кашу и вишнегет под названием «нигилизма». Антонович, далее, был безусловно прав, когда он резко протестовал против полемической попытки

образу мыслей»¹. Поэтому Щедрин, уже имея в виду не прошлое, а настоящее, в рассматриваемой полемической статье утверждал, что «все более содействуют заблуждению публики некоторые вислоухие и юродствующие, которые с ухарскою развязностью прикомандировывают себя к делу, делаемому молодым поколением». И тут же он подчеркнул, что его январское обозрение общественной жизни было написано именно с той целью, чтобы «отличить этих вислоухих и юродствующих и изъять их из общего представления о молодом поколении»².

Поскольку «Русское слово» резко опротестовало такую постановку вопроса, Щедрин остановился на нем подробнее. Указав, что его первая статья вызвала переполох в «одном невинном, но разухабистом органе невинной нигилистской ерунды», где стали доказывать, что он «всегда был та кой», но раньше притворялся, а теперь, наконец, «не выдержал и обнаружил свою настоящую суть», Щедрин писал:

«Да, я всегда был такой, но и в прошлом году отнюдь не притворялся и высказывал свои мнения с полною откровенностью. Вислоухие никогда не прельщали меня. В прошлом году, как и ныне, я с сожалением смотрел на людей, которые в слове «нигилизм» обрели для себя какую-то тихую пристань, в которой можно отдыхать свободно, по временам делая набег в область ерунды... И если я выражал свою мысль не всегда одинаково рельефно, то это происходило, во-первых, оттого, что сюжет сам по себе еще слишком деликатен, а, во-вторых, оттого, что при срочной журнальной работе трудно и требовать, чтобы писатель был всегда одинаково ясен и изобразителен»³.

Тургенева подменить действительное направление «Современника» формулой беспринципного базаровского отрицания, когда он выступал против автора «Отцов и детей», потому что тот стремился «представить дело так, будто бы отрицание происходит вследствие ощущения: «приятно отрицать, мозг так устроен и баста»: отрицание — дело вкуса, одному оно нравится так же, как другому нравятся яблоки». Этот вопрос — о характере отрицания — был центральным в спорах, разгоревшихся вокруг «Отцов и детей»; его главным образом заостряла реакционная и либеральная печать в борьбе с «Современником», и позицию Писарева она использовала в полной мере. Не разобравшись в этом вопросе, тов. Четунова не могла дать верную оценку тем статьям Писарева, в которых содержится характеристика Базарова, и пришла к парадоксальному выводу, что и в них он явился «подлинным продолжателем добролюбовской критики».

¹ «Взбаламученный романист», «Русское слово», 1863, октябрь.

² «Наша общественная жизнь», «Современник», 1864, март, стр. 56 и 57.

³ Там же, 1864, март, стр. 57.

Действительно, в 1863 году Щедрин касался «нигилизма» только обиняком, и вызывалось это именно «деликатностью сюжета». «Слишком любознательный читатель», то есть цензор, не раз уличал сатирика в том, что его мысль «оттуда идет», причем она пытается более или менее отчетливо противопоставить умозрительному «нигилистическому» направлению положительную программу революционного действия. Лишь изредка Щедрина удавалось усыпить настороженность притязательного судьи язвительно-простодушным заверением, что она «совсем не оттуда идет, а просто гуляет!..» Как мы дальше увидим, и в рассматриваемом обзоре общественной жизни цензура изъяла эти «опасные мысли». Еще более суровой каре подвергся сатирик весной 1862 года, когда был целиком запрещен его очерк «Каплуны», примечательный тем, что он является исходным пунктом разбираемой полемики публициста «Современника» с «Русским словом». Уже в «Каплунах», написанных, повидимому, не позднее января 1862 года, Щедрин дал резко отрицательную оценку воззрениям, которые через два-три месяца (после опубликования «Отцов и детей» и панегирической статьи Писарева о Базарове) стали широко известны под кличкой «нигилистических». Насколько полно отражена в этой оценке сущность радикальной доктрины, тогда еще не получившей достаточно цельного выражения в литературе, выясняется при сопоставлении критических замечаний Щедрина со взглядами автора «Базарова». Хотя щедринский очерк был написан раньше «Базарова», при таком сравнении кажется, что он полемически направлен против основной идеи знаменитой писаревской статьи.

Эта идея была выражена Писаревым в характеристике лучших представителей нового поколения как людей базаровского типа.

«Люди настоящего,— писал он,— не мечутся, ничего не ищут, нигде не пристраиваются, не поддаются ни на какие компромиссы и ни на что не надеются. В практическом отношении они так же бессильны, как и Рудины, но они сознали свое бессилие и перестали махать руками. «Я не могу действовать теперь,— думает про себя каждый из этих новых людей,— не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружает, и не стану скрывать этого презрения... Я — чужой среди существующего порядка вещей, и мне до него нет никакого дела...» Не имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать; не имея возможности переделать жизнь, люди вымещают свое бессилие в области мысли; там ничто не останавливает разрушительной критической работы¹. Эти «новые люди» ясно «сознают свое несходство с массой и смело отдалаются от нее по-

¹ Д. И. Писарев, Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. II, стр. 394—395.

ступками, привычками, всем образом жизни. Пойдет ли за ними общество — до этого им нет дела. Они полны собою, своей внутренней жизнью...»¹.

Именно подобного рода суждения подверг Щедрин суровому принципиальному разбору в «Каплунах». И его ответ, в общей форме, был заострен саркастическим утверждением, что обрисованные Писаревым характерные черты принадлежат «каплунам будущего».

Прежде чем перейти к обоснованию этой мысли, Щедрин разъяснил, какие принципиальные соображения побуждают его отрицательно относиться к позиции радикалов. Он писал:

«Не будем ошибаться: насилие еще не упразднено, хотя и подрыто; в предсмертной агонии оно еще простирает искривленные судорогой руки, чтоб задушить ищущее, но не обретающее, алкающее, но не находящее утешения... Оно видит силу, которая его подтачивает, и может на досуге изыскивать средства защиты; оно знает, что, хотя сила эта подступает к нему со всех сторон, но она еще рассеяна, но у нее еще нет центра»².

Эта оценка положения в стране свидетельствует о том, что Щедрин не только создал, насколько отчетливо определилась революционная ситуация в начале шестидесятых годов, но уже тогда указывал, в качестве первоочередной задачи, на необходимость организации освободительного движения масс. Исходя из такого понимания потребностей общественного развития, автор «Каплунов» смог последовательно и убедительно выяснить, почему «новые люди» отвергают нигилистическое отрицание действительности, хотя оно представляет собою прямую противоположность оппортунистическому признанию ее либералами.

Либералы, убеждая «не насильствовать, не волноваться, не забегать вперед», писал Щедрин, обосновывают такой взгляд тем соображением, что жизнь «собственную внутреннюю силою вырабатывает для себя принципы»³. Свое примирение с постыдной действительностью они прикрывают теорией, согласно которой общественная жизнь постепенно, но непрестанно совершенствуется сама, непроизвольно подвигаясь вперед силой заложенных в ней прогрессивных начал.

Взгляды радикалов на жизнь совершенно иные. Они с полным убеждением говорят, что окружающая их действительность «не включает в себе ни одного принципа, из которого, как из исходного пункта, можно было бы идти вперед»⁴, и поэтому призывают обра-

¹ Д. И. Писарев, Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. II, стр. 396.

² Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IV, стр. 281.

³ Там же, стр. 282.

⁴ Там же.

тяться к идеалам и жить в будущем, изгнав из своей памяти самое воспоминание об отвратительных формах агонизирующей жизни. Они заявляют: «Мы, каплуны будущего, не имеем ничего общего с глуповской жизнью, с глуповскими верованиями и ожиданиями... У нас имеются готовые идеалы, в которые мы веруем и вне сферы которых ничего не признаем»¹.

При всем различии содержания Щедрин обнаружил в воззрениях либералов и радикалов чрезвычайно существенную общую черту, а именно «отрицание личного деятельного участия в жизни». Либералы выражали это отрицание в такой форме: «Сложи руки и мирись с жизнью, потому что она одна может дать во-время и в меру»; радикалы, отправляясь от совершенно иного отношения к действительности, приходили, однако, к тождественному выводу — они говорили: «Сложи руки и смотри равнодушно на жизнь, потому что с нею не стоит спорить, потому что это хлам, на который следует махнуть рукою или наплевать»².

Демонстративное воздержание радикалов от деятельного вмешательства в «глуповскую жизнь», по убеждению Щедрина, означало «нравственное и политическое самоубийство», или, что то же самое, «дсбровольный отказ от всяких надежд на осуществление идеалов». Оттеняя эту мысль, сатирик указывал, что прекрасное будущее, о котором мечтают радикалы, «не сделается само собой», а станет реальностью только «в результате соединенных усилий» людей, посвятивших себя «деятельности воинствующей». Последняя же способна плодотворно проявляться не в чем ином, как «в упорном и непрерывном раздалбливании туго уступающей глуповской среды». Можно заранее сказать, что люди, действующие в массе, будут делать ошибки, многие из них проникнутся ее предрассудками и перестанут быть ее руководителями, но даже в этом случае свое назначение они выполнят, ибо и «минутное противодействие, оказанное ими толпе, все-таки делает ее более податливою... хотя бы для последующих деятелей». Таким образом, при всех слабостях практические работники принесут гораздо больше пользы делу освобождения народа, чем самодовольные сектанты, видящие в ничегонеделанье залог спасения своих идеалов от «непотребства сделок и компромиссов». Их ханжеская святость со временем вырождается в «узкий и незамысловатый эгсизм», в «холодную и рассчитывающую робость души», и «каплуны будущего» превратятся в «каплунов настоящего» — либералов, примирившихся с глуповской действительностью.

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IV, стр. 282—283.

² Там же, стр. 283.

Это превращение явится закономерным результатом бездейственного пребывания «на высоте отдаленных идеалов», неизбежным следствием отрыва от масс, которые живут «ближайшими идеалами». У народных масс «на первом плане стоит требование насущного хлеба», то есть земли, которая могла бы пропитать их, и важнейшая задача — дать им «сначала хоть то, что они сами неотложно просят, без чего они жить и дышать не могут...» Вслед за Добролюбовым Щедрин подчеркивает, что «непосредственный переход от действительности к идеалам» невозможен. И далее, употребляя его иносказательное обозначение, он говорит, что «видит тут перерыв» — период революционной борьбы, для успешного исхода которой необходимо, чтобы мысль об освобождении была «пущена в толпу», а не служила предметом «одинокого, любострастного наслаждения» в узком, домашнем, кругу.

Будничная, кропотливая работа по подготовке и сплочению сил для борьбы «одними своими мелочами может истратить целую жизнь человека», но без нее невозможно «стереть главу змия» — свергнуть самодержавие, и «раздавить гидру прошлого» — выкорчевать крепостнические пережитки. Чтобы идти вперед, к отдаленному социалистическому идеалу, нужно победить врага, преграждающего путь. Такая победа возможна только в тесном единении с массой, которая «не вдруг и не всю открывает грудь свою», поэтому подходить к ней надо умело, с тактом, учитывая ее интересы и запросы. Кроме того, для успеха дела необходимо изучать врага — «его позиции, его сильные и слабые стороны», соблюдая при этом строжайшую конспиративность, чтобы «вызнать от него все, что на потребу». Эта тактика требует не удаления в пещеру от зла, не схимничества, а самого пристального внимания к действительности. На новом, неведомом пути практические деятели, без сомнения, будут совершать ошибки и приносить жертвы. Но другого выхода нет для людей, которых побуждает действовать жизнь, вызывающая о помощи, настоятельно требующая освобождения от хищнического насилия и нравственного гнета, — жизнь «с распространенными в воздухе миазмами, с рыскающими по улице волками». Если эти люди сложат руки и предадутся нелепому выжиданию в то время, когда «старый Глупов трещит», кто же «озаботится об истреблении волка» и «разряжении миазмов, насыщающих воздух?» Отсюда вывод: «Пусть они ошибаются, пускай погибают сотнями и тысячами, но каждый из них может поставить в заслугу себе, что успел определить хотя небольшой признак области неизвестного, но каждый гибелью своей утучнил почву будущего»¹.

¹ Н. Щ е д р и н (М. Е. Салтыков), т. IV, стр. 291.

Эта неизвестность обуславливается самой обстановкой: «под ногами земля, но не прежняя, неподвижная и как бы окаменевшая земля, а колеблющаяся, ежеминутно готовая раскрыться, впереди — неоглядная степь»¹. Борьба за лучшее будущее для народных масс еще только начинается. Помимо слабости и разрозненности «подтачивающей силы» — немногочисленных революционных кружков, отсутствия руководящего центра, который мог бы объединить их «подземную работу», трудность положения многократно усугубляется оторванностью «новых людей» от масс, которая не позволяет отчетливо рассмотреть стихийный процесс крестьянского протеста, поднимающегося в стране. Но именно потому, что между действительностью и идеалом «лежит целый путь, который надлежит пройти и который остается не освещенным», исключительно важное значение приобретает повседневная, будничная деятельность «простых исследователей в стране неизвестного», ибо только при их помощи может быть установлена живая связь с массами. •

Радикалы отвергают эту практическую самоотверженную деятельность, потому что, как истые сектанты, верят в непогрешимость своей «идейки с булавочную головку», не сознавая ее вреда для дела освобождения масс, которым они «искренно и горячо сочувствуют». Между тем проповедуемая ими теория отказа от деятельного участия в жизни, выражающая бессильный, жалкий протест против страшной действительности, уже в течение веков превозносится «глуповской историей» как испытаннейшее средство обрести счастье. Но эта теория как раз и породила «ту горькую глуповскую практику», которая обрекла задавленный народ на «чудовищный искус безмолвия» и «вековое подплясывание».

С острой критикой общественного индифферентизма «каплунов будущего» явственно перекликается заключительная часть щедринского ответа «Русскому слову», изъятая цензурой из мартовской книги «Современника» за 1864 год². Тема эта уже затрагивается в последних абзацах статьи, предшествующих запрещенному тексту. Сатирик указывает здесь, что «вислоухие», на которых непосвященные люди смотрят «с некоторым трепетным смирением», простодушно усматривая в их речах «мудрость будущего», постепенно «входят в азарт, выдают себя за людей серьезных и подбирают себе поклонников»³. Они горделиво отказываются от практической дея-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IV, стр. 282.

² Корректурa «Нашей общественной жизни» с пометками цензора хранится в Центральном государственном литературном архиве (Москва).

³ «Наша общественная жизнь», «Современник», 1864, март, стр. 61.

тельности, исполненные чувства собственного достоинства и постоянно имея в виду: «что скажет Россия!» А между тем «Россия даже не подозревает, существуют ли они, эти нового рода социалисты, взирающие на жизнь как на увеселительное представление с пением и плясками»¹.

Затем следует текст, не пропущенный цензурой. Тут Щедрин прежде всего намеком наводит читателя на мысль, что практическая деятельность, от которой презрительно отворачиваются радикалы, особенная: ее надо «разуметь в известном и притом весьма ограниченном смысле». Затем он сжато характеризует сущность «нигилистического» воззрения на окружающую действительность. Эта характеристика свидетельствует, что объект критики — тот же, что в «Капунах». Самое же начало ее показывает, что к 1864 году взгляды Писарева получили широкое распространение.

«Принято за правило,— констатировал Щедрин,— рассуждать таким образом: действительность притязательна, притеснительна, несправедлива, следовательно, вступать с ней в какие-либо соглашения значило бы признать себя солидарным с ее притязаниями и несправедливостью; сверх того, в настоящем практическом развитии она представляет чистейший продукт принципов фальшивых или бессмысленных, следовательно, принять в ней деятельное участие значило бы оказать прямую или косвенную поддержку тем самым принципам, которые мы презираем и отвергаем. Надобно, чтобы лучшие общественные силы отказались от всяких стачек с нею, и тогда она погибнет сама собой, жертвою своего собственного бессилия».

Эти, на первый взгляд, убедительные доводы Щедрин отвергает как рассудочное построение, не совместимое с реалистическим познанием действительности и уводящее от активной борьбы за ее переделку. «Господа, столь логически рассуждающие о презрении действительности,— говорит он,— слишком легко забывают, что эта действительность есть сама жизнь, сражаться против которой нужно средствами, по малой мере, равносильными и притом по образу и по подобию. Что пользы будет в том, что вы станете ненавидеть ее своими боками? Она будет помыкать вами, будет пригибать и трепать вас, а вы в ответ на это станете в уединении самодовольно скрежетать зубами. Подумайте, что за глупую роль вы играете в этой комедии? Кого вы удивите ею? Кого убедите? И сробеет ли эта несправедливая и притязательная действительность, если вы не удостоите ее своим участием? Нет, она не изгибнет, а будет себе скрипеть и тянуть поти-

¹ «Наша общественная жизнь», «Современник», 1864, март, стр. 62.

хоньку канитель своими собственными средствами».

Подчеркнутые нами мысли в возражении сатирика дают ясное понятие о характере его разногласий с радикалами после победы реакции. И в 1864 году Щедрин остается при прежнем убеждении, что существенно изменить «стеснительную действительность» можно только теми способами, какими она сама утверждает свое господство, то есть насильственными средствами. Поэтому он продолжает считать пропаганду пассивного протеста против жизни не только логически несостоятельной, но и политически вредной, поскольку такая тактика, на его взгляд, дает возможность прогнившему порядку вещей продержаться еще очень долгое время. Последнее обстоятельство Щедрин подчеркивает в заключительном абзаце запрещенного цензурой текста. Здесь мы читаем:

«Да, говорил и буду говорить без устали: гадливое отношение к действительности, какова бы она ни была, не поведет ни к каким результатам, кроме апатии и бездействия со стороны тех, которые предаются такой гадливости (и кроме окончательного торжества тех темных сил, которые и без того торжествуют немало). Необходимо, наконец, отрезвиться, необходимо поставить свою деятельность на почву реальную. Пусть каждый делает то, что он может и на что способен, ибо мы никогда ничего не досеем, покуда будем смотреть разиня рот и ненавидеть своими боками...»

Такое отношение к действительности было типично для идеологов революционной демократии, и здесь уместно отметить, что Чернышевский в «Прологе» выделил это активное стремление переустроить жизнь на новых основаниях как характернейшую черту Левицкого — Добролюбова. Глубоко продуманную и задушевную мысль о необходимости при любых условиях всемерно содействовать такому преобразованию действительности Левицкий выразил в следующих скупых, строго взвешенных словах: «Никакое положение дел не оправдывает бездействия; всегда можно делать что-нибудь не совершенно бесполезное; всегда надобно делать все, что можно»¹.

Как мы видим, в споре с представителями «базаровского направления» Щедрин последовательно отстаивал именно эти взгляды. Такую же позицию он занимал и в оценке отношения радикалов к роману Чернышевского «Что делать?», в котором уже современники угадывали авторский замысел², направленный против тенденциозного

¹ Н. Г. Чернышевский, Пролог, «Academia», 1936, стр. 302.

² «Роман г. Чернышевского написан против «Отцов и детей». В нем Базарову противопоставлен Рахметов, старикам Кирсановым (Тургенева) — Сторешниковы, родители Веры Павловны; там Базаров, студент медицинского факультета, режет лягушек, здесь — спа-

изображения «новых людей» в «Отцах и детях»¹. Касаясь данного вопроса во второй полемической статье 1864 года, сатирик писал, что радикалы «обходят существенное содержание романа и приударяют насчет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с пением и плясками...»². Эту характеристику отчасти подтвердил критический разбор романа Чернышевского, сделанный Писаревым. Оценив «Что делать?» как произведение «в высшей степени оригинальное и чрезвычайно замечательное», он увидел его основную идею в призыве к молодому поколению заниматься любимым и общепользным трудом, чтобы найти в жизни наслаждение, достойное мыслящего человека. «Этим смыслом проникнут весь роман», утверждал критик, и сочувствие «обыкновенных людей», выведенных в нем, на стороне «всех трудящихся людей земного шара, всех, кто сознательно или бессознательно молит

сает людей» («Отечественные записки», 1863, октябрь, «Литературная летопись», стр. 210).

¹ Что касается Щедрина, то он подозревал у автора «Отцов и детей» полемический умысел выразить своим произведением ту идею, что даже лучшие представители молодого поколения являются лишь беспринципными отрицателями существующего порядка вещей, между тем как недовольство мыслящих людей сороковых годов окружающей действительностью было проникнуто глубоким идейным содержанием. Поэтому во второй статье 1864 года, направленной против радикалов, Щедрина саркастически заметил, что они не разгадали истинного значения превозносимого ими слова «нигилизм», которое в употреблении Тургенева равнозначает понятию «безголовые». Но сам Тургенев в позднейшем письме к Щедрину заверял его, что «никакой предвзятости мысли, никакой тенденции» при создании образа Базарова у него не было. Роман он «писал наивно», не ставя себе никаких определенных целей, а покоряясь «какому-то фатуму», и поэтому «не удивляется... что Базаров остался для многих загадкой». Такому утверждению противоречит, однако, признание Тургенева в письме к Анненкову, написанном тотчас по окончании «Отцов и детей»: «Цель я, кажется, поставил себе верно, а попал ли в нее — бог знает». Противоречит ему и другое документальное свидетельство, которое, если не ошибаемся, еще не привлекало внимания авторов, писавших об этом предмете. Мы имеем в виду следующий рукописный эпиграф к «Отцам и детям», снятый Тургеневым при отсылке романа в печать:

«Молодой человек человеку средних лет:

В вас было содержание, но не было силы.

Человек средних лет:

А в вас — сила без содержания (Из современного разговора)».

(См. А. Мазон, *Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguenev*, p. 65, Paris, 1930).

² «Наша общественная жизнь», «Современник», 1864, март, стр. 52.

бога и просит ближнего, чтобы не мешали ему трудиться и пользоваться плодами своего труда»¹.

Что же касается Рахметова, то Писареву были чужды в нем те типические черты, которыми Чернышевский охарактеризовал его исключительную революционную устремленность. Исходя из своего представления об «историческом деятеле», Писарев увидел в Рахметове великого гуманиста-просветителя, который только в чрезвычайно редких и скоропреходящих исторических обстоятельствах — при стихийном пробуждении масс — мог беззаветно отдаться революционной практике. В долгие же периоды общественного затишья людям рахметовской складки, по убеждению радикального критика, оставалось одно — заниматься «мирной работой»: подготовка революции — как явления стихийного — была, на его взгляд, немыслима.

Поэтому Писарев отрицательно отнесся к аскетическому образу жизни «необыкновенного человека», объясняя его отказ от личного счастья и жизненных удобств исключительно теми мотивами, которыми позднее характеризовали свое сознание долга перед народом так называемые «кающиеся дворяне». «У деятеля,— писал он,— сердце обливается кровью оттого, что он почти ничего не может сделать для облегчения общих страданий, и он на самого себя изливает свою законную досаду. «А,— говорит он себе,— ты не можешь им помочь, не можешь? так вот же тебе! не помогаешь другим, так страдай же сам вместе с ними, страдай больше их!»².

В действительности же аскетический образ жизни Рахметова был вызван условиями конспиративной работы. Этот образ жизни Писарев считал «выдумкой» Рахметова, не знающего, куда девать избыток своих сил, «не находящих себе достаточно широкого и полезного приложения»³.

Совсем в ином свете должно было представляться поведение Рахметова Щедрину. В его повести «Тихое пристанище», над которой он работал в 1862 году, руководитель «тайного общества» Крестников предупреждает завербованного им нового члена организации: «Мы должны быть готовы на все, то есть на всякую тесноту, и в этом смысле не имеем права изнеживать не только тело, но и мысль свою». И далее в пояснение он говорит: «Знаете ли, как кончают самонадеянные мальчишки, подобные нам? Они кончают или самоубийством, или...»⁴. В 1864 году, после заточения Черны-

¹ Д. И. Писарев, Полн. собр. соч., изд. 5-е, дополнительный выпуск, 1913, стр. 180.

² Там же, стр. 214.

³ Там же, стр. 216.

⁴ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IV, стр. 315, 317.

шевского в Петропавловскую крепость и выхода в свет его романа «Что делать?», Щедрин вернулся к этой теме в общественной хронике, направленной против радикалов, но тогда не опубликованной вследствие цензурного запрета. В этой статье он писал: «Бывают такие горькие минуты в жизни человечества, когда нужно без устали твердить ему о самоотвержении, о великой, очищающей силе самопожертвования... даже, пожалуй, об аскетизме». Хотя «конечная цель человека... счастье», но в известных исторических обстоятельствах, извращающих представление о счастье, оно «может идти рядом с представлением о всякого рода нравственных и физических истязаниях (ибо есть люди, которые считают свой подвиг неконченным, ежели он не запечатлен страданием)». «Жизненный подвиг этих людей не только в высшей степени замечателен, но вообще такого свойства, что напоминание об нем, и притом беспрестанное, непрерывающееся напоминание, составляет предмет существенной и настоятельной необходимости».

Такое настойчивое напоминание важно потому, что оно призывает всех сочувствующих подвигу этих самоотверженных людей приложить усилия к коренному изменению общественного строя, при котором извращается даже нормальное представление о счастье человека. Добиться изменения жизненных условий можно только организованной, коллективной деятельностью, отказавшись от прекраснотных упований на перерождение «старших братьев» и нигилистического отрицания действительности. В противовес утверждению Писарева, что в данных условиях «приходится убаживать себя тем высокобесплодным сознанием, что мы до некоторой степени понимаем нелепости существующего», и заявлению Зайцева: «у нас есть драгоценное сознание, что нам и нечего больше делать», как «сидя в трущобе решать судьбы мира», Щедрин писал:

«Я очень хорошо могу, например, понимать неправильности известного порядка, а сверх того могу даже постигать и возможность иного, лучшего общественного устройства, но старый порядок меня давит всем своим искони накопившимся гнетом, но он вяжет мне руки и налагает печать молчания на мои уста. Может быть, нас много таких, которые могли бы сойтись и столкнуться друг с другом... но мы... не знаем друг друга, мы рассеяны, как иудей, по лицу земли, у нас нет центра, около которого мы могли бы сплотиться...» Отсюда вывод: «У нас должна быть организация».

К этому выводу, как мы знаем, Щедрин пришел уже раньше, в сатире «Каплуны». Не отказывался он от него и позднее. Так, уже будучи автором «Истории одного города», сатирик писал, что идею «Каплунов» он «развивал впоследствии неоднократно, и за-

ключается она в том, что следует из тесных рамок сектаторства выйти на почву практической деятельности»¹.

Это указание автора «Истории одного города» относилось не только к его полемике с радикалами, идейный смысл которой мы постарались выяснить в предшествующем изложении. Значение щедринской критики общественной пассивности, питающейся надеждами на то, что со временем всяческого рода эксплуататоры образуются и поймут, насколько выгоднее им удовлетворять потребности масс, чем «выдавливать последние гроши из худых карманов»², было неизмеримо шире спора с Писаревым. Такие надежды сатирик воспринимал как отражение чаяний глуповцев, покорно выносящих вековечный гнет, как упования, поддерживающие их долготерпение и безответность. И именно эта идея, творчески выношенная гениальным художником в шестидесятые годы,— идея, подводящая итоги его размышлениям об эпохе «глуповского возрождения», и легла в основу «Истории одного города».

Как бы предвидя, что нарисованная им «нелестная картина» пассивного перенесения глуповцами лежащего на них гнета вызовет повторное порицание в глумливом «смехе над безобразием глуповца»³, впервые высказанное в «Цветях невинного юмора», Щедрин разъяснил читателям, почему такое истолкование его замысла несостоятельно перед лицом действительности. Рассказ летописца-архивариуса, писал он, вполне соответствует жизненной правде, ибо он точно передает характер отношений между «силой, подкравшейся издалека и успевшей организовать и окрепнуть», и «рассыпавшимися по углам и всегда застигаемыми врасплох людьмишками и сиротами». При подобных условиях «единственно ясная формула взаимных отношений» глуповцев и их угнетателей не может выражаться ни в чем ином, как в постоянном «ошеломлении» первых. Глуповцы могли бы изменить это положение, которое «держится на нитке», если бы сумели самих себя «достаточно убедить, что их не следует истреблять». Но вся суть вопроса как раз и заключается в том, что пока они придерживаются другого взгляда: не лучше ли возложить упование на будущее? А этот взгляд, в свою очередь, объясняется тем, что глуповцы «уподобили себя вечным должникам, находящимся во власти вечных кредиторов». Придя к такому выводу, они рассудили, что разумный «кредитор помогает должнику выйти из стесненных обстоятельств»,

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. XVIII, стр. 236.

² «Цветы невинного юмора», «Русское слово», 1864, февраль, стр. 41.

³ Критика «Истории одного города», с которой выступил Суворин, подтвердила ожидания сатирика.

чтобы получить свой долг, и «стали ждать, не сделаются ли все кредиторы разумными?»¹.

Таким образом, из всего вышесказанного мы вправе заключить, что резкие полемические выступления Щедрина против общественного индифферентизма и надежд радикалов на «образумление» эксплуататорских классов не были спором случайным и по частному поводу, а выражали самое существенное в его отношении к современной ему действительности, воплощенной с огромным размахом обобщающей мысли и революционной страстью в «Истории одного города».

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), т. IX, стр. 377—378.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. Политическая обстановка после отмены крепостного права. Причина полемики между Щедриным и Достоевским	3
Глава первая. Исходный пункт конфликта. Полемические приемы участников спора. Записные книжки Достоевского и его публичные выступления	29
Глава вторая. Идейная позиция Щедрина—публициста «Современника». Выпады Достоевского против Чернышевского и Щедрина в «Записках из подполья». Щедринское раскрытие идеи «Записок из подполья»	76
Глава третья. Вмешательство Достоевского в спор Щедрина с «Русским словом». Смысл этого полемического приема	107
Глава четвертая. Отклики Щедрина на «Раскол в нигилистах». «Девушкин, сидящий в сатанах». Полемика с Достоевским в неопубликованной сатире «Наяда и рыбак» . . .	131
Глава пятая. Новый фазис полемики: усилившееся проникновение ее мотивов в художественные произведения. Скрытый смысл реплики Шатова («Бесы»). Речь князя Мышкина на вечере у Епанчиных. Злобные тирады Лебедева о «друзьях человечества» («Идиот»)	158
Глава шестая. Сатирическое истолкование исповеди «подпольного» человека в сказке «Дикий помещик» и в «Истории одного города». Щедринская интерпретация эпилога «Преступления и наказания», «нравственных оснований» Лебедева и проповеди «цивилизаторства» князя Мышкина в «Истории одного города» и «Господах ташкентцах». Роман Достоевского «Идиот» в оценке Щедрина	173
	391

Глава седьмая. Полемическое преломление идей и образов «Истории одного города» и «Господ ташкентцев» в «Бесах»	215
Глава восьмая. Ответ Щедрина на «Бесы» в «Господах ташкентцах» и «Помпадуррах и помпадуршах». Характеристика «почвеннической» идеологии Достоевского в «Благонамеренных речах»	240
Глава девятая. Скрытая полемика с Щедриным о воспитании молодого поколения в «Дневнике писателя». Невоспринятый замысел Достоевского написать о щедринском очерке «Непосчитительный Коронат»: Отклики в «Благонамеренных речах», «Круглом годе» и «Дворянских мелодиях» на публицистические выступления Достоевского. Неизданные записи Достоевского о сатире и трагедии. Его отзыв о щедринском образе Молчалина	277
Глава десятая. Завуалированные выпады и открытое выступление против Щедрина в «Братьях Карамазовых». Ответ Щедрина в «Круглом годе» — характеристика Хохлаковой и Федора Карамазова. Завершение полемики в очерке «Между делом» и в «Братьях Карамазовых».	306
Глава одиннадцатая. Сатирическое отражение в цикле «За рубежом», в «Письмах к тетеньке» и «Современной идиллии» концепции России и Запада в Пушкинской речи Достоевского и его призыва к «духовному единению сословий» в «Дневнике писателя» 1881 года. Финал полемики (сказка «Гиена»). Последнее обращение Щедрина к читателю в «Похехонской старине»	335
Приложение. «Раскол в нигилистах»	359

